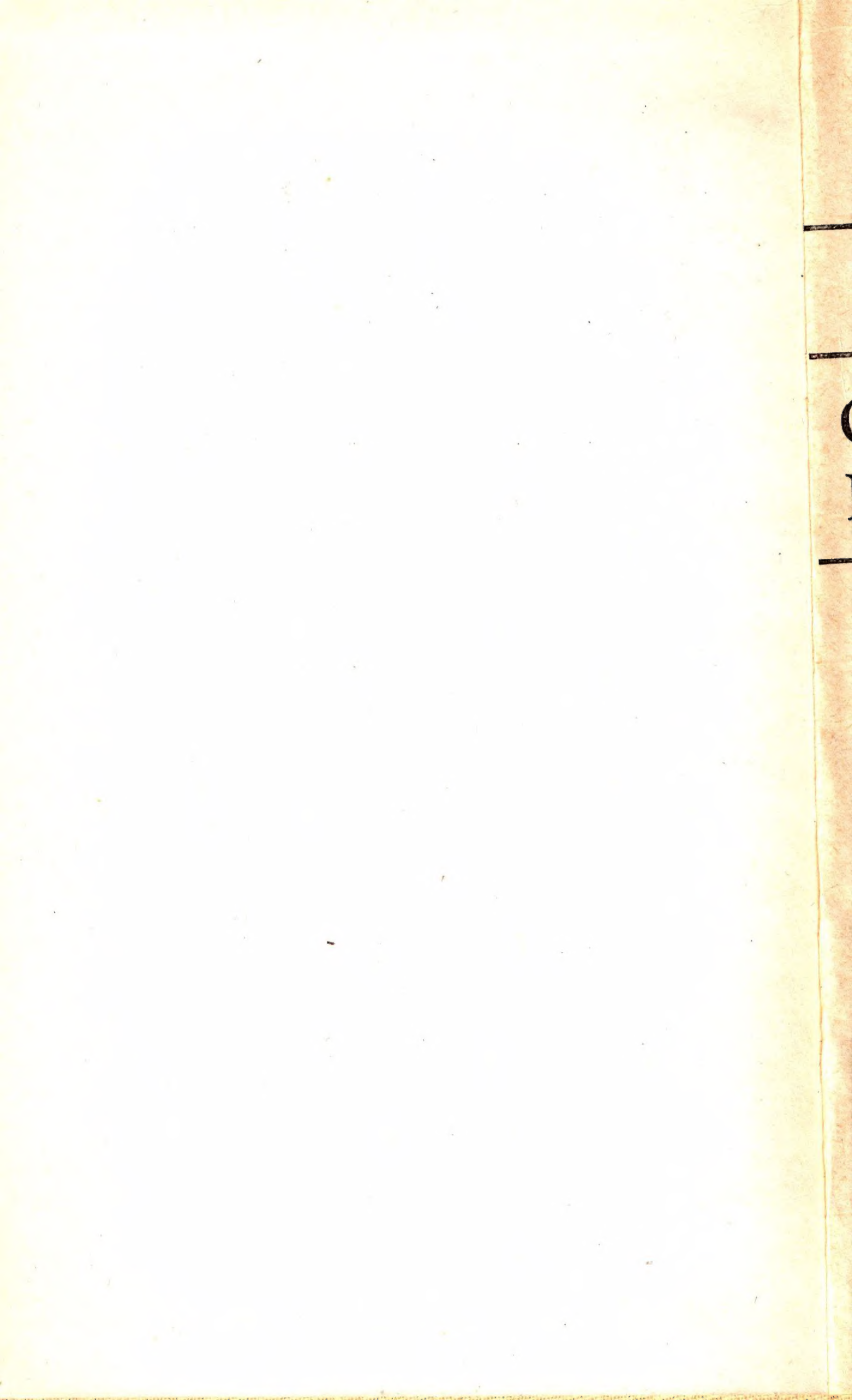


В. КУБАНЕВ,
С. ЧЕКМАРЕВ

СТИХИ, ДНЕВНИКИ, ПИСЬМА







В. КУБАНЕВ,
С. ЧЕКМАРЕВ

СТИХИ, ДНЕВНИКИ, ПИСЬМА



МОСКВА
„МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ"
1981

84Р7
К 88

К $\frac{70302-298}{078(02)-81}$ 225—81. 4702010200



ВАСИЛИЙ
КУБАНЕВ

ЕСЛИ ЗА ПЛЕЧАМИ ТОЛЬКО ВОСЕМНАДЦАТЬ

Составитель
М. Калашникова

ШИРОКОЕ СЕРДЦЕ ПОЭТА

Невозвратимы утраты, понесенные нашей литературой в годы Великой Отечественной войны. Сколько прекрасных дарований — и уже широко известных, признанных миллионами читателей, и не успевших еще развернуться, проявить себя во всю силу — потеряно ею! Среди тех, кому не суждено было перешагнуть через военное лихолетье, расправить орлиные крылья недюжинного таланта, и молодой поэт Василий Кубанев (1921—1942).

Как ни коротка была его жизнь, он успел оставить добрую память о себе. Своими книгами, не раз издававшимися в «Молодой гвардии» и в Воронеже, В. Кубанев вошел в духовный мир молодого читателя как истинный сын своего времени, как поэт, отличающийся высокой гражданственностью, необычайно чутким восприятием действительности, предельной обнаженностью, искренностью чувств.

В этой книге, как и в предшествующих ей изданиях, В. Кубанев сам рассказывает о себе. Рассказывает то порывисто и торопливо, взволнованно и озорно, то с философической раздумчивостью и грустинкой.

Нет, по-видимому, надобности в детальном пересказе истории жизни В. Кубанева. Напомним читателям лишь о самых приметных ее вехах.

Родился он в 1921 году в селе Орехове Курской области в крестьянской семье. Раннее детство поэта проходит в родной деревне. Затем семья переезжает в Воронежскую область. Но ни в одном городе надолго не задерживается. Лишь в Острогожске Кубаневы живут в течение нескольких лет. Отец работает счетоводом, мать — домохозяйка. Вася учится в средней школе. Здесь он пробует свои силы в поэзии и журналистике, начинает печататься в районной газете и областных изданиях.

Десятый класс Васе пришлось заканчивать в городе Мичуринске Тамбовской области, куда в 1937 году переезжают его родители. Вернувшись через год в Острогожск, семнадцатилетний В. Кубанев становится литературным сотрудником местной газеты. Непродолжительное время учительствует в сельской школе. С конца 1940 года снова работает в газете.

В начале августа 1941 года добровольцем уходит в армию. Но через несколько месяцев возвращается тяжелобольным. А ран-

ней весной 1942 года острогожцы проводили В. Кубанева в последний путь.

Биография поэта оборвалась в то время, когда она, в сущности, еще только начиналась. Но духовная жизнь его была столь интенсивной, работал он с таким напряжением моральных и физических сил, что и за немногие годы им пройден сложный и самобытный творческий путь. Необычайно рано осознавший свое предназначение, свой растущий талант, В. Кубанев успел познать и ни с чем не сравнимую радость творческих открытий, сопричастность «огромному общему» и в то же время испытать горечь первых разочарований, сомнений, неуверенности в себе, в своих замыслах. Словом, он жил, по его же словам, полной грудью, неуемно, жадно, взахлеб. Стремительно рос, менялся, неустанно пополняя себя и перерастая самого себя.

Мария Михайловна, сестра поэта, вспоминает, что по-настоящему поняла брата только много лет спустя, после его смерти. И это неудивительно: она была совсем еще девочкой, когда брат становился взрослым. Но даже мы, сверстники поэта, не могли тогда полной мерой оценить дарование В. Кубанева, хотя и ощущали неповторимость обаяния, незаурядность нашего друга.

Вся жизнь поэта, исполненная будничного, каждодневного подвижничества, овеянная романтикой высоких устремлений, неотделима от биографии его поколения. Он живет в сознании читателя как типичный представитель молодежи, сформировавшейся в предвоенные годы. Это было поколение тружеников и солдат, на долю которого выпали суровые испытания. Приняв эстафету от сверстников Павки Корчагина, родственных ему по духу героев Магнитки и Днепрогэса, опаленная горячим дыханием Хасана и Халхин-Гола, первых сражений с фашизмом в республиканской Испании, молодежь 30-х годов должна была не только продолжить начатое отцами и старшими братьями великое дело социалистического переустройства жизни, но и защитить, уберечь Советскую Родину от надвигавшейся гитлеровской угрозы.

Молодой энтузиазм первопроходцев, неугомонная пытливость, жажда знаний, действенный, активный патриотизм, крепнущее чувство личной ответственности за судьбы страны, ее революционные завоевания — характерные черты молодежи, воспитанной партией и комсомолом, всем строем советской жизни. Эти драгоценные качества воплотились в славных свершениях и подвигах, в тысячах больших и малых дел.

Любопытная деталь: многие из тех, кому сегодня за пятьдесят, в свое время всеми правдами и неправдами прибавляли себе год, а то и два-три, чтобы быстрее попасть на завод, поступить на рабфак, в аэроклуб, в Красную Армию. Молодежь, как известно, составляла основную массу бойцов Вооруженных Сил, встретивших

грудью вражеские орды в июне 1941 года. Бесстрастная статистика свидетельствует: граждан рождения 1920—1924 годов насчитывается ныне меньше, чем любых других «соседних» возрастных групп. Дорогой ценой заплатила молодежь второй половины 30-х и и первой половины 40-х годов за победу в самой жестокой и суровой битве.

Василий Кубанев очень верно и точно сказал в одном из дневников о высокой миссии своего поколения, предчувствуя тогда уже близкие грозные события: «Много, невыносимо много надо сделать нам, поколению второго двадцатилетия XX века. На наших плечах возлежит история. Сколько выдержки и силы надо нам, чтобы не только удержать ее, не только не уронить, но и поднять еще выше — на плечи будущего поколения, которое будет и рослее и мощнее нас».

У молодежи того времени хватило мужества и силы, чтобы до конца исполнить свой священный долг перед Советской Родиной, перед человечеством. Знакомство с биографией и творчеством В. Кубанева, несомненно, расширит представления нашего современника о том, как росло и мужало, готовило себя к грядущим подвигам это поколение, чем оно похоже и непохоже на юность наших дней, что наиболее ценного из своего духовного нравственного опыта завещало нам.

Молодого современника привлекает в В. Кубаневе прежде всего редкостная цельность его натуры, постоянная устремленность в будущее, умение подчинить всего себя, каждый шаг свой большим целям. Жадно впитывая все, чему учили его школа, комсомол, зорко всматриваясь в окружающую его действительность, сопоставляя книжные знания с приобретенным опытом, Кубанев вырабатывает принципы своей жизни, которых придерживается с завидной последовательностью.

Единство мыслей, слов и дел — самая главная, самая привлекательная его черта. Уже в 15—16 лет он серьезно размышляет, преодолевая собственные заблуждения, над тем, каким ему надо стать, чтобы «сделать жизнь яркой и неповторимой, чтобы она была костром, дающим всем свет и тепло...».

Эти размышления, поиски верного ответа на главный вопрос — постоянная тема его писем друзьям, стихотворений, многих газетных выступлений молодого поэта. Чаще всего мысли о том, какие самые нужные качества надо воспитать в себе, облекались в форму советов, наставлений друзьям. Несмотря на их наивно менторский тон, они были всегда обращены прежде всего к самому автору. Он хотел, чтобы к нему предъявлялись непомерно большие требования, чтобы рядом с ним были люди, до которых ему надо расти, подтягиваться.

Его обуревала жажда познания мира, неизменным девизом для

него было: всегда учиться. Еще в школьные годы он сверх обычной программы, которую усваивал без каких-либо усилий, глубоко штудирует философию, историю, русскую и западноевропейскую литературу, самостоятельно изучает французский, немецкий и латинский языки. Пробует сочинять музыку, рисует, участвует в самодеятельных кружках.

Можно только поражаться редкой эрудированности юного поэта. Впрочем, лишь немногие из тех, кто был рядом с ним, представляли себе, как он много и серьезно работал. Кубанев никогда не выставлял напоказ свою образованность, ни в малейшей степени не подчеркивал какого-либо превосходства над другими. Многие друзья Кубанева в те годы даже не догадывались, что он читал в подлинниках великих французов — Ромена Роллана и Бальзака и пробовал писать стихи на их родном языке. Об этом было известно лишь корреспондентам В. Кубанева, с которыми он переписывался на французском.

Несмотря на природную одаренность, знания, конечно, давались нелегко. Вася Кубанев использует каждый час свободного времени — а обычно это были вечера и ночи, — чтобы заниматься самообразованием. Книгу в триста-четыреста страниц он успевал прочитывать в течение суток, делая при этом необходимые заметки и выписки. Он приучил себя работать всегда, в любой обстановке. Даже частые семейные неурядицы, бытовая неустроенность обычно не выбивали его из рабочей колеи. Кубанев никогда не расставался с блокнотами. Разговаривая с друзьями, случайными собеседниками, участвуя в заседаниях, он то и дело записывает удачное выражение, меткое слово или интересный факт, а чаще всего — родившуюся по какой-то ассоциации неожиданную мысль.

Знания и профессиональное мастерство, которого Кубанев хотел во что бы то ни стало достигнуть, нужны ему были не сами по себе, а как орудие, инструмент для активного «участия в переделке жизни», для осуществления своих пылких мечтаний и дерзких планов. Кубанев совсем не был книгочеем, которому книжный мир заслоняет живую действительность со всеми ее радостями и сложностями. «Надо, чтобы все было мое, — писал он одному из своих близких друзей, обращаясь, как всегда, прежде всего к себе самому. — Принимай близко к сердцу все то, что происходит вокруг тебя. Стремись своими силами и своими знаниями слиться с общим потоком, устремляющимся в будущее. Но помни, что для того, чтобы слиться, надо иметь то, что хочешь сливать... Тут одно неразрывно связано с другим. Участвовать в больших делах, чувствовать живую связь между собою и миром, ощущать личные события как органическую, движущуюся часть мировых событий — все это можно только тогда, когда ты изо дня в день обогащаешь себя знаниями, укрепляешь свои силы...»

В одном из писем можно встретить такую запись: «Для меня нет иной цели в жизни, кроме как участие в приближении коммунизма. Этой цели и подчинена будет (а сейчас еще очень и очень слабо) вся моя жизнь!» И далее: «Коммунистическая пропаганда — вот первая, главная и, пожалуй, единственная задача, которую ставлю я перед собою на ближайшее десятилетие». Эти слова не были лишь громкой декларацией, а составляли его личную программу, руководство ко всему, что делал и к чему стремился молодой патриот. Коммунизм в его представлении — это прежде всего чистота во всем — в человеческих отношениях, мыслях, делах; главное — быть коммунистом по своему духу, поведению, по своей судьбе; для того чтобы построить коммунизм, человек должен построить все необходимое для этого в себе.

Вырабатывая шаг за шагом те качества своего характера, которые считал коммунистическими, Кубанев чувствовал себя обязанным помогать друзьям и сверстникам понять и усвоить все, что стало его собственными убеждениями. Он очень гордился, когда друзья называли его политруком, агитатором. Со всей молодой страстью и талантом истинного педагога Кубанев участвует в политической пропаганде среди молодежи. Он то организует коллективное чтение и обсуждение «Манифеста Коммунистической партии» в студенческом общежитии педагогического училища, то выступает перед рабочими завода с чтением стихов о партии, то ведет беседы о международных событиях с колхозниками дальнего хутора.

Самым главным делом в эти годы было для него сотрудничество в газете, где, как он говорил, голова и руки действовали заодно. В «Новой жизни» часто появлялись очерки и корреспонденции, фельетоны и стихи, в которых он темпераментно и убежденно выступал за утверждение подлинно коммунистических отношений между людьми, новой морали и бескомпромиссно, с присущим ему максимализмом клеймил все мешающее этому.

В. Кубанев охотнее всего писал на морально-этические педагогические темы, последовательно и с глубочайшей верой исповедуя философию коллективизма.

И в своей публицистике, и в поэзии, и в интимной переписке он яростно выступает против эгоизма, индивидуализма, мещанства. Самые злые, самые огнедышащие кубаневские строки нацелены именно против этих зол. Тягчайшим преступлением считал поэт равнодушие, замкнутость в себе, в своем мирке. С каким негодованием обрушивался он на тех субъектов, для которых «своя икота важнее всех войн земли»! Не выносил он и показной активности, краснобайства.

Самому Кубаневу всегда до всего было дело. Хлопотливые обязанности газетчика он умел сочетать со множеством общественных обязанностей, которые чаще всего добровольно взваливал на себя:

руководство литературной группой при редакции, диспуты в студенческих общежитиях, лекции о Маяковском, помощь стенгазетчикам и т. п.

Он чутко прислушивался ко всему, что происходило в мире. Обеспокоенный сообщениями о военных авантюрах фашизма в Западной Европе, юный поэт пишет стихотворение «Сегодняшнее», в котором звучит тревога за судьбы мира. Обращаясь к своим сверстникам, он зовет их:

...Если
ты правде ленинской
предан
И видишь
в грядущее путь,
Делать мир
предоставив полпредам,
К бою готовым будь!

В ответ на сообщение о том, что в Париже, занятом немецкими оккупантами, переименована улица Анри Барбюса, он создает большое и яркое стихотворение о писателе-коммунисте. Накануне XVIII съезда ВКП(б) Кубанев пишет для газеты одно из лучших своих публицистических стихотворений — о Коммунистической партии. И так бывало не раз. Большие и маленькие события в стране и в мире оставляли свой след, порой очень заметный, в биографии и творчестве поэта.

Но никогда прежде разносторонний талант Кубанева, его высокие качества гражданина и патриота не раскрывались с такой силой, как в дни войны. Несмотря на самые настойчивые просьбы об отправке на фронт, Кубанева призывают в армию только через полтора месяца после начала войны. Те, кто был рядом с ним в эти дни, не могли не заметить происшедших в нем перемен. Всегда очень взыскательный к себе, деятельный, подвижный, теперь он работал с необычайным даже для него напряжением сил, стал более собранным, сосредоточенным.

Почти в каждом номере «Новой жизни» читатели встречали имя юного журналиста и поэта. Надолго врезались в память читателей такие его публицистические выступления, как гневный памфлет «Звериный приказчик», статья «На наших плечах — судьба человечества» и многие стихотворения тех дней. Уже в первом номере газеты, вышедшем после нападения фашистов на нашу землю, было помещено стихотворение «К ногтю!». Затем одно за другим публикуются «Салют ополчению», «Ты должен помогать», «Урожаем угрожаем», «Старики», «Мы не одни». Это были мужественные, боевые стихи, в которых поэт, несмотря на тревожные вести с фронта, выражает свою глубокую веру в победу над врагом и призывает своих читателей и слушателей к ратным и трудовым подвигам. В суровые

июльские дни Кубанев читает на одном из городских митингов стихи, которые заканчиваются поистине вещими словами:

Ходите прямо, дышите легко
Все,
 сгибавшие спины низко!
Это от Берлина до Москвы
 далеко,
А от Москвы до Берлина
 близко!

На многих стихотворениях тех дней лежит печать торопливости. И это неудивительно. Скорее стоит удивляться тому, что они все-таки были написаны. Занятый до крайнего предела подготовкой очередных номеров газеты (многие сотрудники ушли на фронт, каждый из оставшихся работал за двоих-троих), Кубанев все же ухитрялся выкраивать время, чтобы выступать перед рабочими, колхозниками и студентами, заниматься военной подготовкой в отряде ополченцев, рыть вместе со всеми бомбоубежища, охранять по ночам город. И между всеми этими делами писались стихи. Если они удавались — шли в газету, если нет — откладывались, терялись; обрабатывать, доделывать их было недосуг.

Оценивая литературное наследие В. Кубанева, его справедливо ставят в один ряд с Сергеем Чекмаревым, а еще чаще — с Михаилом Кульчицким, Павлом Коганом, Николаем Майоровым и другими поэтами, погибшими во время войны. В их судьбах немало общего. Для творчества этих поэтов одинаково характерны увлечение своим временем, верность высоким нравственным законам нашего общества, следование лучшим традициям советской литературы. Но при всем сходстве это поэты очень разные. У каждого своя манера письма, своя главная тема, свои представления о роли литературы в жизни общества и собственной жизни в литературе.

Конечно, вряд ли можно говорить о В. Кубаневе как о вполне сложившемся поэте. Он весь был в мучительных поисках. Жадно, часто с лихорадочным нетерпением примерял свой талант к разным жанрам, то и дело меняя стилистику, тональность стихов, беспощадно отбрасывая все, что вчера казалось стоящим, а сегодня признавалось слабым, ученическим. «Вот стихи. Ты знаешь, что они плохие, — писал он другу, — я тоже это знаю. Но они нужны. Они — ученичество, ловчение рук, вострение глаз. Они — упражнения. В этом их смысл, интерес, оправдание».

К кубаневской поэтике невозможно подходить с обычной меркой, во всяком случае, нельзя не учитывать его молодости и того

огорчительного обстоятельства, что до нас дошло далеко не все из написанного им. Даже в самых полных сборниках представлена лишь малая часть его стихотворений, не говоря уже о прозе. Во время фашистской бомбежки Острогожска все рукописи, хранившиеся дома, сгорели. А среди них было несколько поэм, рассказы, наброски будущих книг, по крайней мере, одна пьеса и множество дневников и блокнотов.

Самые крупные свои вещи В. Кубанев не спешил отдавать на суд даже близких друзей. Лишь немногим из них автор читал отрывки из «Обывателиады», поэму о Буденном, главы из большой работы о русском искусстве, в которой Кубанев хотел определить для себя «тактическую программу на всю жизнь», выяснив все, что касается содержания, форм, задач и методов искусства. Все это безвозвратно утрачено. В посмертные издания вошли сохраненные друзьями стихи и письма, не предназначавшиеся для печати, да некоторые газетные выступления.

Но даже то немногое, что удалось найти и собрать, дает основание утверждать: Кубаневу принадлежит свое собственное место в советской литературе.

Каждое новое издание его книг встречает живой интерес читателей. Присуждение ЦК ВЛКСМ и Союзом писателей СССР мемориальной медали Н. Островского в 1968 году за книгу «Идут в наступление строки» было признанием злободневности и нужности кубаневского слова сегодняшнему молодому читателю. Стихи, даже написанные в ответ на конкретные события тех уже далеких лет, не потускнели, нисколько не утратили своей силы. В них все так же свежа и остра беспокойная кубаневская мысль, способная и ныне увлекать молодые сердца своим горячим порывом, своей требовательной добротой и в то же время ненавистью ко всему, что античеловечно по сути своей.

Характерно, что и в переписке с друзьями, дневниковых записях Кубанев обычно соотносил личное с самым важным и существенным для его времени, для страны. Поэт просто не мог представить себя отъединенным, искусственно отгороженным от мира, ибо постоянно чувствовал свою причастность ко всему, что происходит вокруг.

Зимой 1939 года жестокая ангина заставила слечь в постель молодого сотрудника «Новой жизни». В дни болезни он пишет своей любимой стихотворное письмо. Но Кубанев не был бы Кубаневым, если бы не поведал близкому человеку о том, что его мучило, причиняло не меньшую боль, чем болезнь, оторвавшая от бурного круговорота жизни.

Я слег в подушки,
горел, молчал.

И чувствовал
(это не часто бывает!),
Как время
идет
из каких-то начал,
Течет сквозь меня
и меня размывает.

Да, самое страшное для поэта — это хотя бы на мгновение утратить ощущение движения, неудержимого бега времени, почувствовать, что оно течет «сквозь тебя», как через пустоту, не оставляя следа.

А я —
вот видишь —
немножко сломался.
Боюсь,
безделье в
привычку вгнездить.
Массы работают.
Работы масса.
Надо звонить,
докладывать,
ездить.
Только теперь
прояснело мне:
это
Широкому сердцу
стены узки:
Ты читала
сегодня
газету?
Париж
еще французский?

Широкое сердце поэта не могло мириться с вынужденным выключением из привычной обстановки. Вне ее — без любимой работы, без общения с друзьями, связи со всем миром — для него не было жизни. Раздумья о самом сокровенном, глубоко личное не просто соседствуют во многих стихах Кубанева с мыслями о своем гражданском долге, назначении в жизни, а составляют характерный для него, органически единый строй мыслей. В этом весь Кубанев, его глубинная, внутренняя суть.

Самые сильные, самые ясные по мысли и звучанию кубаневские стихи — о партии, о Ленине, о Родине. В них с наибольшей выразительностью проявляются и общественный темперамент поэта, и его идейная цельность, и умение говорить о самом значительном и масштабном убедительно, проникновенно, в своей, кубаневской, манере.

Вчитайтесь в эти, например, строки из стихотворения «Ленин», написанные семнадцатилетним поэтом:

Он в мир наш
неслышными входит стопами
Вместе
с первой нежностью
к матерям,
И образ его
вживается в память,
Телесной зримости
не утеряв.
Каждое имя для нас не пусто!
Но он
в нас будит не просто любовь.
Он стал нашей совестью,
нашим чувством,
Таким же живым,
как восторг или боль.

Такой «запев» — очень точно найденный ключ ко всему стихотворению, в котором Ленин — великий вождь революции — любовно изображается как самый человечный, близкий человек. Поэту представляются «родные бессонные руки, берущие голову в ласковый плен, усталость в глазах и неновые брюки, немножко растянутые у колен». Рельефно, почти осязаемо мы видим вождя, склонившегося над письменным столом, «пачку исписанных мелко листов», заключающих в себе мысли, «которые смерти сильней, которые мир приводят в движенье огневою силою своей». Будничность, обыкновенность обстановки, нарисованной поэтом, лишь подчеркивают величие ленинских идей и титаническую деятельность Ильича в дни рождения нового мира.

В другой тональности написаны «Стихи о нас», «Партия большевиков», «День выборов», «Кандидату». Это стихи о любви и безграничном народном доверии к партии, о непоколебимой вере в будущее своей Родины. Они порой декларативны и неравноценны по своим поэтическим достоинствам. Но в каждом из них есть сильные, оригинальные строки. Вот как емко и выразительно сказано, например, о единстве партии и народа в стихотворении «Партия большевиков»:

Она — не отдельно,
она — народ.
Она — это мы
в своей
лучшей части.

«Эту жизнь, восходящую над горизонтами лет, я всей кровью и мыслью своей поддержать и возвысить желаю», — громко заявляет поэт в стихотворении «День выборов». Выраженная много раз в стихах и прозе, эта мысль полностью согласуется с убеждениями и всеми поступками поэта.

Нетрудно заметить, что гражданская лирика Кубанева несет на себе печать сильнейшего влияния В. Маяковского — самого любимого его поэта. И это было естественным, ибо он ставил своей целью как можно полнее овладеть наследием В. Маяковского, быть хоть немного похожим на своего великого учителя. Молодой поэт хорошо знал творчество Маяковского и считал своим личным долгом широко пропагандировать его в массах.

В разное время Кубаневым написаны два стихотворения о Маяковском. В них не только выражено его отношение к великому поэту, но и, пожалуй, с наибольшей отчетливостью и полнотой сформулирована собственная поэтическая программа. В стихотворении «Он прост и велик» (1938) автор восхищается необычайной смелостью, новаторством стиха Маяковского, силой его образного мышления.

Размер —
могуч,
подвижен,
не строг.
И мысль —
как следы
на снегу подталом.
В этих железных
изломах строк
пряталось то,
чего мне не хватало.
Я уже не ходил
пешком под стол,
но, к ямбам привыкший
с начала роста,
не знал,
что можно писать
о простом
так увесисто,
жарко
и просто.

Открыв для себя могучую поэзию Маяковского, юный поэт сразу же берет на вооружение форму его стиха, сам пытается экспериментировать, искать новые значения слов, свои собственные словосочетания, образы. Но Кубанев хочет следовать не только новаторской поэтической стилистике Маяковского. Великий поэт становится для него идеалом художника-политика, глашатая коммунизма, борца против пошлости, мещанства, за новые, подлинно человеческие отношения между людьми. И очень естественным для Кубанева было новое обращение в 1939 году к теме Маяковского. Теперь он уже более зрело и широко оценивает талантливейшего советского поэта, а главное — яснее осознает свое собственное призвание.

Гневно, со всей силой молодой страсти обрушиваясь на недругов Маяковского, которые «к нему мошкарой налипали в пути», Кубанев рисует образ поэта-патриота, народного трибуна и бойца. Автора больше всего привлекают в Маяковском мужество, бескомпромиссность идейных и творческих позиций, бесстрашие. И когда он пишет:

Помимо поэм,
　　　　　от поэта в наследство
Повадки его
　　　　　оставляются нам, —

это воспринимается как наказ, как клятва следовать «повадкам» «агитатора, горлана, главаря».

Мысли об ответственности поэта перед обществом, о его особом месте в общем строю развиваются Кубаневым в стихотворении «Идут в наступление строки» (1939), во многом созвучном поэме «Во весь голос» и, очевидно, навеянном ею. Написанное примерно в то же время, что и стихотворение «Маяковский», оно столь же полемично, задиристо. Кубанев как бы продолжает неоконченный спор с противниками Маяковского, с поклонниками камерной поэзии. Он едко высмеивает авторов «зряшных словес», бездумно бодрячеоких стихов, требует, чтобы поэты получали задания от самой жизни, не боясь ее тревог и уроков, чтобы в каждой букве таилась «несносная острая правда». Стихи — это грозное воинство, убежденно говорит поэт.

Пусть шагом
　　　　　спокойно широким —
От мощи своей легки —
Идут в наступление
　　　　　　　строки,
Как праведные полки.

Выверяя силу своего поэтического слова по самому высокому эталону, каким был для него Маяковский, Кубанев вместе с тем стремился писать по-своему, создавать свой творческий почерк, свой арсенал поэтических средств. Лучшее из написанного им говорит о том, что попытки эти не были бесплодными.

«...Мечтаю научиться писать и подарить людям несколько сердечных, простых и умных книг. Но для этого надо так жадно жить, чтобы за одну жизнь перечувствовать, пережить не менее десяти жизней, — писал В. Кубанев в одном из писем. — ...Попробую сделать это лет через пятнадцать-двадцать, когда я много узнаю, увижу, передумаю, перечувствую, переделаю». Трудно представить себе, каких высот литературного мастерства мог достигнуть в будущем В. Кубанев, в какой мере ему удалось бы реализовать свои творческие замыслы. Но, разумеется, он интересен современному чи-

тателю прежде всего тем, что успел оставить нам. А остались от него и своеобразные стихи, дающие точные, художественно достоверные приметы времени, и темпераментная, боевая публицистика, и глубокие, не по возрасту мудрые размышления о своем поколении, о любви и дружбе, об искусстве и о многом другом, что волновало пытливый ум и беспокойное сердце молодого поэта, патриота, гражданина.

Знакомясь с творчеством Кубанева, с историей его жизни, молодой читатель, несомненно, многое почерпнет для своего духовного, нравственного обогащения и совершенствования, для ответа на самый главный вопрос: что же надо делать, как «перестроить себя», чтобы быть вровень с веком, «работать и жить всем существом для народа».

Б. СТУКАЛИН



«Я — КАК И ВСЕ...»

Стихи и письма 1937—1938 гг. *

Интерес к литературе по-настоящему у Кубанева пробудился, когда ему было шестнадцать лет. Может быть, потому, что в Мичуринске, куда переехала семья из Острогожска летом 1937 года, у него оказалось немало добрых наставников и друзей, поддержавших его первые литературные опыты. И завуч школы, куда брат был принят в десятый класс, Петр Иванович Гришунин, и редактор газеты «Мичуринская правда» Александр Васильевич Гребенников, и сотрудник газеты Иван Иванович Воронцов — каждый по-своему влиял на юного поэта.

К тому же брат посещал занятия литературного кружка при клубе завода имени Ленина. Там он подружился со своими ровесниками Колей Нечаевым и Сашей Ткачевым, тоже увлекавшимися поэзией.

Вскоре они вошли в литературную группу, организованную при редакции газеты «Мичуринская правда».

Алексей Васильевич Гребенников рассказывает, как Вася впервые пришел в редакцию:

«В мой кабинет несмело вошел паренек с русыми непослушными прядями над серыми внимательными глазами. Вошел и остановился на краешке ковра.

— Проходи, — говорю. — С чем пришел?

— Вот стихи, — отвечает и подает тетрадку.

— О чем пишешь?

— О жизни.

---

* Вступления к разделам написаны сестрой В. Кубанева — М. М. Калашниковой.

Лобастую голову наклонил и наблюдает, как стихи смотрю. Сказал ему, над чем надо бы еще поработать. Молча взял тетрадь и ушел. Через три дня принес переделанные заново стихи. Так в нашей редакции появился новый юнкор. О том, что к этому времени он уже был юнкором пионерской газеты «Будь готов!» и районной острогожской газеты «Новая жизнь», никому из сотрудников так и не сказал.

Помимо скромности, трудолюбия и упорства, какими он отличался в свои шестнадцать лет, было в нем то, чего порой не хватает и более взрослым журналистам и поэтам: цельность взглядов на мир, глубина понимания неприметных признаков нового в жизни.

Уже после первых встреч мне стало ясно, что публикация стихов не была для него конечной целью, что в его голове зреют более размашистые мечты и замыслы».

Из всех замыслов, какие вынашивал к шестнадцати годам брат, мне, девятилетней девочке, мало что было известно и доступно. Что стихи он писал, знала. Что книги любил и берег как самое ценное в доме и на земле, знала. Ведь он первым начал приносить книги в дом. Это и понятно: мама была неграмотной, как и многие ее сверстницы, выросшие в дореволюционной крестьянской семье; отец окончил лишь два класса церковноприходской школы, писать умел, а читать не любил. Вот почему увлечение сына литературой, поэзией в школьные годы родителями не принималось всерьез. А он упорно противостоял этому безразличию. По вечерам вслух читал Горького, Демьяна Бедного, Маяковского. Это были самые радостные вечера в нашем доме. Отец со своими бухгалтерскими заботами засиживался в конторе, а мы втроем у кухонного стола то плакали над детством Алеши Пешкова, то смеялись над тем, «как четырнадцатая дивизия в рай шла».

А иногда брат доставал бухгалтерского вида книгу и размашистым почерком восьмиклассника начинал записывать мамины рассказы о ее молодости, односельчанах, о жизни в большой крестьянской семье с патриархальным укладом, о том, как отдана она была замуж в дом, где нужна была прежде всего безответная, покорная работница.

Многое брат и сам помнил.

Всю пестроту детских воспоминаний он выверял через мамины рассказы, чтобы осмыслить те перемены в жизни односельчан, какие начались еще при нем.

В шестнадцать лет глубина этих перемен виделась по-новому, волновала не столько воспоминаниями, сколько перспективами.

К сожалению, из всего, что он вынес к шестнадцати годам из детства, сохранились только стихи, опубликованные в местной газете, да около двухсот писем, адресованных другу, единомышленнику и юнкору «Мичуринской правды» Тасе Шатиловой. Именно они-то и вошли в первый раздел сборника.

В 1937 году Тася Шатилова закончила неполную среднюю школу и училась на рабфаке. Я видела ее тогда всего один раз, когда Тася передавала брату какие-то книги.

Настоящее наше знакомство состоялось через десять лет после окончания Великой Отечественной войны, когда посмертно готовилась в издательстве «Молодая гвардия» книга В. Кубанева «Идут в наступление строки».

Таисия Васильевна, работавшая в те годы научным сотрудником Центрального музея В. И. Ленина, передала мне все письма брата. В настоящем издании более полно, чем когда-либо раньше, представлены письма, написанные им Тасе в дни поездки в Ленинград. Старшими друзьями для Васи там стали учитель Владимир Дмитриевич Кошелев и писатель Сергей Александрович Семенов, сотрудничавший в ленинградском издательстве. Встреча с ними во время школьных каникул в январе 1938 года, пожалуй, была самым знаменательным событием в жизни мичуринского десятиклассника.

Встрече этой предшествовало заочное знакомство с Владимиром Дмитриевичем Кошелевым, прочитавшим в газете «Будь готов!» одно из первых стихотворений брата — «Трус». Тогда же началась их переписка. Потом Владимир Дмитриевич пригласил брата на зимние каникулы в Ленинград. Отец как раз получил премию за бухгалтерский годовой отчет, и мама убедила его отдать эти деньги сыну на поездку. Сборы были короткими: взять в дорогу «легкий французский роман» да то, что могла приготовить мама.

Из Ленинграда шли ежедневные подробные письма о городе, о книжных магазинах, открывших перед братом несметные богатства, о встречах с новыми друзьями. А когда Вася вернулся в Мичуринск, он много рассказывал о семье Кошелевых, показывал только что вышедший из печати однотомник Пушкина с дарственной надписью директора издательства.

Поездка в Ленинград еще более укрепила брата в его поэтических мечтаниях.

До окончания школы оставалось четыре месяца. Еще не было решено, будет ли он дальше учиться или пойдет работать, но он уже твердо знал, кем и каким должен быть.

●

Изумруды всех семян и зерен
В души жизнь забрасывает нам.
И, как в самом тучном черноземе,
Прорастают эти семена.

Я следил ревнивым, жадным оком,
Как цвели в душе моей сады,
Наливалися пьянящим соком
Крупные, тяжелые плоды.

От всего берег плоды я эти
И хотел их людям подарить,
Чтоб могли они в других столетьях
Обо мне с любовью говорить.

Но с налету, с громом, с градом, с ветром
Буря ворвалась в мои сады.
И сбивает, бешеная, с веток
Не совсем созревшие плоды.

1936

КАТАНЬЕ

На поля, где желтела пшеница,
Вдаль направив волнистый разбег,
Пеленою пушистой ложится
Серебристый, искрящийся снег.

Щеки пáрней горят от мороза,
Щеки девушек — мака красней.
Разрешил председатель колхоза
На катанье им взять лошадей.

Понеслись, словно лебеди, сани,
Вихрем кружится около снег.
И от речки далекой с катанья
Вдаль задорный разносится смех.

Ветерок треплет конские гривы,
И пылает в жару голова.
Как во сне, улыбаясь счастливо,
Шепчет девушка парню слова.

1936

БРИГАДИР

Чернеет суровыми тучами небо,
В колхозе давно уже спят.
Не спит бригадир. Колосистого хлеба
Не связаны в поле участки лежат.

Сгниет под дождем золотая пшеница,
Которую нежно лелеял колхоз.
Так вот почему бригадиру не спится
И мучает девушку важный вопрос.

А в сердце все глубже тревога вползает,
Теперь бригадиру уже не до сна.
Подходит к избе, где живет звеньевая,
И звонко стучит в переплеты окна.

И, левую руку направив на тучи,
Кивает тревожно она головой.
Так можно без слов — и короче и лучше —
В секунду про все рассказать звеньевой.

Веселые песни прогнали тревогу,
Задорной улыбкой светились глаза.
Пылит и шуршит под ногами дорога,
Да громко звенят в тишине голоса.

Готовилось утро на землю спуститься,
Уж сбросила ночь одеянье свое,
В снопы повязала бригада пшеницу
И в тучные копны сложила ее.

1936

ТРУС

В нашем доме жил мальчишка
По прозванью Мишка-трус.
Даже знойным летом Мишка
Не снимал с себя картуз:
Чтобы солнечный удар
Не случился никогда.
По лицу у Мишки пот
В сто ручьев горячий льет.
Ничего не замечая,
Мишка улицей идет.
Если вдруг найдет гроза,
Закрывает он глаза,
И, пыхтя, нахмурив лоб,
Залезает в гардероб.
Он один сидеть боится,
Если в комнате темно:
«Вдруг в углу сидит волчица!
Или, может, постучится
Ведьма старая в окно».
Как-то осенью под вечер
Мишка вышел на порог.
Вдруг бежит ему навстречу
Черный маленький щенок.
Взмокла Мишкина рубаха,
Под собой не чуя ног,
Мишка, съежившись от страха,
Припустился наутек.
А щеночек завизжал
И с испугу убежал.
Выпал снег. Шумят мальчишки,
Мчат на саночках с горы.
Не обидно разве Мишке
Быть в сторонке от игры?
И хотел бы прокатиться
Вниз на санках — да боится.
Взяли раз ребята наши
Мишку в лес с собой весной.
Каждый шорох Мишке страшен,
Каждый крик и шум лесной.
Он бледнеет, и дрожит,
И скорее прочь бежит.
С этих пор никто с трусишкой
Не играет, не дружит...

Мы — веселая семья,
Мы — отважная семья.
Тот, кто с глупым страхом дружит,
Не годится нам в друзья.

1936

БРАТ

Шли мы улицей и вот
Разговоры начали.
«А братуху моего
В летчики назначили».

Потому-то Мишка весел,
Потому-то Мишка рад.
Нам отлично был известен
Самый старший Мишкин брат.

Расстегнув рубашки ворот,
Со значками на груди,
Он не раз нас в лес за город
И на озеро водил.

И когда набросил вечер
Покрывало темноты,
Понесли ему навстречу
Мы пахучие цветы.

Будто в горле стала глыба:
Мы молчим, и он молчит.
Наконец он нам «спасибо»,
Улыбаясь, говорит.

«Пусть, за спину руки спрятав,
Точит враг свои ножи,
Я подарок ваш, ребята,
Постараюсь заслужить».

1936

●

Мой детский разум неразлучен
С тоской, рожденной им самим.
Сомненьем тягостным томим,
Брожу средь жизненных излучин.
От вековых однообразий
Стремлюсь укрыться в мир иной —
Неощутимый, неземной,
В мир вдохновений, в мир фантазий,
Чтоб мир земной извне постигнуть
И, не покорствуя судьбе,
Как вечный памятник себе,
Святую истину воздвигнуть...

Тогда встает передо мной
Воздушный, чистый, невесомый
Ваш облик, взгляду незнакомый,
Но сердцу близкий и родной.

И в это жуткое мгновенье
В кровоточащем сердце вдруг
Родится радостный испуг
И угасает вдохновенье.

Как новы, как приятны мне
Земные краски, страсти, звуки!
Мир после длительной разлуки
Душе дороже стал вдвойне.

1937

●

И снова землю я пою
В ее цветенье первородном,
И в ликовании народном
Свою судьбу я узнаю.
С наивной детскостью поэта
Гляжу, краснея и скорбя;
Как мог я разлюбить тебя,
Моя зеленая планета?!

Как ты могла мне в блеске дня
Казаться грязной и постылой?!
Какой неведомою силой
Чаруешь нынче ты меня?..
Не я ль, мятежный, выходил
За обыденную ограду?
Не я ли горькую усладу
В своих мечтаньях находил?

Но, сделав вольную мечту
Своей послушною рабою,
Ваш облик заслонил собою
Миражных замков красоту.

И молодеющую землю
Я в этом облике одном —
И незнакомом и родном —
С восторгом трепетным приемлю.

1937

●

В душе, истоптанной борьбою,
Не заживает свежий след.
Наполнены одной тобою
И песни дня, и ночи бред...

Я ждал с волненьем каждой встречи,
Своих терзаний не тая,
Но останавливала речи
Улыбка ясная твоя.

В водовороте дум и чувств
Померкло робкое сознанье
И сорвалось с ребячьих уст
Неосторожное признанье.

И вот, кого еще вчера
Своим ты другом называла,
С чьего безумного пера
Любовь и боль к тебе стекала,

Кто, даром наделен завидным,
Отдал тебе свои мечты, —
Того с презрением обидным
Сегодня позабыла ты...

Хранили мы свой малый опыт
И шли, стремясь душою ввысь.
Схлестнулись вместе наши тропы,
Чтобы сейчас же разойтись.

Холодным золотым дождем
Миры проносятся над нами.
И снова мы с тобой идем
По жизни разными путями...

1937

●

Если нету на сердце печали
Отличишь ли осень от весны?..
Помню: в детстве снились мне ночами
Сказочные, розовые сны.

Я теперь умею слышать жалость
Даже в щебетании лесном,
А тогда мне жизнь еще казалась
Радостным, неповторимым сном.

Отзвенело детство золотое,
Смолк и смех, и песни ранних лет.
И во сне мне видится иное,
Да и в жизни прежнего уж нет.

В жгучей, неосознанной обиде
Об ушедшем с болью я кричу.
Навсегда рассыпалась обитель
Детских снов, мечтаний и причуд.

Из обломков рухнувшего храма
Вынес я к шестнадцати годам
Теплое, большое слово м а м а
Да под бровью неглубокий шрам...

1937

ПОЭТУ

Могучее, прекрасное искусство!
Люблю твой светлый, твой широкий мир,
Люблю горенья трепетное чувство
И звон твоих золотострунных лир.

Немые сны, холодные, как гроты,
И песенные жаркие бои,
Внезапные стремительные взлеты
И горькие падения твои...

Дай руку нам, миров высоких житель,
Пусть наша сила в твой вольется стих,
Наш друг и брат, наш вождь и утешитель,
Глашатай правд и чаяний людских.

Умеешь ты своей всесильной речью
Увлечь людей в сверкающую даль,
Рождая песней в сердце человечьем
Любовь и гнев, отвагу и печаль.

Где жизнь и свет — везде тебе отрада:
В тиши озерной и в лесной возне,
В оранжевом смятеньи листопада
И в незабудковой голубизне.

Грядущего свободный провозвестник,
Ты любишь мир, и ты поешь его,
Бросая людям огненные песни —
Куски большого сердца своего.

И те, кто шествуют с тобою рядом,
Кому всю жизнь слагаешь песни ты,
Дают тебе посильную награду:
Рукоплесканья, славу и цветы.

Забыв свои тревоги и сомненья,
Единой жизнью с Родиной живи.
И ты найдешь себе успокоенье
В ее горячей, молодой любви.

1937

КАНДИДАТУ

Никогда
не вернуться
минувшим векам.
Нет места в сердце
страданьям и бедам.
Сегодня
Наш народ-великан
Подводит итог
своим победам.
Сегодня,
грядущее видя свое,
Полный силы, ума и страсти,
Рукой победителя
он кует
Железное сердце
народной власти.
Неповторимы
и величавы,
В вихре песен,
улыбок,
знамен
Сверкают
в сияньи любви и славы
Буквы
родных и близких имен.
Нынче радость
светла и густá,
И сердце
радостью нынче богато.
Имя твое —
на наших устах,
Имя
нашего кандидата.
Дети
приносят тебе
цветы,
Поэты
песен бросают горсти.
В каждой нашей квартире
ты
Будешь всегда
желанным гостем.

Все мы —
единого класса люди,
Мы вместе с тобою
горели в борьбе.
Как будущность нашу,
тебя мы любим,
Как сыну родному,
мы верим тебе.
Мы знаем
стремленья твои
и дела.
Мы шлем тебя
Родиной нашей
править.
Чтоб наша страна молодела,
цвела
И крепла
в силе,
в довольстве,
славе.

1937

СТИХИ О НАС

У народа,
прошагавшего
сквозь слякоть
темной ночи,
Сделавшего явью
сказочные сны,
Не было и нету
гениальных одиночек,
Были,
есть
и будут
гениальные сыны.
Мы росли и новели,
мы грязли в старом,
Мы сердца свои
закаляли в борьбе.
И победа нашей страны
вырастала

Из тысяч
наших
отдельных побед.
Мы горели,
порой забывая о личном,
Потому что
величье
твое и мое
Лишь в общей победе,
лишь в общем величьи
Мы открываем
и познаем.
Счастье свое
мы в работе роем.
Рост государства —
наш собственный рост.
Завтра
сделаться может героем
Каждый, кто нынче
безвестен и прост.
В труде и страданьях
влачивший свой век,
Запуганный богом,
гонимый судьбою,
В первый раз
на земле
человек
Стал сегодня
самим собою.
Нам
путь нелегкий
пришлось пройти.
Мы мало спали,
мы мало ели.
Но
это
нам
открыло пути
К свободной жизни,
к желанной цели.
Тот,
кто вчера
был отвержен и сир,

Кто в сердце
боль копил
для борьбы,
Сегодня
входит
в им созданный мир
Как полный хозяин
своей судьбы.
Пройден этап
генеральной ломки,
Но шторм Октября
не совсем отгудел.
Меньше клятв
восторженно громких,
Больше
серьезных и смелых
дел!

1938

ЛЕНИН

Он в мир наш
неслышными входит стопами
Вместе
с первой нежностью
к матерям;
И образ его
вживается в память,
Телесной зримости
не утеряв.
Каждое имя для нас не пусто!
Но он
в нас будит не просто любовь.
Он стал нашей совестью,
нашим чувством,
Таким же живым,
как восторг или боль.
Мы люди.
Присущи нам гнев и горе, —
Мы в боль свое сердце
привыкли рядить.
Когда наши чувства
находятся в споре,

Когда их не может
                    наш ум рассудить,
Тогда он,
          как солнце,
                    из тьмы вырастает
И льет повсюду
                свой ласковый свет.
И, смешные,
          испуганно улетают
Маленькие призраки
                    горь и бед.
Мечте моей
          видится
                    даже рожденье
Мыслей,
        которые смерти сильней,
Которые мир приводят в движенье
                                огневою силою своей.
Я вижу
      родные бессонные руки,
Берущие голову
              в ласковый плен,
Усталость в глазах
                  и неновые брюки,
Немножко растянутые
                    у колен.
Рыданье дождя
              в полусонном рассвете,
Калоши,
        чернеющие в уголке,
Чернильные брызги
                  на свежей газете
И круг от лампы
              на потолке.
Часы,
     говорящие мерно и веско,
К окошку придвинутый
                    низенький стол,
Немножко
        отдернутую занавеску
И пачку
       исписанных мелко
                      листов.

И еще:
колыханье знамен
и винтовок
В тишине,
ожидающей
и голубой,
И,
каждый миг
взбушеваться готовый,
Неудержимый
людской
прибой.
И он,
и радуясь
и негодуя,
Выходит
на серый
апрельский песок.
Я вижу походку
его молодую
И увлажненный по́том
висок.
Я вижу
кепку
в правом кармане,
И руку,
протянутую в века,
И пятна факелов
в мокром тумане,
И дрожь
ползущего броневика.
Я вижу,
как высится все прямее
Голов неколеблемая гряда
Народа,
который и в скорби
и в гневе
Хранит единенье
в своих рядах.

1938

СЕГОДНЯШНЕЕ

Я мог бы
промурлыкать
лирическую чушь
Про зелень,
протянувшуюся
к голубому небу,
Но я про то
писать не хочу,
Где мыслью
сегодня
не был.
Я мог бы воспеть
полыханье лет,
Которые нами пройдены,
Но надо,
чтоб жил и горел
поэт
Сегодняшней
жизнью Родины.
Я мог бы
зажечься
любой из тем,
Мне в голову
льющихся лавою,
Но я не хочу
зажигаться
тем,
Что для всех
сегодня
не главное.
Поэту про птичек
чирикать птичкою
Сейчас
совсем не резон,
Когда,
зажженный фашистской спичкою,
Войною
дымит горизонт,
Когда,
толкаемый
предгибельным ужасом,

Шпорами,
выпачканными в кровь,
позванивая,
Над Европою
коршуном
кружится
Палач — по профессии,
фюрер — по званию.
Он по лести слуг своих
ходит павою,
Влезший
в рваный костюмище
наполеонов,
Покрытый
нафталином,
анекдотами
и славою
И починенный
заплатами
крупповских миллионов.
Он час грозовой
настойчиво близит,
От легких побед
обнаглев.
И вот
уже кажет
нутро свое лисье
Британский
моноклистый
лев.
Он глядит
со снисходительным умиленьицем
старшего
На то,
как бойко
мальчонка растет:
Вчера
он немецкие головы
скашивал,
Сегодня
границу австрийскую
стер.
Политика
на редкость подлая
и простая:

Половиной страны
казематы забив,
Оставшихся
расписаться заставил
В том,
что отныне
они — рабы.
А завтра...
завтра —
знаем и верим —
В бомбах весь, в огне
и железе,
Он к другой
соседней,
не соседней двери
Свастику мерзкую
прибивать полезет.
Все, кто
год четырнадцатый
помнит,
Кому
покой своей родины мил, —
Смотрите:
лозунг страной моей
поднят:
«Да здравствует в мире мир!»
Забыв
на время
про географический сан,
Про разноязычие
вер и наций,
Взбесившегося кровожадного
пса
Договорами дружбы
посадим нá цепь!
Но если
ты правде ленинской
предан
И видишь
в грядущее путь,
Делать мир
предоставив полпредам,
К бою готовым будь!

1938

ОН ПРОСТ И ВЕЛИК

Я помню
первую встречу
с ним.
Я, малыш,
себе мир открывал
на ощупь
и брал
со словесных кипящих нив
то,
что полегче,
и, то
что попроще.
Я покой
охотно на игры менял,
сердцем любя
непоседливость детства.
Спокойные ямбы
стесняли меня.
И некуда было
от ямбов мне деться.
Томики с вывесками
«Майков» и «Фет»
плотно смыкали
свои корешки.
Скучно-красивые,
как коробки
из-под конфет
или
как мертвые бумажные венки,
и своим смешеньем
облаков и ласк,
своею «лирою»,
«страданьем»
и «душою»
старательно закрывали
от мальчишеских глаз
что-то
очень нужное
и очень большое.
Я жил,
как больные живут, — со страхами,
с этим скопищем
толстых раззолоченных книг.

Но тонкая книжка
стихов про знахарей *
оказалась совсем
не похожей на них.
Размер —
могуч,
подвижен,
не строг.
И мысль —
как следы
на снегу подталом.
В этих железных
изломах строк
пряталось то,
чего мне не хватало.
Я уже не ходил
пешком под стол,
но, к ямбам привыкший
с начала роста,
не знал,
что можно писать
о простом
так увесисто,
жарко
и просто.
Сразу
властно вошли, как живые,
стихи его в мир
неширокий мой.
А его самого
я увидел впервые
в газете
с траурной каймой.
Я мнил поэта
странным и хрупким,
встрепанным,
бормочущим какие-то слова.
А у этого
большие
жилистые руки
и круглая
стриженая голова.

---

* Агитстихи В. Маяковского.

Лицо,
налитое гордой силой,
похожее на страстный
воинственный клик.
И весь он —
глыбистый, близкий и милый —
по-земному прост
и велик.
С глазами,
емкими, как полные чаши,
он был
на каменщика похож.
Нелеп был выстрел его,
прозвучавший
как древняя первоапрельская ложь.
Я горечь слез проглотил тогда
и себе приказал:
«Зови и мсти!
Плавь свое сердце
в огне труда
и лей эту лаву
в звенящий стих.
Делая новое и новое любя,
мсти пошлости,
забравшейся в сердца угол.
Она отняла у страны
и у тебя
такого
неповторимого друга!»

1938

ТЕБЕ

Я волок за собою
мечту о не сущем,
Что-то бормоча
и о чем-то скучая.
И,
привычную тяготу грусти
несущий,
Встретиться с тобой
не хотел и не чаял,

Мысли
ворочались
еле-еле
В истерзанном жестокой бессонницей
мозгу,
И друзья мне,
и даже слова
надоели,
Шелухой подсолнечной
слетающие с губ.
Нет, что ль, сил
повернуть
судьбы карусель,
Не идя
по дорогам
пыльным и торным,
Чтоб не слышать
упреков
далеких друзей,
Чтобы было
ветрено
и просторно?..
И вдруг
эта встреча —
совсем по-новому:
Как льда ожог,
как поющий камень.
Ты пришла нежданно,
чем-то взволнована,
Теребя косички
робкими руками.
Я не знаю,
зачем,
почему
и за что
Мы так громко,
сложно
и мало
дружили.
Та же шапочка,
то же пальто,
А лицо,
глаза
и голос —
чужие...

В меня
        падают
                слез голубые звезды,
Прекрасные
            жутью своей
                        неземной.
Меня разделяют
                бесстрастные версты
С теми, кто
            плачет
                    вместе со мной.
Но среди
        пламенного
                    и страшного,
Во вдохновеньи,
                в бреду,
                        в грозе
Я ни разу
            у сердца не спрашивал:
«Кто дороже
            тебе
                из друзей?»
Я не верю
            се́рдца повадкам лисьим
И желаю
        для правды
                    цельней сберечь
Полынность
            редких
                    и тонких
                            писем
И пунцовую
            неловкость
                        случайных встреч.

1938

ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО

П. Ш.

Не знаю, что со мною сталось:
Душа кровавится в огне,
И тает хрупкая усталость
В ее холодной глубине.

Пусть у моих рыдает ног
Виденье скорби неутешной,
Спокойно мудр я, как пророк,
Неколебимый и безгрешный.

Измучен долгою борьбою,
Я силы в сердце сохраню
И пронесу их над собою
Навстречу завтрашнему дню.

Чтобы осмыслить и изведать
Глубь повседневной суеты;
Чтоб современникам поведать
Свои заветные мечты;

Чтобы ни словом не налгать
Потомкам, вслед за мной идущим;
Чтобы по миру прошагать
В обнимку с солнечным
Грядущим.

Идя сквозь зной,
сквозь тьму и снежность,
Я вспомню, может, невпопад
Твою застенчивую нежность,
Твой тихий смех,
твой светлый взгляд.

Поэта незавидна участь:
Всю жизнь искать, всю жизнь гореть,
Творить и радоваться, мучась,
И, так же мучась, умереть.

Стремленье к солнцу затая, —
За рядом ряд, за камнем камень, —
Стену судьбы разрушу я
Своими цепкими руками.

Когда ж влетит предсмертный ветер
В мое раскрытое окно,
Стуча, обхватят руки эти
Стола зеленое сукно,

Тогда, навеки покидая
Свою веселую страну,

Я непременно, дорогая,
Твой милый облик вспомяну.

Не знающий себе предела,
Судить не может разум мой
Тебя, которая умела
Быть независимо прямой.

Мои непрочные мечты
Размыло знобкое ненастье.
Я буду счастлив, если ты
Найдешь себе с другими счастье.

Но если для тебя года
Лихой протянутся чредою —
Твоя печаль, твоя беда
Моею станется бедою.

Чтоб путь неповторимый твой
Не омрачался скорбью черной,
Пусть пламя юности живой
Горит в душе твоей просторной.

1938

ИЗ ПИСЕМ

(1937—1938)

●

И в вашем письме, и в ваших стихах, которые я жду (неужели не пришлете?), должно, даже помимо вашего желания, прорваться чувство чистой, веселой молодости — чувство, которым наполнено ваше существо; чувство, которое двигает вами в вашей учебе, работе и жизни.

Человек, утративший это чувство, обречен на страшное, неминуемое угасание. Берегите в себе это светлое, чудесное чувство. Пусть житейские невзгоды и холодные обиды не тушат пламени молодости в вашем сердце.

●

Как благодарить мне вас за то, что в тяжелые для меня дни вы протянули мне руку своей молодой и радостной дружбы.

Мне о многом хочется вам рассказать, и я жду нашей встречи с волнением непередаваемым. Благословляю жизнь, столкнувшую меня с человеком, у которого такое ясное, такое хорошее сердце!

Последние 10—12 дней были, быть может, самыми тревожными днями во всей моей жизни. Терзаемый сомнениями, я находил радость в самоуничижении, в душевном самоистязании. Я потерял ритм жизни. Я удалился от обыденщины в область отвлеченностей, в область образов и идей, созданных собственной моей фантазией. Мне казалось, что мир познается **извне.** Мои мистические заблуждения продолжались долго, и не знаю, к чему они привели бы меня. Но вот передо мною встал ваш образ — ваш милый облик. И земля, дотоле казавшаяся мне неуютной, однообразной, противной, стала мила и близка моему сердцу, потому что на этой земле живете вы. Облик ваш вернул меня к жизни, и сердце запылало огнем иного вдохновения — земного, страстного, живого.

Вы вернули мне желание жить и творить. Я понял теперь, что мир познается не извне, но изнутри. Что истину воздвигнуть можно лишь на постаменте земных идей и чувствований, которые надо узреть, изучить, понять.

●

Если стихи для вас не забава, не способ услаждения души; если стихи составляют какую-то часть вашей жизни; если вы пишете их, волнуясь и тревожась, радуясь и скорбя, — ваши стихи не могут не быть хорошими, настоящими стихами.

Если это так, то вам не надо рассказывать о той огромной ответственности, которая лежит на поэте. Поэт — голос мира. Не эхо, а голос — живой, горячий, зовущий.

Поэт — не божество. Он человек, но человек, обладающий редким сокровищем, человек, одаренный способностью видеть больше и чувствовать глубже, чем видят и чувствуют те, с кем рядом он идет.

Жизнь поэта принадлежит миру. Бессонные, жаркие, полубредовые ночи. Вдохновенные, стынущие восторги. Бешеная ходьба по комнате. Дымящиеся строки. Сотни исписанных, исчерканных, изорванных страниц. Сердце, истекающее кровавыми стихами, истерзанное обидами и сомнениями. Мучительная радость творца.

Вот что такое жизнь поэта. Вот что кроется за строками гладко написанных стихов... Жизнь поэта — бесконечное испытание, жуткое, тяжкое. И того, кто пройдет через это испытание, потомки венчают лаврами великого певца человечества. Жизнь поэта — страшная боль...

Нет в мире радости выше, чем радость творца. У поэта она тоже боль — сладкая боль. Боль, за которую не жалко ничего — ни жизни, ни счастья, потому что для поэта в этой сладкой боли все — и счастье, и жизнь...

Труд поэта — тяжелый труд. Путь поэта — скользкий и крутой. Вы представляете, какой яркой и ясной душой должен обладать поэт, какой океан чувств должен в нем таиться, если всего лишь несколько строк, написанных им, способны заставить нас тревожиться, смеяться и рыдать, идти на подвиг, умирать, понимать и переделывать мир!

Поэт по кускам вырезает и отдает людям свою душу. И награда за это — бессмертие. Но бессмертная слава — не цель. Это лишь награда. Цель жизни поэта — верное служение Родине.

●

Чтобы описать радость или грусть, отчаяние или уверенность — совсем не надо упоминать об этом. Если вы просто скажете, что вам радостно или вам тяжело — читатель ваших стихов не заразится вашим настроением. А ведь задача поэзии — силою образов, силою художественной мысли воздействовать на чувства читателя. **На чувства!**

...Сила и характер этих образов зависят от особенностей личного характера, от глубины его восприятия, от широты жизненного кругозора, от классовой принадлежности, от степени одаренности его и от многих других причин.

...Задача лирического поэта — показать свои переживания не путем копания в чувствах и мыслях, не

путем пересказывания своих переживаний, но путем передачи своего **внутреннего** мира через мир **внешний**, через определенное восприятие этого внешнего мира.

...Пишите проще. Все искреннее — просто. Все надуманное, искусственное, неискреннее — громоздко и неудобно. Не стремитесь писать красиво, потому что иногда очень трудно отличить истинную красоту от размалеванной, крикливой красивости. Помните, что все простое — красиво, все красивое — просто.

Однако необходимо отличать простоту от схематизма, присущего весьма многим нашим поэтам. Простота стиля наших классиков — кажущаяся простота... Даже простота Демьяна Бедного — эта простая простота — совсем не так проста, как это на первый взгляд кажется. Пусть-ка те критиканы, которые обвиняют Демьяна Бедного в этой кажущейся и чересчур простой простоте, пусть-ка они попробуют написать такие стихи!

Маяковский тоже очень просто писал. И Багрицкий тоже. Но их простота иная. Если Бедный подчас умышленно упрощает свои стихи, то Маяковский и Багрицкий не делали никаких скидок на малокультурность читателей. Они знали, что читатель вырастет. И разве они ошиблись? Они не делали разделения читателей на категории: «массовый читатель», «средний читатель», «высококвалифицированный (?!) читатель». В то время, как некоторые поэты и поныне кипами выбрасывают на книжный рынок свою «продукцию» для «масс», не замечая, что массы стали культурнее их, что массам, которые овладели высотами мирового искусства, ложная простота чужда. Нельзя путать простоту с простоватостью. Писать просто — это не значит упрощать. Писать просто — это значит прежде всего писать ясно.

●

Сегодня моей душой овладел один огромный замысел. Это такая громада, что при одной лишь мысли о ней я дрожу и горю, и сердце холодеет от страшного счастья. Если мне удастся осуществить этот замысел — головокружительный, необъятный, гигантский, — если то, что задумано сегодня, мне удастся осуществить, мое имя будет стоять в ряду величайших имен мира.

Я плакал от счастья, когда понял, какая мысль при-

шла мне в голову. И мне не стыдно было этих слез — слез восторга, слез вдохновенья.

Сегодняшний день — один из счастливейших дней моей печальной юности.

●

Каждому человеку присуще свое особое восприятие мира, которое отличает его от других людей и составляет часть того, что мы называем «личностью».

У поэта, как у выразителя взглядов, идей и настроений определенного класса или социальной группы, индивидуальное бывает обычно выражено резче, чем у остальных людей этого класса. И вот чем резче, ярче, сильнее эта индивидуальность выражена, чем поэт оригинальнее или, как говорят, самобытнее, тем глубже будет влияние его творчества на человеческие души. Если эта яркая самобытность сочетается в поэте с высоким идеологическим уровнем, широким кругозором и ясно выраженной классовой направленностью, такой поэт называется великим поэтом...

Однако, стараясь как можно ярче проявить свою индивидуальность, поэт не должен отступать от общечеловеческой системы воззрений и чувствований, если он знает, что эта система не устарела, что она отвечает целям и задачам того класса, выразителем которого этот поэт является.

●

Вот и открылось все. Мы знакомы. Я рад безмерно. Но к радости этой примешивается, против воли моей, досадное острое сомнение. Не раскаиваешься ли ты, маленькая, доверчивая девочка, в том, что отдала мне руку своей дружбы? Не ругаешь ли ты себя за свою невинную «опрометчивость», за свою горячую поспешность.

Я больше чем уверен, что ты представляла меня лучше, чем я оказался в действительности. И если ты чувствуешь свою ошибку, если ты чувствуешь, что я недостаточно хорош для тебя, — скажи сразу, в первом же ответном письме или при первой же встрече. Всякое затягивание только ухудшит положение, и, если ты встрепенешься позднее, мне придется пережить много тяжких дней...

Самое большое желание мое — найти настоящего, **вечного** друга — понятливого, бережливого, веселого.

Ты протянула мне руку своей дружбы. В дружбе твоей я черпаю силы и вдохновение. Все, что я думаю и чувствую, — все связано в той или иной степени с тобою. Ты — единственный мой советчик, близкий мне по духу, способный понять меня и помочь мне.

Как боюсь я потерять эту дружбу!

●

О своем замысле. Как я уже говорил тебе, моя задача — показать историю одного села. Несколько семей, связанных между собою (родством, враждой и т. п.). Наряду с коренными крестьянами показать выходцев из крестьянства. Я говорил тебе, что за последние годы ни один класс не претерпел таких глубоких изменений, как крестьянство. Об этом стоит писать. То, что я задумал, — многотомная эпопея. Социально-философский роман... Я попробую его создать...

Я не нахожу слов, чтобы передать, как необъятно велик и значителен, как увлекателен и непосилен этот замысел. Сейчас я, конечно, не в силах подступиться к нему. Когда я даже только посмотрю на него, у меня режет глаза, как если бы я смотрел на солнце.

Не раньше чем через десять лет я приступлю к непосредственному осуществлению этого замысла. Буду переделывать пять, десять, двадцать раз каждую фразу, каждую строку, пока не будет сносно...

●

Ты, конечно, представляешь, какая это работа — писательство. Надо учесть сотни мелочей, учесть все особенности каждого персонажа (а ведь персонажей в романе — сотни!), надо продумать каждую деталь — и со стороны психологии, и со стороны искусства, и со стороны политики.

Считалось, да тайком и поныне считается, что хороший поэт является плохим политиком. Это ерунда! В наши дни поэт **должен быть** хорошим политиком. Так оно и есть. Если и имеются среди поэтов никудышные политики, то из таких политиков и поэты то-

же никудышные. Нельзя быть всеприемлющим. Надо быть очень чутким, очень внимательным, трезво и ясно смотреть на мир без тоскливого тумана, но и без восторженного сияния — и то и другое мешает нам видеть настоящее лицо мира.

●

Год тому назад я начал самостоятельно изучать французский язык — не по учебникам, а по романам. Сначала многое оставалось непонятным, сколько я ни лазил по словарям. Но потом дело пошло на лад. Через девять месяцев я уже прочел на французском языке две книжки — от начала и до конца. А сейчас — забросил. Только изредка занимаюсь, если какая-нибудь книжка попадет мне в руки. И, к огорчению своему, вижу, как все больше и больше я стал забывать французские слова. Французским языком займусь тогда, когда уеду в деревню.

...Тебе, быть может, интересно знать, Тася, что я буду делать в деревне? Я думаю поехать туда учителем в школу первой ступени. Работать с детьми трудно, но зато каждая победа радует не меньше, чем победа творческая. Учителя, подобно писателям, с полным правом могут назвать себя «инженерами человеческих душ». Детей я очень люблю, да и они меня почему-то любят. Я надеюсь крепко с ними сблизиться. Мы быстро поймем и полюбим друг друга.

●

Моя мама — очень добрый человек. Она любит меня и верит в меня. Я очень редко бываю с нею весел и разговорчив. Однажды, когда я по какой-то причине (это было, кажется, в тот вечер, когда мне впервые пришла в голову мысль о гигантском замысле) был необычайно возбужден и радостен, я сел около нее. Вспомнили наши былые страдания, вспомнили обиды, которые наносил нам отец, вспомнили мои первые годы, и она призналась мне, что ждет, когда будет напечатана моя первая книга. «Тогда я могу помирать спокойно». Я был очень растроган этими простыми словами, но сдержался и не показал виду, что ее слова меня сколько-нибудь тронули.

4 В. Кубанев, С. Чекмарев

●

Сегодня школа послала меня по поручению горсовета в 1-ю Решетовку выполнить одну маленькую работу, связанную с подготовкой к выборам в Верховный Совет. Вернувшись оттуда, я встретил почтальона, который отдал мне письмо из Ленинграда. Посылаю его тебе. Автор этого письма — знаменитый писатель-челюскинец, орденоносец Сергей Александрович Семенов, автор романов «Голод», «Голый человек» и «Наталья Тарнова» и пьесы «Не сдадимся». Я, конечно, очень рад этому письму, но не знаю, как быть: они просят прислать все, а мне стыдно посылать такую дрянь. Что делать — не знаю. Пошлю не все, а лишь то, что хоть немножко похоже на стихи и рассказы.

Как ты советуешь мне поступить? Стоит ли вообще посылать туда свои маранья? Мне кажется, не стоит.

●

Моя мечта — создать такой сильный, яркий и страстный образ, который был бы примером для людей и о котором каждый мог бы сказать: «Я хочу быть таким, как он!»

...Первый «эскиз» этого прекрасного образа — Григорий Рязанцев (в «Поэте»). Следующие подступы — в «России», «Артистах», «Будущем» и других больших и малых романах. Во всех этих романах будут довольно робкие подступы к этому образу. Более решительный и смелый шаг на пути к созданию этого образа — большой роман «Ленин». Но этот роман, может быть, мне и не удастся никогда, и вот почему: чтобы создать образ подлеца или преступника, не обязательно самому быть преступником, подлецом... но чтобы создать образ гения, надо самому быть гением. Мне кажется, что я никогда не разовью своего дарования до размеров гения, а потому и никогда не напишу романа «Ленин». Остальные замыслы, какими бы огромными и непосильными они ни казались мне сейчас, будут осуществлены. И я сейчас даже не представляю, как это я могу не написать «Поэта» или «Россию»! Это не зазнайство, не самоуверенность! Это просто уверенность в себе, в своих силах. Все, что я задумал, будет написано. Я верю в это так же, как в то, что я существую. Порукой этому мои 16 лет! В мои годы (это не бахвальство!) не каждый может даже мечтать об

этом, не каждый может видеть необходимость этих замыслов, а я не только увидел и понял их историческую необходимость, но и (каков жук!) берусь за их осуществление.

●

Перечитал сейчас некоторые заметки к роману. Очень хочется приняться за него, но боюсь. Надо отложить это еще года на два. А пока — наблюдать, обдумывать, записывать. Тогда мне легче будет работать над ним.

●

Читал материал к роману. Бегал по комнате. Думал. Рвал волосы на голове. Нет! Я не могу отложить работу над романом на целых два года. Работа (предварительная) ведется без конца. Впечатления, чувства и мысли наплывают все больше и больше. Их напора не выдержит никакое хладнокровие и терпение. Роман будет начат скоро. О, это будут хорошие дни!

●

Во время работы над «Россией» мне придется много постранствовать. К тому времени я буду уже автором «Поэта» и двух философских повестей (в таком порядке я думаю осуществлять свои замыслы). Мне надо трудиться дни и ночи, а до этого — бесконечное изучение жизни. Я долгое время ломал голову над тем, как можно широко и глубоко изучить жизнь? Сейчас ответ на этот наивный вопрос я нашел: самый верный способ познать жизнь — жить. Не отъединяться, не «страдать», не корчить из себя отвергнутого и непонятого пророка и безвинного мученика, но жить — жить болями и радостями Родины, мыслями и делами мира.

●

В дорогу беру с собой французский роман. Роман очень легкий, очень веселый, окрашен милой французской нескромностью. Я беру его с собой и этим ловлю двух зайцев: получаю легкое «чтиво» и возможность

узнать новые французские слова и обороты речи и восстановить в памяти старое. На больших станциях я буду покупать газеты и журналы. Это вошло у меня в привычку. Из каждой поездки я привожу с собой кипу газет и журналов — всех «мастей и направлений». Все это я покупаю «случайно» и «мимоходом». Во мне сидит какой-то «книжный дьявол». Я не могу быть равнодушен при виде книг, и сколько бы ни было у меня в этот момент денег в кармане — все растрачу на книги. Вот характер какой дурацкий!..

Если мне завтра удастся достать билет — Новый год я буду встречать в Ленинграде, в обществе друзей, таких далеких и в то же время таких близких!

●

Сижу в Москве на Ленинградском вокзале. Приехал в Москву час тому назад. Сидеть до восьми часов вечера. Накупил газет. Читаю. В вокзале почти никого нету. Мои спутницы рядом со мною. Оказывается, они хорошие люди.

Думаю: дать ли телеграмму Кошелеву? Решил: не давать, нагряну сюрпризом. Сюрприз-то сюрприз, но приятный ли? По вокзалу ходит женщина с лотком и продает мороженое. Какое тут мороженое, когда и без того холодище в вокзале. А в Москве не так-то уж холодно, как я представлял. Идет легкий снежок.

●

Сейчас 10 часов утра. Сижу на квартире у Кошелевых. В его кабинете. Нашел легко.

...Ленинград поразил меня своей тяжкой мрачностью. Утро здесь начинается поздно. Дома высокие, темные. И так на протяжении 20—25 минут! Единственное радостное, что увидел я из окон трамвая: два огромных букета бумажных (но издали будто живых) цветов, которые несли по тротуару две девочки. Мне стало вдруг страшно чего-то. Да, именно страшно. Милый Достоевский, недаром избрал ты местом действия своих жутких драм этот мрачный город.

Мне указали остановку, на которой я должен был сойти, и я пошел по Мартыновской улице. Нашел дом № 7. Постучался. Мне сказали, что никакого Кошелева здесь нету, а дом № 7/9 находится во дворе.

Оказалось, дом № 7/9, где живет Владимир Дмитриевич, — школа. На мой стук отозвался тонкий, почти детский голос:

— Кто?

Я спросил, здесь ли квартира Кошелева.

Дверь открылась, и я увидел перед собой девочку лет семнадцати в коричневом платьице, с румяным лицом и веселыми глазами.

— Проходите. Владимир Дмитриевич сейчас выйдет, — сказала она мне.

Я прошел и остановился у дверей.

В комнате справа послышался женский голос:

— Кто там?

— Это к Владимиру Дмитриевичу.

Из двери справа вышла женщина, не очень красивая, немножко похожа на Лидию Сейфуллину, с волосами так же подрезанными, как у Сейфуллиной. Я догадался, что она учительница: было во всем ее облике что-то знакомое, присущее всем учителям.

Она посмотрела на меня и сказала:

— А я вас знаю. Вы — Юра?

— Нет, я не Юра.

— А кто же вы?.. Ах, ах, ах! Володя, Володя! Ты знаешь, кто к нам приехал? Вася, Вася Кубанев!

Из двери послышался кашель и густоватый мужской бас (никогда не думал, что Владимир Дмитриевич говорит басом).

— Да ты подожди, не показывайся в таком виде: небритый и без рубашки!

Но он показался. Он — Кошелев... Человек среднего роста. Довольно толстый. Небритый. С взлохмаченными волосами. В нижней рубашке. С одутловатым (после сна) лицом, с двойным подбородком. Мы поцеловались несколько раз, обнялись и так простояли несколько минут обнявшись.

Восклицаниям не было конца. Он провел меня в дверь, ведущую прямо, потом в свой кабинет, усадил в мягкое кресло, а сам сел к столу бриться.

Он в шутку делал строгий вид и кричал:

— Фима! Дождусь ли я сегодня горячей воды?!

Девушка, которая меня встретила, — домашняя работница Кошелевых, а женщина — жена Владимира Дмитриевича.

Он стал расспрашивать, как я доехал. Я рассказал все. Он слушал меня внимательно. И тут я заметил,

что он страдает одышкой. Он решил пойти отпроситься с собрания. Вечером у них в школе елка, но он урвет время для своей елки.

Жена тоже ушла в школу. Фима напоила меня чаем и тоже куда-то ушла. Я остался один и вот пишу тебе письмо. Слишком взволнован встречей, Тасенька, чтобы рассказать тебе о своих мыслях.

...Теперь отдельные детали встречи, которые приходят в голову:

В. Д. достал откуда-то из стола пачку каких-то пакетов и бумаг и показал мне:

— Что это?

— Не знаю, — ответил я.

— Да это же ваши письма, мой родной Васек! Видите, сколько написали!

Я искренне был удивлен — целая огромная кипа.

— Они у меня пронумерованы, — сказал В. Д., и я увидел: на каждом конверте стоит номер.

...После того как показал мне письма (к тому времени он уже выбрился и переоделся), В. Д. сказал:

— А теперь вот он! Живой! Я даже не знаю, с чем сравнить ваш приезд. Так неожиданно! Как будто с того света вернулся! Настолько неожиданно! Ах вы, родной мой! — И мы еще раз поцеловались и обнялись. И, как всегда в таких случаях, оказалось, что не о чем говорить.

— Книги, которые на столе, в вашем распоряжении. Книги, которые здесь, в вашем распоряжении. Теперь идите сюда. — И он повел меня в дверь, ведущую из прихожей прямо.

— Эта комната вся в вашем распоряжении. Вот вам перо. Вот вам тетрадь. Пишите. А мне пора. Я постараюсь скоро вернуться...

●

Вспоминаю подробности своего пребывания в Москве. В самом центре я не был, а то, что видел, не произвело на меня днем никакого впечатления. Но я вышел из вокзала на площадь вечером, когда она была освещена. И я почувствовал, что есть во всем этом действительно какое-то радостное, возвышающее душу величие.

Перед вокзалом носили елки. Множество елок. Продавали. И как это шло ко всему остальному! Рядом с

Ленинградским вокзалом — станция метро с большими красными буквами М на крыше. Трамваи. Автомобили. Троллейбусы. Автобусы. Во всем движении что-то приподнятое, радостное. Да, именно радостное...

И с каким страхом вступил я в Ленинград!.. Даже движение здесь какое-то тяжелое, неповоротливое. А может быть, виною мое настроение?

●

В. Д. пришел в одиннадцать. Пока Любовь Петровна (она директор школы, в которой находится их квартира) и Фима суетились в кухне, мы с В. Д. вспомнили все, что было у каждого из нас в минувшем году. Он остался доволен сделанным, а я — нисколько.

В 11 часов 50 мин. он повел меня в столовую. Мы все четверо сели за стол и включили радио. Как только часы на Спасской башне пробили 12, мы встали и поздравили друг друга с Новым годом. Владимир Дмитриевич провозгласил первый тост:

— За Васенькины успехи! Не за успехи в толпе, но за успехи в самом глубоком смысле этого слова. За жизненные успехи! За твое грядущее, Васек! Давай поцелуемся.

Мы облобызались и принялись за закуски, на которые Фима оказалась великой мастерицей. Я никогда не думал, что семнадцатилетняя девушка может так красиво и вкусно готовить.

Следующий тост — за благополучие Любы. Потом зажгли елку и выключили электричество. Это было очень красиво. Минут десять сидели мы молча, думая каждый о своем. Я думал о тебе, Тая.

Владимир Дмитриевич исполнил на пианино несколько своих любимых вещей. Потом снова включили свет, и третий тост за Владимира Дмитриевича! Остальное время — до двух часов ночи — прошло незаметно, в шутках и разговорах...

...Вчера вечером В. Д. попросил меня коротко передать ему содержание и основные идеи романа. О содержании (сюжете) я не сказал ему ничего. Но основные идеи изложил с удовольствием и даже, признаться, очень был сам взволнован. Впервые я говорил о самом главном: об идеологических установках и о задачах моего романа,

— Васек, милый Васек! Это замечательно, это прекрасно! Но, поверьте мне, этот труд вам не под силу. Ни один самый крупный гений (самый крупный, слышите, Васек?!) не создавал в ваши годы такого произведения, которое осталось бы в истории литературы. Ну приведите мне хоть один пример!

Что мог ответить я ему на эти слова, Таечка? Это были очень жестокие, но справедливые слова. Однако значит ли это, что я должен опустить голову и руки и сдаться без боя?

Нет! Будет бой. Будет страшный бой. Как только я оправлюсь от своих недавних потрясений, я дам первое сражение. Оно будет большое, но не решающее. Я буду биться до изнеможения.

«Победа или смерть!» — таков девиз героев. И я хочу: пусть моя жизнь будет достойна того, чтобы эти слова можно было поставить к ней эпиграфом.

Жизнь моя только начинается. Впереди — много лет борьбы и труда. Я приложу все силы и всю волю к тому, чтобы выйти из этой борьбы победителем. Мне предстоит вести борьбу прежде всего против самого себя, против всего того (субъективного), что мешает мне идти по прямой дороге. Это один фронт. Второй фронт — борьба с человеческой тупостью и черствостью.

Только в последние дни я понял, как безумно (да, безумно!) люблю я жизнь. Я хочу, чтоб она была лучше, чтобы мир был просторней и чище, чтобы люди были умнее и ярче. Этому — вся моя жизнь, все мои стремления и дела.

И центральный фронт — фронт борьбы против собственной ограниченности, борьбы за овладение вершинами мировой культуры.

Я должен впитать в свою душу **все** лучшее, что было сделано до меня. Я должен проникнуться сознанием единой цели, к которой движется мир и к которой ведут его великие люди. Без этого невозможна и даже немыслима работа настоящего художника. А я хочу быть настоящим художником, творцом, но не жалким фотографом и не сумасбродным фантазером. Творец! Что в мире выше этого?

Мир стремится к тому, чтобы каждый человек получил право и возможность быть творцом. Право это дано всякому живущему, а возможность живет в каждом из нас. Но надо завоевать право, чтобы осуществить возможность.

Мы счастливые люди: наша страна имеет все это. И разве не должны мы быть каждый миг готовы к тому, чтобы заплатить за наше счастье ценою крови, ценою жизни? А пока мы живем, надо творить.

●

Весь день сегодня прошатался по магазинам. Книг накупил! Не знаю, как я повезу их. Был в издательстве. Познакомили меня с Александром Прокофьевым и Корнеем Чуковским. Чуковский оказался очень милым и добрым человеком...

Среди книг, купленных сегодня, — «Дневник Анны Григорьевны Достоевской» (жены Достоевского). Очень интересный дневник. Сегодня буду его читать. Когда приеду в Мичуринск — дам тебе. Прочти...

Я понял (в который уже раз!), что я никому (решительно никому) не нужен. Сегодня это стало для меня ясно, как солнце. Но это вовсе не страшит и не гнетет меня. Я один. Но это еще вовсе не значит, что я одинок. Одиноким можно быть и в окружении родных, знакомых и товарищей. А я даже в одиночестве не хочу быть (и не буду!) одиноким.

У меня есть замыслы. У меня есть книги. У меня есть мама. У меня есть, наконец, возможность «забыться» — стихи!

А письма к тебе — разве это не утешение? Разве можно быть одиноким, когда знаешь, что о твоих делах, чувствах и мыслях знает дорогой тебе человек?!

То чрезмерное внимание ко мне, которое я узрел в издательстве и которое, мне кажется, я еще не заслужил, — это внимание убеждает меня в моей силе и заставляет верить в возможность осуществления лучших мечтаний моих. Если в меня верят и меня любят люди, которых знает вся Родина наша, то я не имею права сомневаться в смысле жизни. **Надо жить!** Надо жить хотя бы уже по одному тому, что нам **дана жизнь.** И мы будем жить!

●

На Сенной площади купил себе два новых больших мешка — для книг. Но когда я выложил сегодняшние покупки и окинул взглядом все, то меня взяло сомнение: уложатся ли все мои книги в эти два мешка.

А как я понесу их до трамвая?! Ну да ладно. «Утро вечера мудренее» — как говорит сказка.

Завтра с утра я отправляюсь в последний рейс по магазинам: за французскими книгами. Кроме того, надо обязательно купить что-нибудь о театре. Сегодня смотрел во всех магазинах «Отдел искусства», но о театре ничего дельного не нашел. Говорят, что здесь где-то есть специальный театральный магазин. Завтра постараюсь найти его и купить там все, что можно и нужно. Очень мне хочется найти «Платона Кречета» с режиссерскими комментариями. Если попадутся какие-нибудь другие пьесы, подходящие, постараюсь купить.

●

Вечером 10-го у В. Д. были гости — родной брат с женой и двоюродная сестра. В половине 11-го В. Д. вошел в кабинет, где я сидел, и попросил почитать ему что-нибудь на прощание. Я согласился. Тогда он спросил:

— А Мишу можно позвать? (Миша — это брат.)

— Можно.

— А может быть, ты всем нам прочтешь? Хорошо?

— Хорошо.

Он повел меня в столовую. Я прочел им два новых стихотворения и одно старое (мичуринское).

Без двух минут 11 я встал и сказал:

— Мне пора. — И вышел в прихожую. В. Д. и Люба вышли за мною.

Я простился с Любой и подошел к В. Д. И тут я почувствовал, как близок и дорог мне этот человек и как иногда трудно мне без него будет. Я крепко прижался к нему, мы обнялись, он целовал мое лицо, я его. Я разрыдался. Люба тоже расплакалась. А у него слезы катились бесшумно — чистые и крупные. Даже сейчас я не могу вспомнить равнодушно эту жуткую сцену. Прощание наше становилось тем тягостнее, чем дольше длилось. Наконец я оторвался от него и, кусая губы, взвалил на плечи мешок с книгами (один я отвез и сдал в камеру хранения еще вчера).

●

В нашем вагоне в соседнем купе ехал милиционер с двумя беспризорными. С одним из них, Леней Медведевым, я случайно познакомился. Ему лет 11—12. Он из Озерок. Убежал от отца. Когда-нибудь я расскажу тебе подробно его историю и мое знакомство с ним. Он очень любит ласку. Он прижался ко мне, как котенок, и всю дорогу не уходил от меня. Мы с ним о многом говорили. Он хочет быть летчиком. Он хитер, как и надлежит тому быть. Но в хитрости этой нет ничего ужасного и подлого. Быть может, он хитер ничуть не больше каждого из знакомых нам его одногодков.

Завтра я схожу в детдом и узнаю, там ли он еще или его увезли уже в Озерки. Если там — понесу ему гостинцев. Гостинцы он любит. Я угощал его дорогой пирожками, конфетами и апельсинами (по вагонам разносят на больших станциях).

С мешками пришлось помучиться. В Москве нанял носильщика. А в Мичуринск приехали (наш вагон самый последний) — никого нет на платформе. Я поволок два мешка сразу. Но это было неудобно и для меня, и для книг. Тогда я оставил один мешок на месте, а другой взвалил на плечо. Отнес шагов на 20—25, положил, сходил за вторым. И так несколько раз, пока вышел в город. Тут уже нашел санки и благополучно прибыл домой.

Первым делом прочитал все письма, какие пришли мне за время каникул: 25 писем. Потом газеты: «Мичуринскую», «Правду», «Крестьянскую». В номере за 9-е число прочитал твою заметку о Некрасове. Она мне очень понравилась.

●

И дружба, и любовь, и слава, и богатство, и молодость — все это преходящее, временное, переменчивое. Материнская любовь — самое постоянное из всех чувств и благ мира. То чувство — благородное, необъятное, невыразимое и крепкое — ни одним поэтом не воспето так, как оно заслуживает.

...Много раз задумывался я над странным, но, конечно, законным противоречием: родители, по существу, самые близкие нам люди, в жизни оказываются неред-

ко самыми далекими. И то, что мы без всякого стеснения рассказываем хорошему знакомому или товарищу, мы подчас не решимся рассказать родителям. Может быть, частично это происходит оттого, что мы все время живем с ними и слишком хорошо знаем их привычки, их пристрастия, их слабости и недостатки. И, кроме того, у детей **страшно** развито чувство противоречия: то, что запрещено, получает в их глазах двойную прелесть и притягательность. Противоречие это принимает весьма устойчивые формы. И можно рассматривать «нелюбовь» к родителям как реакцию на их чрезмерные заботы и ласки.

●

Владимир Дмитриевич как-то вечером сказал мне:

— Знаешь, Волчонок, если б я был писателем, я обязательно написал бы роман о детях...

Я его вполне понимаю. Взрослые привыкли смотреть на детей свысока, считая их неспособными ни к глубоким переживаниям, ни к серьезному мышлению. В одном из очень старых своих стихотворений «Откровенность» я писал:

Смотрят взрослые на нас с участьем,
Недоверье не стерев с лица:
«Разве могут настоящей страстью
Зажигаться у детей сердца?»

Милые! Попробуйте измерить
Наших чувств клокочущих порыв!
Вы привыкли книжной страсти верить,
Собственное детство позабыв.

Наших дней раскат гремящ и звонок,
Наши годы вашим не чета.
В нашем возрасте любой ребенок
Взросл, как говорят, не по летам...

Я считаю, что детские переживания так же глубоки и умозаключения так же серьезны, как и у взрослых. К тому же они свежи и чисты. И потому во много раз более привлекательны и интересны, чем переживания взрослых.

●

Ты задумывалась когда-нибудь, Тая, над тем, почему люди так много страдают? Что мешает каждому человеку жить спокойно и быть самим собою? Что за-

ставляет его подчас очень разъедающе в себе сомневаться? Я очень часто думаю об этом. Мне кажется, виною всему — сам человек. Объективная причина страданий — в неблагоустройстве и неуютности нашей жизни и в несогласованности желаний отдельных людей — несогласованности, отчасти проистекающей из того же неблагоустройства, отчасти же являющейся следствием самой человеческой природы... С несогласованностью человеческих желаний и стремлений тесно связано различие в понятиях и идеалах отдельных людей...

Такова простая (и очень неточная) схема объективных причин человеческих страданий. Субъективно же — главная причина своих страданий — сам человек. Дело в том, что мы очень плохо знаем жизнь и не стараемся узнать ее глубже, шире, лучше; мы очень плохо знаем себя, хотя и стараемся узнать себя как можно полнее и понять как можно точнее и правильнее. Но потому, что мы плохо знаем людей и жизнь, мы и самих себя познать не можем и, принимаясь распутывать свои чувствования, еще больше запутываем их и запутываемся в них сами. Сам процесс копания в собственных чувствах и «распутывания» их причиняет нам острую боль, которая приятна и сладка нам. Это напоминает то ощущение, которое испытываем мы, когда надавим пальцем на больной зуб: сладкая боль!

...Есть еще причина человеческих страданий, которую я не решаюсь отнести ни к объективным, ни к субъективным причинам: растерянность, неумение обрести самого себя, свой собственный облик, неумение найти свое место в жизни. Это очень сложная причина, которая была, есть и долгое время будет основным препятствием, стоящим на пути человека к своему счастью; неумение найти свое место и самого себя приводит к непониманию «счастья», о котором обычно человек говорит всю жизнь, повторяя это слово на все лады, и так-таки умирает, не поняв, зачем же он жил, чего хотел, искал, добивался?

Чтобы устранить это препятствие, нужно поставить перед собой три вопроса и дать на них самому себе ясные и честные ответы. Прежде всего нужно понять, для чего существует мир, для чего живут все люди, к чему стремятся все они вместе? Самое легкое, самое простое, самое общечеловеческое и, пожалуй, самое неверное решение этого вопроса таково: жизнь

уже одним существованием своим утверждает за собою смысл и цель. Отрицание жизни немыслимо, и потому немыслимо отрицание наличия смысла жизни... Не отрицать надо жизнь, а утверждать. Отрицать же можно и должно лишь отдельные стороны ее, но отрицать не во имя отрицания, а, отрицая, попытаться обновить и изменить то, что отрицаешь, и, если надо, уничтожить. Но и это абсолютное отрицание должно расчистить место для создания и утверждения принципов, прямо противоположных тем, которые мы отрицаем и разрушаем...

Это, повторяю, общее решение. Для каждой группы людей существует решение, может быть, менее легкое и гладкое, более спорное и противоречивое, но зато и более правильное. Каждый человек должен найти свое решение или выбрать из уже существующих решений то, которое наиболее родственно его взглядам и его положению в обществе.

Но для того чтобы спокойно жить и творить, мало найти одно это решение. Надо еще определить цель и смысл своей личной жизни. Когда этот вопрос будет разрешен, человек, порой даже незаметно для самого себя, начнет мучительные поиски своего места в жизни — такого места, занимая которое он имел бы больше возможности добиться поставленной цели и осуществить свои идеалы, то есть стать счастливым.

Дальше начинается самое вещественное и самое трудное: надо найти путь, по которому можно прийти к найденному месту, сохранив как можно больше сил и времени для осуществления своих идеалов, для достижения намеченной цели...

Вот и все, Тая, что хотел я тебе сегодня сказать. Все эти слова выстраданы мною, и не будет преувеличением, если я скажу, что они написаны «соком моих нервов и кровью моего сердца».

Завтра у меня трудный день — всякий мой выходной день для меня является самым рабочим днем.

●

Очень многие люди понимают свободу как неограниченное удовлетворение всех своих прихотей, капризов и желаний. Эта свобода лишь кажущаяся. Человек, пользующийся такой «свободой» (которая, кстати сказать, невозможна), по существу, находится в гнус-

нейшем и тягчайшем из всех рабств мира: он раб своих инстинктов, раб капризов души своей, раб самого себя.

Только тот, кто умеет согласовывать стремления своего сердца с голосом рассудка; только тот, кто живет и действует вполне сознательно, сочетая свои мысли, желания и цели с общечеловеческими; только тот, кто делает не то, что хочет, а то, что надо делать; только тот, кто умеет выходить из противоречий, в которые обычно вступает рассудок с влечениями сердца... — только тот истинно свободный человек, только тот не узнает ни легких радостей, ни сокрушительных скорбей. Через великую борьбу с самим собой, через горе и труд приходит к человеку великая Радость — радость Бытия. Только эта радость и существует, только она и светит нам...

Радости, доставшиеся нам без труда и борьбы, непрочные, легкие радости... не могут доставить нам вечного удовлетворения.

●

У магазина КОГИЗа встретил Гребенникова. Он проведал откуда-то, что я был во время каникул в Ленинграде. С обычной иронией спрашивает, почему я так упорно не желаю оказать ему чести своим приходом. Я обещал зайти завтра, хотя знал наперед, что обещание это почти наверняка так и останется обещанием, потому что завтра у меня не будет опять никакой возможности вырваться из комнаты.

Сегодня вечер тоже занят. Но я перенесу свою обычную прогулку с 5 часов на $7^1/_2$. И, таким образом, нисколько не нарушу своего плана, в котором, кстати сказать, ни одной минуты не отведено урокам.

●

Два часа дня. Очень много больших и хороших мыслей пришло в голову. Кое-что написал в «Заметки», кое-что осталось в голове — надо додумать... Пришел один студент. Принес рассказы свои — среди них один занимает целую тетрадь и представляет собой его подробную и очень интересную автобиографию. Он обещал зайти сегодня в 8 часов вечера за ответом. Я засмеялся и сказал ему, что их нужно читать дня два или три, а времени у меня очень мало. Раньше

27-го прочесть не смогу. Договорились: он зайдет 27-го. Я просмотрел один рассказ (автобиографию). Придется попросить ее у него: годится для будущих моих романов.

...Только что вернулся домой. В 10 часов пошел гулять. Зашел к Гребенникову. Читал ему новые стихи свои. Целых три часа разговаривали о моих стихах и обо мне. Гребенников предупредил меня об опасности наметившегося в последних моих стихах уклона в философию. Я во многом с ним не соглашался. Спорил горячо и дерзко. Он смеялся довольным смехом и, кажется, нарочно меня подзадоривал. Из всего этого разговора я не вынес ничего, кроме новой какой-то тяжести. Гребенников пригласил меня завтра в театр — приехала какая-то оперетта. Я злорадствую: «Ага! После того, как съездил в Ленинград, в театр стали приглашать с собою!..» Если будет свободное время — пойду.

●

Сейчас два с половиной часа дня. Только что возвратился из школы. Увидев на столе у себя письмо, очень обрадовался: думал, от тебя. Оказалось, от Владимира Дмитриевича. Сейчас буду ему отвечать.

Сегодня впервые ощутил я тоску по порядку: порядка в жизни моей никогда не было. Мне кажется, эта тоска — хороший признак. Это значит, что я начинаю ж и т ь, тогда как доныне я безумствовал. Это безумствование очень сложно. О нем можно писать только в стихах. Конечно, порядок, о котором я тоскую и который (я уверен в этом) скоро начнет водворяться в моей жизни, не будет похож на «порядок» в обычном, строгом понимании этого слова. Но все-таки он будет порядком.

Недосыпание переносится легче, чем вчера. Будем надеяться, что с каждым днем оно будет понемногу облегчаться и входить в круг моих привычек. Сейчас чувствуется какая-то умственная растерянность. Это, конечно, следствие бессонниц.

●

Все горести и волнения этих дней меркнут перед одной радостью: еще в Ленинграде, а потом здесь, читая книги, я убедился в том, что теперешний замысел

моего романа совершенно правилен. И что роман этот может быть очень нужным, если я сумею как следует (просто, ясно и умно) этот замысел разработать. Взгляды и идеи, которые я хочу вложить в свой роман, даже в некоторых мелочах совпали с воззрениями новейших политиков, литераторов и философов. На этот счет — когда я говорю о совпадении, то ты же понимаешь, что речь идет не о совпадении в форме (в словах), выражающей содержание, а в самом содержании. Сознание того, что я самостоятельно дошел до точного и верного понимания многих вопросов жизни человеческой, доставляет мне большое творческое удовлетворение и укрепляет веру в свои силы.

Вот почему то, что я сейчас переживаю, я с полным правом могу назвать страданием. Это **творческое** страдание — в отличие от легкого, но острого, пустого, но яркого мучительства — укрепляет душу человека и вовсе не исключает наличия глубокого и ясного оптимизма. В этом его сила, полнота и ценность. Происходит оно, как я уже тебе писал, не от сознания моей ненужности или моего ничтожества, нет, оно происходит, во-первых, от растерянности перед миром (я стою на перепутье и не знаю, по какой идти дороге), во-вторых же — от боязни того, что я не буду **понят** миром, что я не найду достаточно действенных и сильных слов, чтобы рассказать людям о том, как они живут, **почему** они так живут и **как надо** жить.

●

Описываю тебе последние сутки. Вчера лег в два часа ночи. Сегодня обыкновенный день. После уроков ребята сказали мне, что сегодня будет вечер и что не могу ли я прочесть свои стихи? Я пообещал прийти.

Вечер был не совсем обыкновенный: вечер встречи учащихся нашего класса с выпускниками первой школы, которые теперь учатся в вузах и втузах. Кроме того, были приглашены некоторые ученики 8-х и 9-х классов нашей и 50-й школы и несколько студентов вашего рабфака.

Вместо восьми началось в девять. Выступил Пещеров. Потом — студенты. Рассказывали о своей учебе и жизни. Все очень умные и очень милые ребята. После этого сделали перерыв. Начались танцы. Мне вдруг стало все противно до отвращения. Я проскочил через

зал и сел в самый угол к окну, так, что я всех видел, а меня не видел почти никто. Смотрю, подходит ко мне «распорядительница» вечера — Терехова — из нашего класса и говорит:

— Вася, сейчас тебе выступать!

И с места в карьер объявляет о моем выступлении. Я еще не знал, что я буду читать. Первое, что пришло в голову, были «Стихи о нас» (не в том виде, в каком у тебя, а исправленные и дополненные). Первую строфу:

Мы росли и новели... —

прочел бескровным голосом, хотя и громко. Но последняя строка этой строфы почему-то очень меня взволновала. Зал был тоже в напряженном ожидании. Все это вдохнуло в следующую строку силу и страсть. Зал всколыхнулся. А я весь — нервы! Кричал остальные строфы почти в беспамятстве. Прием был хороший. Пока они аплодировали, я соображал, что же читать дальше. Наконец выбрал: «Ленин». Это стихотворение было встречено еще лучше (когда я читал его, весь горел). Да! Читал я все это из своего угла, немножко выйдя на середину... Кончив читать, я снова сел в угол. Начались поздравления. Я не знал, куда деваться.

●

Просмотрел «Заметки» за последние два месяца. Много мыслей глубоких и верных. Они послужат мне фундаментом, на котором построю я свой образ. Я понял, что такой образ очень нужен. Я должен найти корни, которыми он уходит в прошлое; я должен найти соки, которые привели личность к разрушению; я должен разложить эти соки на их составные части и определить философскую, социальную и физическую природу каждой из этих частей. Сейчас я переживаю часы настоящего вдохновения. Поздравь меня, Таюша, родная, — я на верном пути!

●

Может быть, лет через 20—25 ты поймешь, какие дни и ночи переживаю я сейчас, какое значение имеют они для меня и для людей. А сейчас, конечно, никто

в меня не верит, да и не может, и не должен верить никто, потому что я ничего не сделал для людей хорошего. И дурного ничего не сделал.

Я и не хочу, чтобы в меня уверовали прежде, чем я заслужу того. Если есть три (только три! О тебе я не знаю ничего и потому не могу считать тебя верующей в меня) человека на всей земле, которые меня любят, почти боготворят и верят в меня безотказно и пламенно, то верят они по указанию сердец своих, я же тут ни при чем. И вера их, и любовь их часто служат великим утешением мне, но еще чаще — ужасным напоминанием о моем долге перед человечеством, долге, который я еще не в силах выполнить, и я прихожу в великий стыд при мысли о том, что может ведь статься так, что я не оправдаю надежд их.

●

Сегодняшний вечер и ночь заняты — нужно ответить на письма. Все остальное время отдам философии и психологии...

В школе отношения с ребятами и учителями, кажется, улучшаются с каждым днем. Радуюсь и беспокоюсь...

Времени свободного (в полном смысле этого слова) не имею ни минуты. Работая, думаю о том, где буду жить после десятилетки.

В связи с волнениями последних четырех дней я вновь осаждаюсь сомнениями в своих силах. Но, чувствуя, что эти сомнения временные и легкие, я стараюсь не дать им укрепиться и развиться, что удается мне сделать без особых усилий, тогда как раньше я или пасовал, или, наоборот, был чрезвычайно жестоким по отношению к себе.

●

Позавчера был я в своей школе на некрасовском вечере. Побыл минут пятнадцать и ушел: отчасти потому, что некогда, но больше всего потому, что, как всегда, я ужасно мучился своей некрасивостью. Когда эту черту заметил во мне Кошелев, он попытался было разуверить меня, но я его и слушать не стал. Некрасивость моя кажется мне уродством, и как она для меня горька — никто не знает!

Сегодня опять много хороших, порой глубоких мыслей, как общечеловеческого характера, так и касающихся моих замыслов.

●

Сегодня с утра — дурное предчувствие. В школе волновался. Но ответил. На пятом уроке, в предвкушении шестидневной свободы, был совсем весел. Много смеялся вместе со всеми.

Получил три письма. Одно прочитал сейчас. А два оставил к вечеру. У меня привычка дурацкая — мучить себя письмами. Но сегодня-то я не очень мучился, хотя письма оказались интересные. Читаю Цезаря по-латыни. Понимаю все.

●

Вчера начались у нас каникулы. У меня на столе горы книг, и в голове горы планов и мыслей. Книги надо прочитать. Мысли — записать и обработать. Планы — реализовать.

...Сегодня настроение особенно превосходное. Потому что сегодня мне впервые пришла в голову и основательно в ней засела (раньше она только мелькала) мысль о том, чтобы соединить все мои романы в одно целое. И «Россия», и «Партия», и «Женщина», и «Труд», и «Будущее», и «Ленин», и «Поэт», и все остальные романы, содержание (планы) которых я все время разрабатываю и обдумываю, — все это составит **одно целое.** Это будет панорама всего двадцатого века (до самого года моей смерти). Сегодня же я впервые столкнулся с мыслью о необходимости ввести в свои романы в качестве персонажей целый ряд исторических личностей, в том числе — образ Николая II, Гришки Распутина, Керенского, Троцкого и других.

Центральным ядром всего этого «Целого» будет, конечно, «Россия» — несколько томов (или несколько романов) о российском и о советском крестьянстве. Замысел «России» возник у меня в результате и в начале нашего знакомства. Я тебе об этом, кажется, писал.

Все «Целое» явится трудом всей моей жизни...

Удастся ли мне выполнить весь замысел — не знаю. Постараюсь. Главное — удачно начать. Начать я все-

таки думаю с «Поэта». Теперь я называю этот роман не «Поэтом», а «Стихотворцем». «Поэт» — это слишком высоко для той твари, которую я в этом романе изображу.

Замысел «Стихотворца» стал гораздо шире. Раньше я хотел просто развенчать в этом романе страдания и создать образ «профессионального страдальца». Потом я разобрал по косточкам своего персонажа главного и убедился, что он типичнейший мещанин. Теперь я ставлю перед собой задачу: воплотить мещанство в одном образе, главном (Семен Ч.), и в нескольких второстепенных (это уже разновидности мещан).

В том, что роман необходим, нет никакого сомнения. Ведь мещанин сидит в каждом из нас. А что такое мещанство — никто отчетливо не представляет, хотя каждый знает, что с мещанством надо бороться. Но во много раз труднее бороться с врагом слабым, которого плохо знаешь, чем с сильным врагом, которого знаешь хорошо. А мещанство — чрезвычайно сильный враг. И к тому же мы плохо его знаем. Мне думается, «Стихотворец» обязательно должен быть моим первым романом. В нем я не только разоблачу старые «прекрасные» и «высокие» чувства, но и возвеличу истинно прекрасное.

И еще: о русском народе плохое мнение создалось у «заграницы»... Русский народ за границей путают с русским мещанством и мещанством вообще.

В «Стихотворце» я покажу особенности русского мещанства, которое всего-навсего — болезнь в здоровом теле. Болезнь излечимая. Болезнь, которую уже излечивают. В «Стихотворце» же (в образах Рязанцева, Елены, Голубева, Студенецкого, Фенечки Стрелковой и др.) дам отдельные истинно русские черты, присущие русскому народу. Полно и глубоко черты и особенности русского народа, ведущего за собою все народы мира (и после этого они имеют наглость называть наш народ «ленивым», «косным», «диким»!), будут воплощены в последующих романах: особенное значение имеет в этом отношении трехтомный роман «Ленин», содержанию которого я посвятил как-то целое письмо не то тебе, не то еще кому-то из своих друзей (кажется, тебе). «Ленин» вообще занимает в моем «Целом» особое место, несмотря на то, что персонажи этого романа, в том числе и Ленин, будут участвовать и во всех остальных романах.

Почти такое же особое место занимает и «Женщина». В романе этом — не только образы страдалиц, но и такие образы, которых — знаю! — ждут не дождутся девушки и женщины наши.

Но это все в будущем. А сейчас только и есть у меня, что горячая голова, бессонные ночи, восторженный ужас и десятки мелко и лихорадочно исписанных листков: из этих листков через много лет родится мое «Целое».

На все эти дни — огромные планы. То, что намечено на каникулы, вряд ли можно выполнить. Но выполнить **нужно**. И выполню.

●

Тебе уже известно, что я сейчас собираю биографии живых людей. Из отдельных черточек этих биографий составятся жизни моих будущих персонажей. Я прошу тебя, если у тебя есть возможность и желание помочь мне в этом, на первый случай запиши хотя бы биографии своих родных и близких. Мне кажется, будто я писал тебе уже об этом. Но это, должно быть, только кажется. Буду очень тебе благодарен, если ты выполнишь эту мою просьбу. Но это, конечно, не спешно. А тогда, когда будет у тебя время и охота. Такие просьбы я частью послал, а частью пошлю всем своим друзьям и знакомым. Если каждый из них пришлет мне хотя бы по одной биографии, это будет для меня очень хорошо, замечательно даже.

Вчера первый день занятий. Настроение у всех веселое, весеннее. У меня — тоже. Я очень резко ощутил вчера свою близость к ребятам, понял, как нужны они мне и как я нужен им.

Вчера вечером (до самой ночи) писал стихи о весне и о дружбе. Писал на французском языке. Не переводил с русского на французский, а прямо на французском писал. Это третий такой опыт. Вышло, кажется, лучше, чем в первые два. И главное — непосредственнее. Очень рад. Посылаю их сегодня двум своим друзьям, которые знают французский язык и которым я не отдельные фразы, а все письма буду по-французски писать. По-немецки я иногда пишу двум из друзей своих.

●

Завтра выходной. Сегодня вечером я позволил себе роскошь — читал песни Беранже. Что это за прелесть! На русском языке они звучат обыденно и както сухо, искусственно в общем. Совсем не то что в подлиннике. Песни эти я достал позавчера у одного нового своего знакомца. У него целая библиотека на французском. Я буду брать теперь у него каждый день по одной книге. Я так рад, Тая, так рад! Свои книжки французские уже прочитал, а больше не знал, где брать. И теперь это для меня целый клад!

Сейчас очень долго сижу — почти до утра, до изнеможения. Прямо-таки мучаю себя. Как сон начнет одолевать — холодной водою голову мочу, и опять ничего.

Очень много мыслей. Строк четыреста в день записываю в своих заметках. И, как всегда в таких случаях, чувствую хороший подъем.

Как хочется мне рассказать тебе о том, чем занят я сейчас, чем живу, чем дышу. Но что-то мешает мне быть по-прежнему до конца откровенным с тобою. Как будто какая-то стена стала между нами. И досаднее всего то, что никакой стены-то нет: что мы сами создали, выдумали ее.

●

Утро было хорошее. Я купил много-много подснежников и поставил их у себя на столе. Потом выставил раму своего окна. В комнате стало много просторней и легче.

Подснежники, газеты и карман — три эти силы располагают меня к стихам. Чтобы тебе не пришлось гадать — объясню, что значат эти силы. Подснежники — это понятно. Газеты — ну, это тоже понятно: я слежу за международной политикой (да, да, не улыбайся: твой пиит ударился в политику, и не просто в политику, а в меж-ду-на-род-ну-ю!) и пишу (верней, учусь писать) политические стихи, пробую создать новый вид лирики — публицистическую лирику. А карман — это значит, что у меня сейчас плоховато с ресурсами, а деньги нужны.

Лирические побрякушки, слабенькие пустышки надоели. Хочется больших, сильных, широких стихов. Ког-

да я пытаюсь представить эти стихи в одном образе, первое, что мне приходит, — это большекрылый орел, прекрасный гордой мощью своей, земной и все же недосягаемой...

Хочется писать настоящее, нужное, пламенное. Для людей, для газеты, для выступлений. Возврат от философии к живой жизни, в мир трудной и хитрой повседневности беспокоен и успокоителен.

●

Если кончу 10-й класс — буду учиться в Воронежском сельскохозяйственном институте. Если не кончу — поеду в деревню. Пока учителем. Не писать, а жить. Полной грудью. Ненасытно, с ошибками.

Сейчас откуда-то (впервые) появилась жадность к географии и естествознанию. Набрал в библиотеках кипу книг. Читаю до изнеможения. Так хорошо, так хорошо! И о растениях СССР, и о происхождении вселенной, и о наследственности, и о происхождении человека, и о туркменах, и о путешествиях Нансена, и о землетрясениях — обо всем, обо всем хочется знать. От философских отвлеченностей — к живому, от живого к разумно-живому — к науке.

●

У Гребенникова я пробыл до $5^1/_2$ часов вечера. Он сказал, что у меня блестящее будущее (наверное, в письмах об этом писать не полагается, и уж, наверное, я пишу тебе, чтобы похвалиться). Мы говорили обо мне. Я рассказал ему о своих сомнениях и колебаниях. Он не стал ругать меня, а только удивился, что это началось во мне так рано. Мне с ним всегда спокойно. Он огромный, живой и умный. Мне он кажется похожим на сердце. Он — большевик. Он сказал мне, что я должен написать роман о Человеке (так и назвать «Человек») — показать путь человека, его ошибки, его боли, его победы, он не лишен и слабостей, но эти слабости лишь оземняют (мое слово, оно значит: делают более земным) его. Я сказал ему, что сейчас написать этого не могу, потому что ничего не видел и ничего не знаю, а в будущем, если такой роман будет нужен, напишу.

●

Прожито семнадцать лет и ничего не сделано, кроме нескольких глупостей. Трудом, кровью, болью можно и надо смыть этот стыд с души моей, еще совсем юной и неискушенной.

Я не знаю ничего, может быть, даже меньше, чем ничего, по сравнению с тем, что я могу и что я должен знать. И что ж такого, что все знать нельзя. Сладко не знать, а узнавать. Ведь и всякая пища сохраняет свой вкус только у нас во рту. Проглоченная, она его теряет, и даже самой ее мы уже не чувствуем — она растворяется в нас, становится нами.

Разве не стоит отдать жизнь на то, чтобы узнавать. Стоит, конечно, стоит.

Пусть даже я никогда не научусь писать хорошие книги — не беда! У меня остается жизнь, которая, как бы ни была она мала и как бы ни казалась бедна, всегда сильнее книг, потому что она вечна и сверкающа, а книги — только слабые и краткие отблески ее.

Я хочу накрепко войти в людей, чтобы еще больше полюбить их и научиться у них мудрости жизни. Как бы ни казались нам ничтожными люди («толпа»!) — они всегда выше и больше даже самого великого человека: они питают его, и он живет для них; в них и для них — всякая мудрость, всякая красота, всякая правда; в них — сила и бессмертие; они — соль земли.

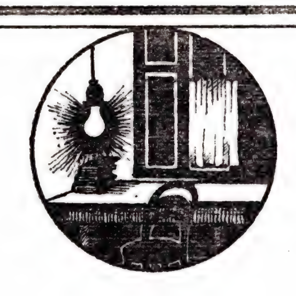
И вот меня всего занимает вопрос: с чем я иду к ним? И зачем?

Зачем? Чтобы жить, учиться жизни и, учась, учить.

Но чему же учить? Что ты знаешь?

А идти в людей, чтобы только брать, — нельзя.

Берет только дающий...



«СВОЕ ИСТОЛКОВАНЬЕ БЫТИЯ...»

Стихи и письма 1938—1939 гг.

Летом 1938 года Василий выдержал на «отлично» экзамены за среднюю школу. Из предложенных для сочинения тем он выбрал творчество Владимира Маяковского. Размашистым почерком набрасывает строку за строкой.

Слава — призрак,
слава — помеха,
Слава — пустая красивая грусть,
Но если разносятся щепки
от смеха,
Но если учат стихи наизусть,
И если рабочие,
как пословицей,
Кроют мерзавцев
его строфой,
Этим не имя его славословится,
Этим он сам остается живой.

Стихи о Маяковском не были случайными для молодого поэта. Он не только горячо любил его, но стремился подражать ему, походить на него хотя бы немного и в творчестве и в жизни.

После окончания школы брат принял решение стать журналистом, ибо эта профессия открывала перед ним широкие возможности для активного вторжения в действительность, для самообучения и самовоспитания. Вернувшись в Острогожск, где прошло детство, он поступил сотрудником в редакцию районной газеты «Новая жизнь». Здесь хорошо знали его корреспонденции еще с восьмого класса.

Возвращение нашей семьи в Острогожск было ускорено неожиданным уходом отца из семьи. Ни о каких планах на учебу в вузе не могло быть и речи. Старшему в семье пришлось взять на себя заботу о маме и обо мне. На Лушниковке (так называется пригород в Острогожске) сняли частную квартиру — комнату с крохотной кухней в мазанке под камышовой крышей.

К шести часам утра уходила на завод мама. В семь спешил по редакционным делам брат. Часто среди дня он появлялся в нашем третьем «А»: то выпускал с нами стенгазету, то читал книги, то приходил на уроки со студентами педучилища. Мы тоже стали относиться к урокам как к делу интересному, радостному. Разве можно что-то не выучить, к чему-то отнестись безучастно? Брат словно требовал: учись, не подводи, хотя в уроках мне никогда не помогал. Да у меня и мысли такой не возникало, так как, возвращаясь из редакции вечером, он работал допоздна, завесив одеялом дверь в кухню.

Мы с мамой старались не отвлекать его заботами по хозяйству и разговорами. И никто из нас не знал, как в эти дни ему было трудно. Началась сложная самостоятельная жизнь, работа.

Брат быстро овладевает профессией газетчика, вырабатывает свой собственный творческий почерк. Его информации, зарисовки, очерки, стихи, фельетоны, статьи, даже если вместо обычного «Вас. Кубанев» под ними значилось «Н. Воропаев», «Ф. Гвоздев», острогожцы узнавали по своеобразию стиля, образности языка, по злободневности темы.

По-прежнему из Ленинграда приходили письма, бандероли с книгами от Владимира Дмитриевича Кошелева.

О том, что волновало самого молодого сотрудника острогожской газеты, как он готовился к осуществлению своих юношеских замыслов, как постигал секреты литературного мастерства, дают представление письма той, которой он «довериться мог без утайки».

Дружба с Верой Клишиной началась еще в восьмом классе в Острогожске. По окончании десятилетки Вера поступила в Ленинградский химико-технологический институт. Узнав о том, что мы из Мичуринска снова переехали в Острогожск, она написала брату письмо и рассказала о большом своем горе: у нее умерли родители, она осталась на попечении старших сестер. Вася принял

ее беду как собственную, и свои огорчения показались ему не такими уж сокрушительными. Дружба, возобновленная в переписке, крепла; он отдавал ей много душевных сил, нежности. Василий, вступивший в круг новых, взрослых забот, каждой строкой своей стремился ободрить Веру, научить ее нелегкой внутренней работе — «делать себя», делился с ней всем самым дорогим для него.

Помимо стихов, дневников и писем, в Ленинград приходили книги и «просто советы», изложенные то афористично коротко, то на нескольких листах: «Как читать газеты», «Верин режим дня», «Как работать над книгой», «Список ста лучших книг о человеке».

В летние каникулы, когда Вера приезжала в Острогожск, они вместе пешком отправлялись в село Полубянку, где жила семья Клишиных. И Вася каждый день после работы убегал туда, чтобы несколько часов побыть с Верой, поиграть с ее младшими — сестренкой Любой и братом Леней. Близнецов, он называл их одним именем Люблёня, забавлял шутками, стихами. В эти дни он работал особенно вдохновенно.

И после августа в Ленинград по-прежнему часто, почти ежедневно, шли письма со стихами, с планами на будущее, с просьбами разыскать нужные книги и новыми советами.

Только после войны, направляясь на место работы, привезла Вера Клишина в Острогожск сестрам Надежде Петровне и Елизавете Петровне свой студенческий чемодан, в котором хранились письма, дневники, стихи Кубанева.

Письма были зашиты в парусину, и сестры не решались их трогать, догадываясь, что это Васина память, что Вере и самой больно к ним прикасаться. К сожалению, это была лишь часть рукописей, хранившихся у В. Клишиной. Во время эвакуации был утерян целый чемодан писем.

Через несколько лет, когда вышла в Воронеже посмертно первая книжка стихов в голубенькой обложке с поэтическим названием «Перед восходом» и воскрешено было имя Василия Кубанева, составитель ее Б. И. Стукалин разыскал в Москве Веру Петровну Клишину. От сестер он узнал, что она бережно хранит многое из того, что поведал ей друг юности.

Из стихов и писем, переданных Верой Петровной в дружеские руки, складывается повесть о большой юно-

шеской любви, о беспокойном, нежном и пламенном характере молодого поэта.

Вряд ли можно оставаться равнодушным к строкам, где чистое и благородное чувство любви переплетается с высокими мыслями о назначении человека: «Я не знаю, подружка моя, как назвать это чувство, которое я испытываю к тебе, которое заполняет всю мою жизнь и с каждым днем все гуще и стремительнее. Любовь? Нет. Дружба? Нет. Обожание? Нет. Ни одно из этих чувств. Вернее, все три вместе да еще чем-то четвертым соединенные и в чем-то пятом кипящие. Но как же, как же назвать все это одним словом? Не знаю. Да и надобно ли это?»

И в том же потоке размышлений:

«Человек живет для будущего. Это надо помнить всегда, если хочешь быть человеком».

Кому это адресовано? Только Вере?

«Ты не должна оставаться безучастной к бедам и скорбям человечества, если даже все близкие твои к ним безучастны».

Нет, это и для себя, и для всех ровесников.

Бедами и скорбями человечества Вася считал события в Испании, потом порабощение фашистами Европы.

Как в оптическом фокусе, в письмах к Вере собрано все, что пытался утвердить в себе восемнадцатилетний юноша.

«Чувствовать свой рост, свой бег, чувствовать ветер времени», «быть самим собой», «помнить только хорошее», «жить для мира, для людей, украшать мир благородными делами» — этими мыслями, отлитыми в афористические или поэтические строки, пронизаны все письма, все стихи, все поступки Кубанева.

ПОЭЗИЯ

Как трогательно стар и старомоден
Твой издавна оттиснутый ярлык!
Тебе ли звякать лирною струною!
Тобой, как океаном, лик умою,
Тобой пройду, как пустошью кривою,
Тобой пленюсь не в качестве игры.
Ты приговором траурным грохочешь,
Ты матерью изводишься над всем,

Внимаешь тьму и льешь сквозь
темень ночи
Неумолимый, беспрестанный свет,
Невидимый и беспощадный свет.
Все, что в тебе, как в омут, оседало,
Осев — не умертвится, не уснет,
А сделается общим арсеналом,
В котором всякий всякое возьмет,
Когда сумеет взять — всегда возьмет.
И все столетья запросто и часто,
Как только можно запросто и часто,
К твоим источникам, к твоим устам
Все будут проникать и приобщаться,
От самоизнурения устав.

1938

●

Движенья сокровенная причина,
И смысл, и цель, и сила — в нем самом.
Но в чем само движенье? В веществе,
В неукротимой перемене форм.
И ты — не самоценность и не феникс,
А плод и форма этого движенья.
Но как ни мудрствуй ты и как ни тужься,
Ты из себя без плоти не создашь
Ни солнца, ни подсолнуха,
Удел твой — познавать и изменять
Живую плоть посредством той же плоти.
Лишь в этом каторжном, святом труде
Себя ты можешь изменять и знать.

1938

ВРЕМЯ

Жить и жить, не слезясь
в мировеющий космос.
Чем он лучше тех кузниц,
что рядом стучат,
Тех домов, что огнятся
так скромно и поздно,
Тех костров, что дымят
в разноцветных ночах?

Жить — пока не задушит, пока не раздавит,
Жить — и это не выхитр, не выход, а ход.
Пусть же вечностью меряется мирозданье.
А для нас единица движения — год.
Как ее увеличить, оставив такой же?
Как двоенья избечь, одинокость избыть?
Как с словесностью разом, без крови, покончить?
Как пройти через стены старинной избы?
Как увидеть без краски и без одеянья
Существующих сущностей существо?
Как на деле действительным сделать деянье?
Как достичь и постигнуть себя самого?
Ничего не понять без движенья, но как же
Влить себя в этот вихрь, лед роднящий с огнем?
Кто задание даст мне, кто путь
мне покажет?
Кто не даст мне ненужно расплавиться в нем?
Кто возьмет перемены в хорошие руки?
Я расту. Обиход мой давно устарел.
Очень близкие, очень далекие звуки
Умирают и бредят на свежем столе:
Деньги, зеркало, блюдце с водою и просо.
Каждый день, каждый день
для меня коляда.
Я сижу. Надо мною сердито и просто
Неживою листвой шелестит календарь.

1939

ЛЕНИНГРАД

Сперва сквозь езду, сквозь окно, сквозь сон
Несся сосен черный сонм,
Столбы застылые по струнам расселись,
И сеялся на землю снег, каруселясь.
Потом заметались в сыром окне
Хитрые, желтые мухи огней.
И поезд, завидев дом — вокзал,
Стрелками стрекотал, тормоза терзал.
Каплями копилась толпа на доска́х.
Узлы тяжелились неудобные, как тоска.
К проходу хлынули капли ливнем.
Был путь этот больше дорожного длинен
К часам, к дверям, огромным и рыжим,

К звону, к снегу, к небу, к крышам!
Выплыли. Нет, не выплыли — вплыли.
Пыли нету, но — не продохнёшь от пыли.
Пыль веков. Живая. Глазей.
Каждый камень — редкость, каждый угол — музей.
И, пыли не видя, каждый из толпы
Думает: «Не я ли эта пыль?»

1939

ПАМЯТНИК

Он стоит
              как центр,
                            как узел
Всех окружных
                     струн
                    и спешек.

Он несется —
                 горд
                     и грузен,
Он своим недвижьем
                            взбешен.
Он ни жив
              ни мертв от топа,
Что кругом
              так четко
                          льется.

Он внизу
            кишащим
                       толпам
Чуть игриво
               признается
В том,
        что он
                 отец их
                          качеств,
Их сомнений,
                 их попыток.
День сверкает,
                 всадник скачет,

Мальчик
трогает копыто.

1939

ПАРТИЯ БОЛЬШЕВИКОВ

XVIII съезду ВКП(б)

Вой вокруг
вскипает,
пенен и неистов:
«У советских
принудительна
симпатия!
У советских
партия коммунистов —
Единственная
государственная
партия!
То ли дело мы —
европейцы,
То ли дело
в Европе
у нас:
Дюжины
всяческих партий
имеются,
И во всякую
всякий входчив
класс...»
Что ответить
этим сэрам,
чем
их нам почтить?
Слушайте,
за сколько грошиков
вас наняли?
Мы имели партий
столько ж,
сколько вы
почти,
Но они
лишь путались в ногах
и нам мешали.

На мгновение
им жизнь
была дана.

Их снесли события
в глубь веков.
Партией бессмертною
осталася
одна —
Ленинская
партия большевиков.
Ею было все
открыто
и намечено,
Ею время
было сдвинуто
с своих основ,
Ею делалось
степенно
и навечно
То,
что раньше
мнилось
дивным сном.
Шел народ в нее,
как в светлое грядущее,
Шел на битвы,
ею
движим и ведом.
А другие партии,
с бочков идущие,
Нас
подпаивали ложью,
как вином,
Нас иконами
размазывали,
обливали патокой,
Сделать думали из нас
не строй,
а буйную гурьбу,
Чтоб в корысти
до чужого падкой,
Вынестись вперед
на трудовом горбу.

Сеять
панику и слабость
они начали,
когда
Над страной
войны
летела копоть.
Оказалось —
это просто
дикие стада,
Нам готовившие рабство
и творившие подкопы.
Шальные,
беспутные,
питаемые
Сывороткой
заграничных касс,
Они торговали
нашими тайнами,
На нас клеветали,
боялись нас.
Они таились
в вонючих норах,
Привычные
к самому страшному
злу.
Они
под нас
подсыпали порох,
Не смея
сказать свои помыслы
вслух.
Высунься
такой
певун грязноротый.
Нá люди
с речью открытою
вдруг —
Он был бы
повешен
на первых воротах
Сотней
взъяренных и чистых
рук.

Они
предавали
и продавали,
Клялись,
слезились,
нас в пропасть вели,
Кровных наших сынов
убивали.
Мы их отыскали,
раскрыли,
смели.
Если б не они —
победа б
принеслась
К нам скорей,
прямей
и более легко.
Нам дала свободу,
силу,
свет
и власть
Ленинская
партия большевиков.
Мы пробились
с ней
сквозь дебри жарких лет,
Подымаясь
все устойчивей
и выше.
Наша партия
на нашей земле
Нашей судьбой
движет
и дышит.
Народ
одной душою
живет.
И партия народная
одна
у власти.
Она — не отдельно,
она — народ.
Она — это мы
в своей
лучшей части.

Пусть же нынче
ей,
на жизнь нам право давшей,
В сердце Родины,
собравшейся на съезд,
Наши победы
и жизни наши
Будут
докладами с мест.
Партия с нами —
победа с нами.
Партию бережем,
партию славим.
1939

Я ЗАБОЛЕЛ

Болезней
поэту
бессмысленно бояться,
От болезней
поэту
никуда не деться.
Поэт обязан
всю жизнь воспаляться,
Болеть воспалением
воли и сердца.
Но эти болезни
не валят в постель.
А гонят
в земную
кипящую стужу,
Несут
из комнаток-крепостей
Прямо наружу.
И мечется поэт
в густо́тах этих
И рвется
сквозь время
к времен основе,
Пока шальной и дюжий ветер
Его не пронзит,
не сомнет,
не разломит.

Тогда
поднимается воротник,
Тогда
порошки покупаются
белые.
Становится чуточку лучше
от них,
И снова поэт
суетится и бегает.
И жгут дуновения
жестче огня,
Но он
сдаваться не хочет
без боя...
Вот так
схватила хвороба
меня
За самое горло
перед самой весною.
Я слег в подушки,
горел,
молчал.
И чувствовал
(это не часто бывает!),
Как время
идет
из каких-то начал,
Течет сквозь меня
и меня размывает.
Окошко стыло,
искренне синее,
Недоступной близостью
до слез дразня.
Под этим воздухом,
за этим инеем
Работают
здоровые
мои друзья.
В городе одном
их обитает двое.
Один —
годами сгорбленный,
но юный вполне,
Переживающий
все живое,

Себя
пересматривающий
по мне.
Я для него
не просто я,
А жадный наследник
и сколок с тысячи.
Он — нежен и грозен,
отходчив и яр,
Он кем-то
из вод закристаленных
высечен.
Он неповоротлив,
но не от ленивости,
А от перегруза
и величины.
В нем слито
дряхленье
с сияньем невинности.
В нем страсти
в борение
вовлечены...
...И тут же, где-то
рядом,
вторая.
Нет, самая
первая
и дорогая.
Ее еще нет.
Она вся
еще в поисках
И жжет
себя ненавистью
сгоряча.
Так мать,
почуявши рези
у пояса,
Клянет новорожденного,
тихо крича...
И, может, затем,
что она
не явилась
И все еще бродит
в сверкающей мгле,

Земля
еще родственней
мне полюбилась
За то,
что она
уже есть
на земле.
Она прорывает
огромные версты,
Подходит
к постели моей больной,
Садится на стул
по-домашнему просто
И долго-долго
молчит со мной.
Я руки свои —
побледневшие,
снявшие —
Кладу
в тончайшие пальцы
ее.
«Вера, рассказывай!
Вера,
спрашивай!
Как протекает
житье твое?
А я —
вот видишь —
немножко сломался.
Боюсь,
безделье
в привычку вгнéздить.
Массы работают.
Работы — масса.
Надо звонить,
докладывать,
ездить.
Только теперь
прояснело мне:
это
Широкому сердцу
стены ýзки.
Ты читала
сегодня
газету?

Париж
еще французский?
Столько
нужно
стихов написать!
Болеть —
всего страшней
и бесполезней.
Ну, кто просил
надо мной
нависать
Эти темнющие
болезни!
Спасибо, Вера.
Я устал.
Ты придешь
еще
ко мне
или нет?
Я совсем
невыносимым стал.
Извини.
Знаю:
это
бред...»
Это бред,
но мне
и вздраве
верится
В твой приход,
вносящий
силу
и покой.
Ты далеко.
Но куда
пространству
мериться
С нашей молодостью,
огневой такой.
Стынут стены.
Я в стенах пылаю.
Пусть
густятся смерти
надо мною
тучею!

Ты моя единственная,
моя былая,
Настоящая
и
грядущая!..

1939

ТЕ ДНИ

Теперь те дни прочитанными мнятся,
Просмотренными немо, как во сне,
А ведь когда-то им пришлось промчаться
Через меня, во мне оставив след.
. . . .
Я обитал на самой задней парте,
От синевы и скуки угорев,
Едва ловя обрывки рек и партий,
Законов, терминов и теорем.
Она сидела впереди и в классе
Одной из первых шла из года в год.
А я предпочитал по полкам лазить
И наблюдать времен причудный ход,
Писать на дневнике стихи, чудесить
И, всяческую норму утеряв,
Высвистывать среди уроков песни,
Дерзить семейству и учителям.
И грустность как-то уживаться смела
С пытающимся прихвастнуть умом,
С презрением ко всем и всяким мерам,
С петляньем мелочным в себе самом,
Со сменою сомненья и довольства,
С подслушиваньем слухов городских,
С мгновенным роспуском и сбором войска
Словес, одетых в лохмоты тоски,
С вывертыванием из подозрений,
С охаиваньем мира огулом,
С разгульем то горячности, то лени,
Подсиживающихся за углом.

И все это венчала убежденность
В предназначеньи для великих дел
И вера в неизбывную бездонность,
Мне данную природою в удел.
. . . .

Так что ж, вертлявиться и мне в гуляньях?
Фокстротами разматываться вдрызг,
И завираться, и, на плечи глядя,
Их обдавать дождем цветистых брызг?
Приличья не осмелившись нарушить,
Ярмо постылое безмолвно несть,
Все вытряхнув, все вывернув наружу,
Все приспособив для того, чтоб есть?..
Нет, нет, пусть этой старой страстью пышет
Тот, кто ее не в силах одолеть.
Я — как и все, но я хочу быть выше,
Взвыть над собой, как праведная плеть,
Ни шагу не ступить без совещанья,
Без рассуждения с собой самим.
Нет человека — задружить с вещами,
В их хоровод свою судьбу завив.

. . . .

Нет, где б я ни был и каким бы ни был,
Сентиментальности не допущу.
Сотру долгов искусственную нарезь,
Но и в другую крайность не впаду:
В похабное разгулье не ударюсь
И к первой встреченной не подойду.
Не дам в мольбе утихомирить руки,
Не разрешу буянничать зазря...
Как проберутся к двери моей други
По непроглядности без фонаря?

1939

●

...О, сколько их! Мне не узнать фамилий,
А то бы я сказал всю правду им.
Они во мне всегда, всегда в помине,
Я к ним стремлюсь всем существом своим.
Я вы́знаю у жизни все секреты
И лучшие слова пособеру,
Чтоб, кровью неуёмной разогреты,
Они придали пламенность перу.

И выйдет книга, шелестом сверкая,
И разлетится в разные края,

И пролепечет разными века́ми
То, что у лампы перемыслил я.
Внушительнее золотых тиснений,

Весомей испещренных кистью кож
В той книге будет истина, и с нею
Мой малый дух вовсюду будет вхож.
Завороженные не красным видом,
А живизною неподвижных букв,
Ее на полку пыльную не вдвинут,
Ее как толкователь бед и мук
В карман засунут, чтобы не расстаться,
Чтоб ею выверять режим.
Она, как лексикон для иностранца,
Ключом послужит к качествам чужим,
И собственных привычек наслоенья
Представит вновь, усердно разобрав.
И вспыхнет спор, остер и надоедлив,
О правильности правил, правд и прав...
Из битвы дух возникнет возмужалым,
Стесняющимся всех и вся лягать,
Остерегающимся клятв и жалоб,
Отвыкнувшим перед собою лгать,
Уразумевшим не приличья ради,
А по велению из-подо дна,
Что, даже подчиняемая правде,
Ложь — это ложь,
                и правде враг она...

1939

●

Нет, ты не можешь
                так бесчинствовать!
Пусть в чем угодно
                разуверюсь,
Но ты —
        неизменимо чистая,
А я —
      что ж я?
            Я просто ересь,
Которую палили
            заживо,

По косточкам
перемывали,
Которой
все лицо выкашивали
И отрекаться заставляли
От губ,
от воплей
недозволенных,
От света,
бьющего сквозь очи,
От рук,
к пустым высотам
взмоленных,
От сердца,
сжатого в комочек.
И — поделом:
не ной торжественно,
Не измывайся
над обычным,
Не хвастайся
своими жестами,
Как самой
редкостной
добычей,
Не нарушай
пристойность общую,

Не выставляйся
горлопаня...
На что вы,
руки мои,
ропщете?
На что ты жалобишься,
память?

1939

ДРУГ

Я значительно меньше тебя,
Я, как в море, вручьяюсь в тебя.
Но не брезгуй водиться со мной,
Не спеши разлучаться со мной.
Поднимай своим взглядом меня,

Освещай своим сердцем меня —
Хоть за то, что я меньше тебя.
Я значительно меньше тебя.

Мне не нужно себя без тебя.
Без тебя — все равно без себя.
Я хочу, чтоб берег ты себя,
Чтоб меня ты любил для себя
И держался ровнею со мной,
Если можно — то только со мной.
Я люблю тебя, мученик мой,
Мой мучитель. Скажи, что ты мой,
Береги и бери ты меня,
И своим называй ты меня
Хоть за то, что я меньше тебя.
Я значительно меньше тебя.

1939

●

Клянусь
            не снизиться, не снизойти,
Не сникнуть до того, что перебыто,
А коль услышишь ты, что я затих,
Что в чувствах обнаружился убыток,
Что мною верховодит сытый страх —
Приди ко мне, собой меня обрадуй,
Открой мне просто, — как больным сестра
Окошки отворяет, — правду, правду.
И я опять восстану и опять
Попробую промчаться по просторам,
Мне станет благостно, и я опять
От рук твоих, от возгласа простого,
Наверное, всесилье обрету.
Приди ко мне, мой свет животворящий,
Мой друг живой.
                        И я к тебе приду,
Когда под ношею своей палящей
Ты станешь слабнуть.
                                Нет,
                                    с тобой всегда,
Не разлучаясь ни на полмгновенья,

Я буду быть.
Твой кличущий сигнал
Лишь сделает заметней и новее
Присутствие моих невнятных слов
И неуклюжих ласк.
Мы будем вместе.

1939

В ДНИ РАЗЛУКИ

Исходи весь город
Поперек и вдоль —
Не умолкнет сердце,
Не утихнет боль.

В чьих-то узких окнах
Стынет звон и свет,
А со мною рядом
Больше друга нет.

Сколько не досказано
Самых нежных слов!
Сколько не досмотрено
Самых нужных снов!

Если б сил хватило,
Можно закричать:
На конверте белом
Черная печать.

И знакомый почерк
Поперек и вдоль.
Чем письмо короче,
Тем длиннее боль.

В дни разлуки дальней
Письменная весть —
Самое большое
Из всего, что есть.

1939

ИЗ ПИСЕМ И ДНЕВНИКОВ

(1938—1939)

●

Жить — это значит прежде всего скрежетать зубами от боли и тьмы. В жизни еще крепко держится глупость и ложь. Она калечит людей, эта мерзкая глупость. Но приходит глупость, приводит боль, боль уходит, остается мудрость. А тьма? Что ж, темно бывает не потому, что солнце гаснет, но потому, что тучи или горы закрывают его. Тучи уйдут — ведь тучи, как и все, рождены солнцем. Уйдут тучи, и станет ярко, радостно. Завтра будет утро, Вера!

●

Я пришел к твердому принципу, который единственно (для меня) спасителен: «Действуй!» Как действовать? Я не знал. Но я это нашел позавчера.

Я теперь решил круто изменить линию своего поведения в редакции. Последние дни в особенности, а вообще — всегда, я был хохотун, остряк, шалун и бездельник невыносимый. Прямая противоположность такому, каким меня знали. Может, помнишь спектакль с «Императором» в восьмом классе? Вот таким, только больше и умнее, стал я теперь — беспричинно веселым насмешником и мальчишкой. Вся редакция меня любит. Но что мне из этого? Теперь мальчишество мое я решил допускать лишь тогда, когда нельзя не допустить. В остальное время — безжалостно смирять себя.

Вчера я подал редактору список тем; на эти темы я буду писать очерки по 150—180 строк. В следующем письме я расскажу тебе о самых интересных из них.

Совещание, на котором мой список обсуждался в числе планов других отделов, все темы горячо одобрило. Ой, Вера, боюсь, что я выполнить этого не смогу. Вот будет стыдно! Все обещали помогать мне в разыскивании нужных людей и вообще так человечно отнеслись к моей затее, что я со своей проклятой чувствительностью был растроган до самой глуби сердца. Постараюсь не подкачать. Как будет идти дело — сообщу тебе.

Сегодня у нас открывается районная сельскохозяйственная выставка. В 12 часов дня. Сейчас утро. 10 часов. В 12 пойду туда. Мне нужно писать отчет о выставке. Хочется, безумно хочется что-то делать, делать, делать! Это прекрасное чувство, новое для меня, и я ему рад бесконечно.

●

Ты пишешь о моем будущем. Ничто не страшит меня так, как оно. Быть «учителем жизни», знать, что по твоему слову будут **жить** тысячи людей (а вдруг это «слово» — ошибка?), что от твоей мысли, от тебя зависит течение тысяч и сотен тысяч человеческих жизней — завидный и ужасный удел. И для меня совершенно безразлично сейчас — доберусь ли я до высот славы. На черта она мне! Чтобы мучиться? Но мне отнюдь не безразлично, доберусь ли я до высот **мастерства.** Это — цель моей жизни! И ей я подчиняю каждый свой шаг. Слава — призрак, предрассудок, пустой звон. **Стать самим собою,** стать художником, добиться полного соответствия между внутренним богатством души и внешним выражением этого богатства — это единственное, из-за чего стоит жить, ибо это — сама жизнь. Вот смысл моего афоризма, который я забыл вписать в «Афоризмы», но, кажется, упоминал в первом письме. **«Смысл жизни — в самой жизни».**

Тут вплотную с этим стоит вопрос о бессмертии. Бессмертны не слова сами по себе, а дела. Смерти, по существу, нет. Умерли твои родители, но они живы в тебе и телесно и духовно — в тебе и в твоих братьях и сестрах. Они живы, хотя бы как опыт. Мало того, что ты физически — часть их. Ты помнишь о них и, помня о них, определяешь свое отношение к жизни, к людям, то есть действуешь. А действуя, ты оставляешь память о себе (и не просто память о себе, но и частицу самой себя) в этих делах. И так без конца. Это и есть бессмертие. Оно — в делах...

Я очень рад, что для тебя не существует глупого и вечного вопроса: «**Зачем** жить?», что этот вопрос принял уже в твоей жизни другую, единственно верную, форму: «**Как** жить?» Ты сама понимаешь, что ответить на него сразу и исчерпывающе — трудно, чтобы не сказать невозможно. Ответ здесь для каждого человека свой... Очень волнующий ответ на этот вопрос дал Н. Остров-

ский: живи так, чтобы, умирая, не стыдно было за прожитую жизнь.

...Мне думается, главное — найти один какой-то принцип и всю жизнь следовать ему... Назовем этот принцип «целью жизни» (не вообще жизни, а «моей» одной)...

«Но как же узнать, правильна ли моя цель?» — можешь спросить ты. Узнать этого нельзя, но можно определить с самого начала, еще до того, как ее ставишь. Обычно этого не приходится делать, так как жизнь сама постарается, определенным образом воспитав тебя, указать направление, в каком должна находиться твоя цель (это направление называется идеологией)...

...Каждый отдельный человек должен подчинить цель своей жизни **общей** цели — торжеству разума и красоты. Тогда личная цель будет совпадать **по направлению** с целью общественной, причем высота и характер направления не играют здесь особой роли (то есть неважно, **что** именно ты делаешь и **как** делаешь, а важно лишь, чтобы делаемое было направлено к обновлению и улучшению мира его хозяином — народом). Вовсе не обязательно совершать для этого подвиги. Для этого нужно просто-напросто честно трудиться.

...Моя цель — достигнуть мастерства, то есть такой степени владения средствами выражения мыслей, при которой форма и содержание вполне соответствовали бы друг другу, то есть не было бы видно границы между ними, не было бы заметно самой формы, до того правильно, полно и ясно выражала бы она содержание. Вопрос о содержании разрешается направлением: изображать **становление** Советского государства, изображать со всей широтой, полнотой и глубиной. Конкретно разрешить эту проблему я мыслю через создание романов, объединенных не только общими идеями, но и общими персонажами. Эти двадцать приблизительно романов я называю «Целое».

Из **миллионов** фактов, одинаково годных для выражения моих идей, надо выбрать **сотни** таких, которые наиболее полно выражают то, что мне нужно. Но чтобы иметь возможность **выбирать**, надо собирать, надо иметь в десятки, сотни раз больше, чем нужно для **окончательного.**

...Мое «Целое» начнется писаться через много лет, но до этого каждый мой шаг (теперь уже почти неза-

висимо от моей воли и часто даже против моей воли) направлен к осуществлению этого большого, трудного плана. И именно трудность и огромность его, являющиеся по виду главными препятствиями, в действительности — залог того, что этот план будет осуществлен, и осуществлен в такой форме, какой сейчас я, мальчишка, не могу себе и представить.

●

Ты, должно быть, удивишься, прочитав сейчас следующую фразу. Поэтом никогда я не буду. И к стихам своим серьезно относиться не могу. Меня секут за это в каждом письме, но я упрямо повторяю: «Стихов я писать не буду». И... продолжаю писать. Не писать их я не могу. Но тем не менее поэтом мне не быть, не быть. И свои стихи я просто-напросто рассматриваю как упражнения в овладении мастерством живописи слова. Я не написал еще ни одного стихотворения, которое казалось бы мне удовлетворительным. И это не столько огорчает меня, сколько радует, ибо это не что иное, как признак моего роста: то, что вчера казалось мне нехорошим, сегодня кажется очень плохим, а завтра покажется отвратительным. Я напишу новое. Сначала оно покажется нехорошим, потом очень плохим, потом отвратительным. И так далее.

Ты увидишь сама, насколько теперешние мои стихи (скажем, «Белые» или «Маяковский») не похожи на те кляксы, которые я с таким самодовольством сажал в Острогожске (вспомни хотя бы ужасного, убогого «Маленького героя» или «Маленького солдата» — уже не помню точно). Химия — не твоя стихия, пишешь ты. Да. Я о стихах, правда, не могу этого сказать. Но зато о прозе говорю: «Это моя стихия». А ты знаешь, какую прозу я хочу создать? Такую же яркую, такую же буйную, пеструю, рьяную, как стихи. Представляешь ли ты, что это будет? Нерифмованные стихи. Размера тоже, конечно, не будет. Но стихи эта проза будет «напоминать» самой внутренней своей инакостью, внутренними принципами построения фраз, оборотов, образов, словосочетаний.

Впрочем, все это — дело далекое и — кто знает! — может быть, неосуществимое.

В мире тысячи книг, которые, я **должен** знать (не говоря уже о сотнях тысяч, которые **нужно** бы знать).

Если в день прочитывать по одной (научной) книге — в год всего прочитаешь 365. Разве ты не чувствуешь, как это убийственно мало? Поэтому я считаю расточительством потратить на каждую книгу один день и выхожу из себя, когда (600-страничную, например) книгу приходится одолевать два дня. Ни о каких даже шести часах сна не может быть речи.

...Я прекрасно укладываюсь в свой распорядок дня даже тогда, когда пишу письма. Книгу (одну) я прочитываю каждый день. И читаю с подчеркиваниями и с выписками. Редко какая остается недочитанной. Я дочитываю ее на следующий день и прочитываю еще одну — меньшего размера.

Перепиши этот список. Будем читать по списку. **Вместе.**

«Илиада» Гомера
«Одиссея» Гомера
«Песнь о Нибелунгах» (эпос)
«Калевала» (финский эпос)
«Манас» (киргизский эпос)
«Давид Сасунский» (армянский эпос)
«Эдда» (скандинавский эпос)
«Шах-Намэ» (персидский эпос Фирдоуси)
«Гайавата» Лонгфелло
«Былины русские»
«Слово о полку Игореве»
«Витязь в тигровой шкуре» Руставели
«1001 ночь» (сказки)
«Дон-Кихот» Сервантеса
«Робинзон Крузо» Дефо
«Гулливер» Свифта
«Гаргантюа и Пантагрюэль» Рабле
«Мюнхгаузен» Распэ
«Тиль Уленшпигель» де Костера.
«Божественная комедия» Данте
«Потерянный Рай» и «Возвращенный Рай» Мильтона
«Метаморфозы» Овидия
«Макс Хавелаар» Мультатули
«Дафнис и Хлоя» Лонга
«Сатирикон» Петрония
«Гильгамеш»
«О природе вещей» Лукреция Кара
«Спартак» Джованьоли
«Листья травы» Уитмена

«Фауст» Гёте
«Мадам Бовари» Флобера
«Отец Горио» Бальзака
«Неведомый шедевр» Бальзака
«Гамлет», «Король Лир», «Макбет» Шекспира
«Исповедь» Руссо
«Исповедь» Толстого
«Трилогия» Горького
«Освобожденный Иерусалим» Тассо
«Мать» Чапека
«Анна Каренина» Толстого
«Жизнь Клима Самгина» Горького
«Преступление и наказание» Достоевского
«Мцыри» Лермонтова
«Каин» Байрона
«Тоска», «Палата № 6», «Унтер Пришибеев» Чехова
«Сентиментальное путешествие» Стерна
«Неистовый Роланд» Ариосто
«Синяя птица» Метерлинка
«Портрет Дориана Грея» Уайльда
«В лесах» Мельникова-Печерского
«Левша» Лескова
«Сказки» Андерсена
«Племянник Рамбо» Дидро
«Нора», «Бранд» Ибсена
«Красное и черное» Стендаля
«Мертвые души» Гоголя
«Жан-Кристоф» Роллана
«Кола Брюньон» Роллана
«Русские сказки» (Афанасьева)
«Кандид», «Микромегас» Вольтера
«Кобзарь» Шевченко
«Хорошо!» Маяковского
«Пышка» Мопассана
«История одного города» Щедрина
«Обломов» Гончарова
«Книги песен», «Книга Ле Грант» Гейне
«Лирика» Катулла
«Моцарт и Сальери» Пушкина
«Труженики моря» Гюго
«Человек», «Буревестник», «На дне» Горького
«Басни» Крылова
«Прометей» Эсхила
«Пан Тадеуш» Мицкевича

«Натан» Лессинга
«Рассказы о Хозар-Ходже»
«Швейк» Гашека
«Тристан и Изольда»
«Жерминаль» Золя
«Бесприданница» Островского
«Былое и думы» Герцена
«Что делать?» Чернышевского

●

...Сегодня в газете напечатан мой большой и скверный очерк. Его хвалили мне сегодня уже трое. Я ничего не ответил им. Мне он кажется самым скверным из всего, что я написал за все 17 лет своей жизни. Он насквозь фальшив. Удивительно, как люди могут этого не замечать?!

●

Вот уже поистине неожиданно (для меня самого — прежде всех), если я сделаюсь не поэтом, а ученым, не романистом, а исследователем атомов. А знаешь, Вера, кем я больше всего хотел бы быть? Композитором. Вокруг меня и во мне столько чувств и мыслей, которые можно выразить только музыкой. Я слышу эту уже совершенно новую, никем не написанную, изумительно прекрасную музыку, но не могу передать ее. Я нем. И это очень досаждает мне. Музыка меня распирает и разрывает.

●

Последние три дня, Вера, я обитаю в Острогожской МТС. Собрал большой материал. Надо было отремонтировать к 25 ноября 30 тракторов, а они отремонтировали только два. Директор и заместитель стали втирать мне очки, но я попросил документы, пошел в мастерскую к трактористам, занятым на ремонте, и уличил директора и зама во лжи. Они жаловались на недостаток запасных частей. Я сходил вчера в Гутап, узнал, что все необходимые части на складе есть. Сегодня я хотел уже писать статью, потому что материала собралось достаточно. Но оказалось, что на сегодня назначено общее собрание трактористов (дирекция МТС

скрыла от меня, это передал мне мой хороший товарищ тракторист Ф. Тарубаров). Я пошел на собрание, чтобы материал был еще полнее и весче. Директор в своем выступлении занялся болтовней, очковтирательством и принялся обвинять самих трактористов. Этого я не мог терпеть, но решил подождать: пусть выступят сами трактористы. Однако никто не хотел брать слова. Тогда я, неожиданно для себя самого, попросил слова и выступил. Говорил минут 20, а то и больше. Выложил все, что знал: весь материал. Взял сторону трактористов. Насмешкой ударил по дирекции. Вера, это мое выступление было самым лучшим из всего, что я до сих пор написал и сказал. Трактористы были в восторге и сейчас же стали выступать — горячо и смело. Выяснились новые факты, новые «деяния» дирекции.

...Завтра пишу статью «Почему сорвался план ремонта тракторов». Громовую статью. Среди председателей колхозов, руководителей МТС и райзо прослыл «грозным». Они не знают и не догадываются, как я мягок и слаб. Бедняги!

●

Я сейчас ни капли не верю ни в себя, ни во что. Мое настроение меняется в день по семьдесят семь раз. Ни поэтом, ни прозаиком, ни ученым мне не быть. Это ясно как день. Я — козявка, отвратительная козявка, которую смерть растопчет так же, как и всех.

Ну что ж. Остается одна профессия — **человек.** И лучше этой профессии я ничего не знаю. «Быть Человеком — прежде всего». Да, да, да, прежде всего.

●

Ты, наверное, не знаешь, что я родился в деревне. До 10 лет и даже после носил лапти, ходил в овчинном полушубке и заячьем треухе... Моя бабушка (она умерла в этом году)... была религиозна до фанатизма. И так как ни отец, ни мать о моем воспитании не заботились, я попал под ее влияние и как нечто само собой разумеющееся принимал существование бога, которого я представлял всезнающим, всемогущим и чрезвычайно непостоянным — то добрым, то злым, то щедрым, то скупцом, то печальным, то веселым. И мне казалось,

что он меняется для того, чтобы лишний раз увериться в своем всемогуществе. Позже, когда я стал ходить в школу, верить в бога уже невозможно было: я узнал, что ему в небе негде помещаться! Но след веры в бога, если это можно назвать верой, остался в виде убеждения в разумности природы. «Бог» стал для меня обозначать «разумную природу». Я не мог представить, что все движется само собой, никем не руководимое, не направляемое. Меня смущала очевидная целесообразность и взаимозависимость всего сущего, это невольно наталкивало меня на мысль о каком-то вселенном, вездесущем разуме, который проявляет себя в природе. И я — правда, не очень ясно — думал, что все явления природы — проявление этого разума. Такое убеждение я хранил до самых последних лет. А жизнь постаралась так, чтобы это убеждение разрослось. В семье я чувствовал себя всегда как в клетке. С самых ранних пор. И поэтому я старался найти в самом себе друга, советчика и товарища. Отсюда мой несомненный индивидуализм (который я за последнее время успешно преодолеваю).

●

Для меня ведь тоже очень много непонятного, неизвестного, неоткрытого. И постигать, открывать, узнавать, выяснять — лучшее из всего, чего можно желать на земле. Мне очень и очень нравятся твои простые, сердечные слова: «Так хочется жить, так хочется жить!» Будем жить, Верочка, будем жить! Я уверен, что большинство твоих сомнений и мучений имело своей причиной отсутствие уверенности в целесообразности жизни, отсутствие цели жизни. О том, для чего можно и нужно жить (то есть в какой форме действовать, в какой области, на каком поприще) — об этом мы поговорим в следующих письмах. Пока же скажу коротко, что мне кажется: счастливым может быть (и является) лишь тот, кто приносит счастье другим. А тогда, когда человек направляет все свои силы и стремления на то, чтобы обеспечить самому себе счастье, урвать у жизни лакомый кусок, забывает о других — тогда это кончается несчастьем. Да и само по себе это несчастье. Уже по самой природе своей человек таков, что в себе одном он не может найти счастья, для счастья одного нужно наличие двоих.

●

Ой, столько сил, столько буйных, юных сил в моих руках и голове. Часто я стал уже забывать про свое лицо, а до этого я постоянно мучился своей некрасивостью и, говоря резче, отвратительностью. Но теперь мне вдруг как-то безразлично стало, какая наружность у меня. Ведь это всего лишь оболочка, питающая дух. Остается жить-то не оболочка, а дух. Значит, в нем, о нем нужно думать прежде всего. Уродства духа в мильоны раз опаснее и мучительнее наружных уродств.

●

Мне кажется, что узнавание окружающего мира и изменение его, и узнавание и изменение себя самого — это **один** сложный, противоречивый процесс. До известных пор одна сторона этого процесса преобладает над другой — до известных пор и в известные периоды. Узнавая окружающее, человек оснащает, наполняет и вместе с тем познает себя, познает свои способности, свои силы... А потом, познав до известной степени себя, человек начинает и внешние предметы отождествлять со своими представлениями, «подгонять» под эти представления, пока не расшибет лба о какое-нибудь из них. Но эта тенденция — видеть мир не таким, каков он есть, а видеть его таким, каким «я» хочу его видеть, — остается на всю жизнь у всех — в различной мере, разумеется.

●

Я прямо растерялся. Ты спрашиваешь: «Что я должна делать, чтобы быть достойной твоего внимания, какой мне нужно быть?» А я все время хотел у тебя спросить об этом же: «Вера, я хочу быть достойным твоей нежности и твоей веры в меня, чтобы ты гордилась мной, чтобы мы всегда были нужны и дороги друг другу! Что мне надо для этого делать?» Но я не спросил, не знаю почему. И поэтому мне трудно ответить тебе на твой вопрос (Вера, Вера, разве кто-нибудь еще может задать такой необыкновенный, такой великий скромностью своей вопрос, какой задала ты? Разве этот вопрос — не свидетельство твоей хорошести и редкостности?). Но ответ я знаю. И ты его знаешь: «Будь самим собою». Это значит быть всегда и во всем искренней с собою и с другими. Быть искренним — значит не

говорить то, чего не было. Не говорить всего, что есть, до времени скрывать кое-что можно от других, и даже нужно, потому что нравы человеческие далеко не чисты и люди не замедлят воспользоваться (и очень грубо) тем, что ты им откроешь. Короче говоря, помни, что искренность и откровенность — это далеко не одно и то же. В большинстве случаев они исключают друг друга.

Итак, быть искреннею. Это первое. Второе — не быть жестокою — главным образом к себе. Не быть жестокою — это же означает: быть строгою. Быть спокойною, помня, что истинная мудрость всегда спокойна. И еще помни, что, говоря «будь спокойной», я разумею не покой, а спокойствие, то есть разумное беспокойство. Об этом я уже писал тебе. Это третье. Четвертое — как можно больше и лучше узнавай, учись. И при этом помни: лучше знать мало, но хорошо, чем много, но плохо.

Вот коротко (очень коротко!), что, по-моему, значит «быть самим собою».

...Мне приятно, остро приятно знать, что мои письма так радуют, так теплят и светлят тебя. Ведь доставлять радость другим — для меня и есть действительная, непреходящая, вечная радость. Все остальные радости преходящи, временны и обязательно кончаются горьким пеплом, подобно тому, как огонь горит тем дольше и ярче, чем больше светильников (предметов) зажжено, и если их бесконечно много, то, пока догорят последние, из пепла первых вырастут новые и зажгутся, и вечно будет полыхать пламя. А если б горел только один тот предмет, от которого зажглись все они, если б он не зажег их, он сгорел бы в несколько минут. И не было б больше огня.

Вот так же мечтаю я когда-нибудь мыслей и чувств своих полымя бросить в жаждущий огня мир. И загорится мир, и запламенеют люди. Много. Все. Разные будут пламя. Разной силы, разного цвета, разной устремленности. Но в каждом из них будет то перворecho пламя, от которого зачались они все...

●

«Свет» и «Тепло» — естественные формы действия. Все дело в том, какой силою они обладают, каким зарядом. Но это уже вопрос другой. Так вот видишь, Ве-

ра, как все в жизни просто и вместе с тем сложно. И сложна-то именно простота, сложны пути и нити, которые ведут к ней и ее образуют. Вот ты учишься — и этим набираешь в себя силу, энергию. И она потом уже против воли твоей заставит тебя действовать, а роль воли сведется к тому, чтобы давать **направление** этому действию. И, действуя, ты отдаешь эту энергию людям, миру — только в других формах. Это тоже будет «свет» и «тепло». **Всякое** действие проявляется в одной из этих форм, чаще же всего в обеих сразу. Но энергия, полученная тобою, никогда не истощится, потому что человек не просто действует на окружающий мир, но взаимодействует с ним. Получив твою энергию, люди превратят ее в другие формы, и она вернется к тебе. И подобно тому как в мире количество энергии не изменяется, а энергия переходит лишь из одной формы в другую, так и в человеке количество энергии всегда постоянно, и самым большим преступником считаю я человека, который всю ее тратит на пустяки, малыми дозами и при этом не горит, а чадит, коптит. **Либо совсем не гореть, либо гореть во всю силу!** И чтоб ярче и дольше гореть — зажигай, зажигай как можно больше. Только так можно сохранить энергию свою вечно.

●

Все смертно, бессмертна лишь сама жизнь. И именно поэтому бессмертна, вечна жизнь, что смертно все живущее. Яснее и ярче эти мысли о жизни и смерти выражены в моем длинном стихотворении. Процитирую несколько строк.

...Смерть — стимул жизни — учит все живое
Жить, двигаться по твердому настилу,
Выравнивать его и украшать
Покровами простых и умных дел,
Чтоб удлинить другим дорогу к смерти.
(Смерть жизни служит и творенья жизни
Без надобности рушить устает.)

●

Еще хочется о физике писать. И о математике. Люби математику. Она учит мыслить. Человек, который любит и знает математику, не может не мыслить. И при этом мыслить правильно. Ну а в физике и химии не

мыслить нельзя. И еще более нельзя **не мыслить правильно.** Знания, которые остаются лежать в человеке мертвым грузом, не только не приносят ему пользы, но даже мешают жить. Только те знания действенны и хороши, которые (как бы ни были они малы!) усвоены органически, переработаны, втиснуты в живую ткань души человека, вместе с другими знаниями, которые человек умеет применять; которые делают человека проницательнее, восприимчивее, мудрее...

●

У меня все приступами, толчками, взлетами! Я вот уже несколько месяцев не занимаюсь французским (почти не занимаюсь). А между тем я когда-то учил его днями и ночами. Пять, шесть суток подряд. Потом он противел мне, я занимался чем-нибудь другим, это противело мне — третьим, четвертым и т. д. Потом, через некоторое время — опять приступ французского языка.

И всю жизнь я живу такими вот глотками, рывками. Ровно и тихо жить не умею.

А сейчас я себя кляну за то, что долго не возвращаюсь к французскому языку. Я уже много слов позабыл. Ругаю, но вернуться не могу. Нет сил. Да и времени нет. Но скоро я оседлаю себя. Долой анархизм! Да здравствует разумный и бешеный труд!

●

Многое в моем «Целом» есть не что иное, как образное, художественное воплощение отдельных этапов истории партии. Потому что история партии большевиков — это одновременно история СССР. Не было в мире партии, которая с таким же правом могла сказать о себе, что она **человеческая** партия, с каким может сказать (и говорит) о себе партия Ленина. Да, она **государственная** партия. Да, она держит в руках государство. Может быть, с точки зрения буржуазной «демократии» — это диктаторство! Пусть брешут что им вздумается! К солнцу грязь не пристанет! Но с точки зрения пролетарской демократии иных партий нам не надо. Человечество воскресит только пролетарская диктатура — чистая, открытая. Пролетарская же диктатура может осуществляться только пролетарской партией. Вот почему партия коммунистов — государственная

партия. Вот почему она самая человеческая партия из всех, какие известны истории земли.

В моем «Целом» должны быть с максимальной яркостью отражены все этапы борьбы народов России за свои права, за свое счастье. В нем должно быть показано во весь рост и во всю ширь становление первой в мире социалистической державы. Жуткие, стремительные, буйные, жаркие годы!.. «Целое» мое — для меня вся жизнь. И поэтому я не могу говорить о нем без восклицательных знаков. Неужели когда-нибудь что-нибудь заставит меня отступиться от этого замысла? Труден он до невероятности — это видно и тебе и мне. Но ведь я и не берусь его сейчас воплощать. Сейчас он даже не виден мне целиком — это огромнейший небоскреб. До туч достает даже. Часто бывают у меня такие минуты, когда я нисколько не верю в то, что «Целое» когда-то будет написано. А иногда не верю в то, что оно **не** будет написано; никак не могу представить себе, что я не напишу его.

Но в семнадцать лет человек мыслит не столько **иное,** сколько **иначе,** чем в тридцать. Да? Я сейчас и представить не могу, что будет в «Целом». Но кое-что из теперь замышленного, несомненно, останется навсегда в замысле.

●

Я теперь «человек без каникул». Непривычно както. У меня часто бывает такое ощущение, как будто я влез в огромнейшие сапоги и меня заставляют бежать в них. Ведь мне сейчас место рядом со сверстниками моими — в вузе. А я разъезжаю по колхозам, мерзну и сочиняю газетные дифирамбы и разоблачения. Я — самый молодой (возрастом) из всех 300 работников райисполкомовского здания. И, несмотря на то, что и в редакции, и в райкоме партии, и в рике меня любят, я не могу быть спокойным: мне кажется, что своей любовью чрезмерной они подчеркивают, что я «пацан» и гожусь любому из них в сыновья. Глупого поэта обижает это.

...Все острее и острее испытываю жажду людей, жажду «живой жизни». Жажда эта принимает очень нужно-действенный характер — собирание различных материалов (фактов, сведений, цифр) к «Целому». Радуюсь этому, как и всякой действенности.

●

Знаешь, что роднит нас с тобой? Ты спрашиваешь об этом. Я не знаю точно. Но мне кажется, что нас роднит не просто духовная одинаковость, близость. Нет, тут более конкретный вид эта близость имеет. Нас роднит любовь к жизни. Но и этого мало. Ведь жизнь всяко можно любить. Так вот нас с тобою роднит любовь к жизни, проявляющаяся у тебя и у меня в одной форме — в форме ненависти к себе. Вот тебе еще один переход категорий в свою противоположность. Любовь держится на ненависти, питается ненавистью, проявляется в ненависти. Любовь — к жизни, ненависть — к себе. Ведь и я ненавижу себя. Ведь и я кажусь себе преступно маленьким по сравнению с все выше взлетающей жизнью человечества. Эта ненависть к себе, это вечное недовольство собою законно, плодотворно. Это положительное отрицание. (Опять диалектика! Видишь, она на каждом шагу!) Без этой ненависти не было бы роста. Ведь это не простая ненависть, а форма любви (к жизни, миру, к людям), хотя нам она кажется только ненавистью. Не бойся этой ненависти, ненавидь себя, но не постоянно же! Когда ненависть к себе входит в твою жизнь навсегда и обязательно, она заполняет собою всю жизнь, она сделает «я» человека центром и даже содержанием его «я». Жизнь внешняя будет вытеснена, выбита. И нечего будет любить.

●

Я не знаю, подружка родная, сестра дорогая моя, как назвать то чувство, которое я испытываю к тебе, которое заполняет всю мою жизнь и с каждым днем все гуще и стремительней. Любовь? Нет. Дружба? Нет. Обожание? Нет. Ни одного из этих чувств. А вернее — все три вместе, да еще чем-то четвертым соединенные и в чем-то пятом кипящие. Но как же, как же назвать все это одним словом? Не знаю, да и надобно ли это? Пусть останется без названия. Важно, что и тебе и мне это понятно. У меня есть мать, есть сестра, есть друзья. Все то хорошее, что испытываю я к ним, я испытываю и к тебе, но в гораздо высшей степени. Но что-то еще, еще что-то есть в этом чувстве непонятное мне. Я не могу назвать его любовью — это странное, дивное чув-

ство. Почему? Да потому что любви всегда (явно или скрыто) сопутствует ревность (а значит, и ненависть?!). У меня нет ничего этого. Для меня счастьем будет всякое твое счастье, где бы, в чем бы и с кем бы ты его ни обрела. Мне отраднее всего знать, что ты свободна. Всякое угнетение тебя, всякая боль, причиненная тебе, — это также и моя боль, это также и надо мной угнетение. А всякая радость (даже самая маленькая) в твоей жизни — для меня тоже радость, и притом величайшая, много более значительная, чем любая из моих радостей.

●

Если бы человек в 18 лет чувствовал себя совершенным, мудрым, человеком в полном смысле — чем бы была его остальная жизнь? К чему бы он стремился? Если бы он был уверен, что обладает всем возможным (и необходимым)? Хорошо, очень хорошо, что ты чувствуешь себя неполноценной, несовершенной, но ты (может быть, иногда смутно) чувствуешь свои недостатки.

Великое рождается малым. Достоинства рождаются недостатками. Мудрость приходит, завоевывается, копится, наживается, но не дается от роду, как, скажем, нос или кожа.

...Не допускай, чтобы самокритичность переходила в слепое, всесокрушающее самобичевание. Кроме утомления, кроме обессиливания, самобичевание ничего не приносит.

●

Утром, по дороге в редакцию, я любуюсь солнцем. Оно, желтое и плоское, плавает в белых волнах дыма. Крыши тоже белые, горбатые. И тоже похожи на дым. Удивительно красиво! И когда после этого я гляжу на злющих красноносых прохожих, мне становится тошно.

А в редакции я по-прежнему дурачусь, по-прежнему бешено-весел, а через минуту бешено-грустен и несчастен, а еще через минуту уже опять тормошу кого-нибудь и хохочу, и они хохочут вместе со мной.

Очерки мои не клеятся. И не надо. Мне сейчас все

противно, кроме книг, хотя это и не проявляется резко внешне.

Боже, я прихожу в холодный ужас, когда подумаю, что кончился год, что я расту (старею) и ничегошеньки не делаю. Пустая жизнь, пустой человек! Ох, как я ненавижу себя минутами. Но потом беру вожжи в руки, взнуздываю свои страсти и становлюсь спокойным, то есть готовым в любую минуту опять вскипеться, взбушеваться, вспылать, вспылить. Проклятый, родной характер.

●

Наш бухгалтер редакционный — его фамилия Гранкин — ежеминутно произносит фразы, превосходящие своей глубиной и остротой все, что пишется многими ныне живущими юмористами и сатириками. Глядя на него, я понял во весь рост, **что** это значит: «Учиться у народа, ибо народ мудр». (Сколько их, таких необыкновенных Гранкиных, в нашем мире!) И еще я знаю здесь одного пожилого парикмахера, который — философ **органически**, и при этом его философия самого здорового и истинного покроя. На днях я слышал в кино за своей спиной разговор двух женщин. Одна из них высказала в трех словах метчайшее замечание о современных пьесах, а затем очень хорошо, взволнованно, веско стала говорить об артистах. И еще о себе. Я очень жалею, что не заметил ее лица. Человек в высшей степени интересный.

А в селах столько приходится встречать красавцев духом, столько доводится слышать слов, каждое из которых — мир. Именно эти простые (ну как их можно назвать **простыми!**) люди делают поэзию, как и всю историю. **Они,** а вовсе не кучка литераторов. Задача поэтов — не сочинять, а **слушать и смотреть, слушать и смотреть, слушать и смотреть.** Но слушать — это еще не значит слышать. И смотреть — это еще не значит видеть. Надо **уметь** слушать и смотреть. Надо уметь молчать. Без этого нельзя быть поэтом.

●

Вчера, сегодня и завтра — три дня отдаю тому, чтобы войти в новую колею жизни. Записывал интересные сюжеты и мысли, родившиеся в ленинградской поездке.

Завел тетрадочку, которая называется «Слова». Записываю туда неологизмы, интересные словосочетания, образы, строки, фразы, строфы. Например, сегодня мне пришел в голову хороший образ: «Сонный снег». Когда-нибудь использую. Пишу стихи. Не писать не могу. Стало быть, прав Кошелев. Буду писать стихи. Но поэтом-профессионалом не буду. Унес в сарай все лишние книги. Оставил в комнате самые необходимые. Книг четырнадцать ящиков теперь. В комнате пятнадцатый. И еще мешок журналов. Что я с ними буду делать при переезде? Впрочем, куда мне ехать? Острогожск хорош. Здесь можно много добыть материала для «Целого». Но еще Ломоносов сказал, что «люди ленивы и нелюбопытны». К сожалению, я людя.

●

Человек существует для мира столько, сколько мир для человека.

Человек всемогущ. Но разве сразу пришло к нему это всемогущество? Тысячи лет прошли с того дня, когда наш предок взял в руки первый камень. Как выросло человечество и Человек за эти тысячи лет! Тысячи лет! А каждому человеку приходится проделывать в своем развитии этот тысячелетний путь человечества в пять-шесть десятков годов. Но и в том и в другом случае орудием создания человеком самого себя является действительность, действие, труд. Труд, труд, труд. Он — основа и источник, он причина и содержание всего в человеке, в человечестве, в человеческом мире и человеческой истории.

Я готов трудиться всю жизнь не покладая рук, чтобы создать свое «Целое». «Целое» — в первую очередь. «Мир» — после. Я не знаю и стотысячной доли того, что мне необходимо, нужно знать, без чего я не сумею написать ни одной настоящей строки. Вся жизнь моя, каждый ее день должны быть упорным продвижением вперед. Я должен чувствовать свое движение. Только тогда я могу быть более или менее спокойным. Я должен чувствовать свой рост, свой бег, чувствовать ветер времени, свистящий вокруг меня, бьющий меня, сваливающий меня с ног, обессиливающий, возбуждающий и неизбежный. Я должен отчетливо ощущать, сознавать: «Этот день принес мне вот что». А на следующий день: «Этот день принес мне вот это». И так каждый день

Так хочу я жить — задыхаясь, сложно, тяжело, порывисто, неровно, глубоко, стремительно, крупно. Да, так **хочу** жить я, так **буду** жить я.

А сейчас я — маленький глупенький легкодум. Я расхохотался, когда в трудовой книжке в строке «профессия» мне записали: журналист. Боже мой! Какой же я журналист?

●

Я как-то посылал тебе две строфы о романтизме. Теперь я дописал к ним еще две. Стихотворение закончено, вот оно (с уже известными тебе 8-ю строками):

Кичась своей зеленостью надменной,
Мечтательности толстая сосна
Для всех деревьев требует отмены
Холодного, безлиственного сна.

Она вмещает в собственную норму
Весь свет, все виды, весь незримый мир,
Крича про цвет, она не видит форму,
Собою занятая каждый миг.

Она шумит, растет, сгорает, блещет
Тяжеловатым голубым костром.
И ей на время делается легче,
Когда она осыплется остро.

И если искры сгаснувшие вычесть —
Искр будущих не высчитать, не счесть.
В храненьи этих жалобных привычек
Ее наследственная жизнь и честь.

●

Ты извини, что я тебе вчера такое короткое письмо послал. Это потому, что вчера я был в кино, смотрел «Александра Невского». Картина потрясла меня...

«Александр Невский» перед самыми глазами поставил мне вопрос: «Что ты делаешь?» Я впервые, кажется, с **животной** какой-то силой ощутил, как велика, как близка, как ужасна опасность войны, опасность нашествия на нашу землю кровавых разбойников. И я спросил себя резко и хлестко: «Что ты сделал? Что ты делаешь? Что ты **сделаешь**, чтобы облегчить твоей Отчизне победу в грядущей битве?» И я покраснел, как пламя, я вспыхнул. Мне было так стыдно, так страшно стыдно в этот час, когда я пытал себя: «Для чего же

ты живешь, если ты ничего не сделал для народа, для людей?!»

Да, Вера. Мне стало стыдно всего себя. Мне стало больно, что я называл тебя дорогой и милой, ничего не сделав, чтобы **твоя и моя** Родина была сильнее, краше, чище.

...Один из величайших грехов — черствость, безразличие к человеку, стремление обеспечить **лишь свое** счастье, хотя бы и за счет беды другого. Вот в чем грех. И грех этот мы совершаем каждый день много раз.

Помогать человеку, любить человека, учить человека, возвышать человека — вот что должен делать человек, вот для чего стоит жить и надо жить. Для этого. Только для этого...

Человек — смысл всего, мера всего, центр всего, сила всего. Мы чрезвычайно многословны (и я — более чем кто-либо другой). Меньше слов. Больше жизни, животного, животворящего, живородящего, живущего, оживляющего, жизненно необходимого, жизнеустремленного — живого, живого, живого!

Любовь к человеку, забота о человеке, стремление к человеку, боль за человека, радость за человека должны пронизывать все наши деяния, все помыслы, все поступки, все устремления, все творения. Какое счастье — быть человеком!.. Содействовать вечному человеческому продвижению вперед, вечной и прекрасной борьбе человека за самого себя — что может быть выше, нужнее и завиднее этого. И возможность делать это предоставлена всякому.

Мы можем с полным правом гордиться, что наша страна — родина Человека, родина Гуманизма. Гуманизма нового, сильного, справедливого, всепроникающего, требовательного, строгого, нежного, всеобъемлющего, прогрессирующего. Гуманизма, который требует **уничтожения** всего, что **античеловечно.** Гуманизма, который поставил во главу угла не абстрактного «Homo», а исторически конкретного человека-труженика, человека-творца, человека-борца. Да, наша гуманность — это прежде всего борьба. Борьба во имя. Во имя Человека. Во имя Будущего. Во имя Жизни.

●

Человек должен быть свободным. Человек должен стать самим собой: развить все свои возможности, спо-

собности, таланты. Человек должен построить на земле Союз Народов Мира. К этому все идет: к уничтожению препятствий свободного развития человека. Чтобы не было войн, убийств, рабства, несправедливости, горя, лжи. Говоря на языке плохих поэтов — чтобы воздвигнуть мир Истины, Красоты и Свободы.

●

Очистить человеческие отношения от лжи, от всяких условностей, от всяких мерзостей; научить людей жить, любить друг друга, любить жизнь, любить человека — вот задача искусства; этой задаче должна быть подчинена каждая строка каждого художника, каждый его день, каждая его мысль! В этом и должно состоять основное значение моего «Целого». В том, что **оно будет книгой жизни, будет учить жить.** Но разве оно, мое «Целое», извиняет мою теперешнюю бездеятельность?! Да, я работаю, да, я что-то делаю, но, боже мой, как это **мизерно** мало по сравнению с тем, что я должен и что я мог бы делать и сделать!

Больше всего следует бояться безразличия, равнодушия, апатии. Все это — нерасцветшая ненависть. Мир движется любовью. Любовь движет мир вперед. И тот, кто хочет стоять на границе любви и ненависти, обязательно будет ненавидящим, если не будет идти вслед за любовью, если не будет стараться опередить, догнать ее. Любовь ведет мир вперед, любовь утекает. Ненависть заполняет место, недавно занимаемое любовью: то, что вчера любили, сегодня ненавидят. И тот, кто стоит на месте, а не идет как можно быстрее вперед, идет назад. Да. Пассивность — активна. Я говорю: течет, идет любовь. Ненависть заполняет ее место. Это, конечно, неточно.

Идут, проходят люди. Меняются отношения, взгляды, привычки. А любовь и ненависть, сменяющая ее, лишь внешние проявления, лишь внешние отражения глубочайших внутренних процессов.

●

История требует жертв. Не надрывных, слезных, жалких жертв, а мужественных, высоких, трудных, будничных подвигов. Надо, чтоб каждая человеческая жизнь была в полной мере тем, чем она есть по суще-

ству своему, — подвигом. Да, Вера, жизнь — это подвиг. Что же надо делать каждому человеку? Не вообще **человеку,** а человеку **нашей страны?** Надо работать и жить всем своим существом для народа, для Родины. («Народ — это все, и «я» в том числе», — так должен думать каждый.) Работать, трудиться, действовать. Сознательно, по-человечески действовать. Не пассивно, не вслепую, а зряче, горячо, цепко, стремительно. И чтоб стремительность эта была целенаправленной. И чтоб вся жизнь имела четкую линию, четкую цель. И чтоб личность имела цельность. Надо чувствовать, что каждый человек, взятый отдельно, — **ничто.** Что сила **каждого** — в связи со **всеми.** Все для каждого, каждый для всех, все для всех и для каждого. Все принадлежит всем. Счастье — это сознание того, что я пополняю сокровищницу человечества, что я двигаюсь и двигаю, что я выделяю мысль, материализую ее, и она вечна. Счастье — это сознание кровной связи, кровного единства с человечеством, с миром, сознание себя **частью** движущейся и движущей, **активной,** чуткой частью великого целого.

Счастье — это сознание того, что все отражается во мне и я отражаюсь во всем. Счастье — это радость бытия, радость единения со всем существующим...

Счастье — это борьба, это тяжкое восхождение, это сознавание себя крупинкой великой ступени, составляющей вместе с другими бесконечную, единственно прекрасную лестницу жизни. Счастье — это сознание своего единородства со вселенной. Счастье — это сознание всемогущей организующей и творящей роли труда. Счастье — это труд, это борьба, это жизнь. Да, счастье — это жизнь. Жизнь во всей полноте, во всей многогранности, во всей беспредельности, во всей сложности, во всей переменчивости, во всей текучести, во всей радостности своей.

●

Не многословием, не клятвами, не угрызениями совести и прочими красивыми вещами (вещами нематериальными) выражается любовь к человеку, а **действием.** Будничным действием. Не надо смущаться, что ты не можешь совершить мирового подвига. Мировых подвигов в одиночку **никто** не совершал. **Великое совершают многие.** Вот истина, которую всегда надо помнить.

Один не совершит не только великого, ни вообще ничего **не совершит.**

Нет ничего отраднее чувствовать себя в народе и народ в себе; чувствовать свое личное как часть огромного общего; чувствовать себя выразителем многих.

Итак, не надо смущаться скромностью своего положения. Не положение красит человека, но человек красит (то есть **изменяет** — уже в этом смысле красит) положение.

Целому миру нельзя помочь. Невозможно это. Значит, и не нужно. Помогай тому, кому можешь, и тем, чем можешь. Помощь — действие, отношение, а оно увеличивает знание, укрепляет качества, значит, увеличивает и **возможности.**

Сейчас стало модным говорить о «чуткости». Не та чуткость нужна, о которой пишут в газетах. Меня, право, удивляет и смешит, что в газетах пишут о случаях чуткости и честности, как будто такая уж редкость, что человек, найдя чужой кошелек, занес его в милицию и отдал дежурному!

Нет, не такая чуткость нужна. Будничная, обыденная, постоянная, а не «специальная». Создается впечатление, что сейчас говорят о чуткости и заботе о человеке в том смысле, чтобы вменить это каждому в обязанность, так же как снимание калош или вытирание ног в коридоре. Странные люди! Они готовы чуть ли не учредить специальный отдел, который ведал бы заботой о человеке. Смешно и горько!

Любовь к человеку, человеческая забота о человеке должны, повторяю, пронизывать каждый шаг, каждое движение каждого из нас. Смысл человеческой истории и цель ее — в ней самой, то есть **все время в будущем, в человеке.**

Человек — центр мира. И все в мире должно стремиться к этому священному, благородному центру. Да, благородному!

Облагородить человека, человеческий быт, человеческие отношения — вот что надо сделать каждому человеку. И для этого прежде всего надо очистить себя и свои личные переживания, стремления, мысли, чувства, отношения от всех предрассудков и условностей, от всей вековой копоти, пыли и грязи. Искренность, прямота, правдивость — вот истинно человеческие качества.

...Больше всего иллюзий создано о человеке. Иллю-

зия не только преулучшенное мнение, но и преухудшенное. Иллюзия, короче говоря, — это ложь. Так вот. Что же можно сказать о человеке? Человек — благороднейшее животное, обязанное собою больше всего **себе.** Возможности человека так многообразны и широки, что можно невольно не только преухудшить, но и преулучшить мнение о человеке. Это не опасно. Нужно думать о человеке лучше, чем он есть. Тогда он станет **действительно** лучше. И это может продолжаться до конца его жизни.

Надо помогать человеку понимать самого себя. Надо помогать человеку в его труде, потому что труд — отец самого человека; труд — главное условие и основное содержание человеческой жизни.

Надо помогать человеку в мелочах, не стесняясь, что это мелочи. Одна мелочь да вторая мелочь — это уже две мелочи. А ведь и море из капель состоит. Меньше всего надо думать о себе как о чем-то самоценном, самостоятельном, большом. Такое мнение о себе и есть иллюзия. Надо рассматривать себя, свое **личное** как **часть** общего — часть, которая существует лишь постольку, поскольку существует все общее. Надо себя, свой рост, свою силу направлять туда и так, куда и как направлено **общее.** Ты представь: для **меня** (и для **тебя,** и для каждого **отдельного** человека) крестьянин растит хлеб; ткач делает рубашку; рабочий — поезда, ткацкие машины, иголки, дверные ручки; продавец дежурит в магазине; пограничник охраняет мой сон. Все это — государство. И все это для меня. Социалистическое государство — **организатор жизни, организатор труда.** Чем же я, чем же **каждый** отдельный человек **должен** заплатить за это? Максимально честной и напряженной работой. **Личное** счастье немыслимо вне **общественного** труда, вне **общего** блага, вне **всеобщего** счастья. И чем больше мы будем давать, тем больше будем иметь. Это закон, который пока еще только **входит во всю** свою силу. Больше думать о будущем. Иметь перед глазами образ будущего общества, будущего человека. Иметь цель. Цель сама определит средства. В этом ей помогут наши возможности и способности! Человек живет для будущего. Это надо помнить всегда, если хочешь быть человеком.

Вот и все, Верусь, что хотел я тебе сегодня сказать. Все сказанное выше относится ко мне больше, чем ко всякому другому человеку.

●

Я сейчас работаю над большой статьей об искусстве. Статья эта — вся с новыми мыслями, и изложение новое, и все новое. Пишу я ее для себя, а не для печати. Если даже она выйдет хорошей — все равно никуда не пошлю. Главная ее цель — определить **для меня** правильное отношение к вопросам искусства, установить правильную дистанцию между книгами, жизнью и мною. Основная мысль статьи: «Содержание искусства — человек. Искусство не только орудие **познания** жизни, но и орудие **самой жизни».** Но это я очень грубо мысль передаю. Жаль вот, что я сейчас очень загружен и не смогу работать над этой статьей каждый день. А могу лишь урывками...

Я занят сейчас чрезвычайно. Никогда так, кажется, не было трудно. Близится весенний сев. А колхозы наши готовятся к весне плохо. И вот я без устали и без жалости тормошу их, телефоню во все концы, езжу, распекаю — в общем, буйствую. Как хороша (сама по себе!) моя маленькая, беспокойная работа! Все время кипишь. Хорошо кипишь. И сам в этом кипении очищаешься, меняешься, лучшеешь.

●

Я сегодня утром, как только письмо получил, зашел на телеграф и дал тебе телеграмму. Наставил там точек и восклицательных знаков. Барышня в окошке смеется и ругается: «В телеграммах знаков не ставят. Тем более восклицательных». Я примиряюще пробормотал что-то по-французски. Но она по-французски смыслит столько же, сколько я по-китайски. Ничего не поняла. Я выхватил у нее квитанцию, крикнул: «Всего вчерашнего!» — и вышел. Слышал, как она вслед мне сказала, обращаясь к кому-то: «Вот это и есть Кубанев». Что она подразумевала под своим «вот это и есть» — черт ее знает!..

●

Это хорошо, когда человек просто и отчетливо чувствует свою зависимость от других. Не надо только быть рабом этой зависимости. Надо научиться управлять ею. А для этого надо научиться управлять собою.

Делать не то, что хочу, а то, что надо. Причем добиться того, чтобы между «надо» и «хочу» не было расхождения, чтобы «хочу» стремилось все время в одном направлении, к одной цели, а «надо» чтобы было все время впереди хочу, но на той же линии. Истинно свободен не тот, кто говорит: «Делаю так, как хочу» (это просто невозможно, неосуществимо); на самом деле такой человек не свободен; нет, он — в худшем из рабств: он раб самого себя, своего «слепого, безудержного «хочу». Истинно же свободен тот, кто может сказать: «Хочу так, как надо. Делаю так, как надо. Хочу хотеть так, как надо».

●

Я сейчас что-то чрезвычайно холодно смотрю на свое равнодушие к книжной премудрости. Французский язык? Что ж, это хорошее дело, но он никогда от меня не уйдет.

А двух 1939-х годов не бывает, бывает только один. Надо его изведать, обознать, запомнить: что в нем главное, чем он отличается от всех лет, как изменяются люди, какие события, какие перемены. Теперь я понял, что самое главное — живое: люди и текущие события. Надо вмешиваться в них, чтобы чему-нибудь научиться. Это даст больше, чем знание десятков языков.

Главное — знать человека, его законы, его характер, его устройство (духовное), его историю. **Все** о человеке знать. Без этого, без человека — все пустое, все ненужное, все ни к чему. А узнать человека (тем более познать) можно не созерцанием, а активным вламыванием в повседневность, активным и разумным вмешательством в текущее, изменением, резонным, целесообразным изменением окружающего. Только так можно изменить себя.

●

Французов я очень люблю. И французское правительство до Мюнхена я уважал. А потом понял, что это за птицы. События последних дней укрепили мою ненависть к ним еще больше. Они не пускают через свою границу испанских детей и женщин, убивают их, душат газами. Люди гибнут у границы. Поразительный

паразитизм! Но французскую нацию, французский народ, французскую историю и литературу я продолжаю уважать по-прежнему...

●

Чувствовать себя хозяином на земле — этого человеку мало. Он может и должен **быть** хозяином всего земного мира... А это значит ко всему относиться активно, во все вмешиваться, все делать и переделывать...

●

Через пятьдесят лет я **потеряю себя, меня не будет**, я не смогу видеть, ощущать, говорить, действовать. Я исчезну. А мир останется. Что важнее: я или мир, который будет жить **тысячи** лет? Конечно, мир. Значит, надо жить для мира, для людей. Украшать мир благородными делами. Перестраивать мир. Но **как** перестраивать? **Самая передовая** современная общественная теория, **самая революционная, самая народная** теория — марксизм — учит, что хозяином всего должен стать трудовой народ. Он должен создать в мире единое Государство Равных. Во имя этого высшего человеческого государства, во имя человека надо **уничтожить, устранить, отстранить, снести все**, что античеловечно **по сути,** и перестроить все, что человечно по сути, но античеловечно по форме. Во имя этой цели и надо жить.

●

В сегодняшнем номере «Новой жизни» мы публикуем полученное по радио сообщение ТАСС о том, что в Германии объявлена мобилизация. Я не знаю, что это: спектакль ли (то есть второй вариант, второе исполнение, второе представление чехословацкой трагикомедии, когда Германия и Англия «объявили мобилизацию» и подняли невероятный шум, чтобы создать для Чехословакии видимость неизбежного поражения и этим принудить ее сдаться без боя) или настоящая мобилизация. Францию легко, конечно, обмануть. Но, кажется, дело всерьез войной пахнет. Война-то уже началась. Китай и Испания — это две арены ее. Значит, открывается третий фронт? Ну что ж!

●

Вчера нам передали в полдень известие о смерти Крупской. Это неожиданно было. Вообще-то этого надо было ждать. Но на другой день после юбилея — как-то странно и страшно (я люблю эти два слова рядом ставить).

Крупская — человек большой, чудесный человек, живой человек, молодой человек. Я частенько задумывался над ее портретами. Мне очень она близка была. Не знаю почему. Наверное, как одна из героинь «Целого». Ведь она будет большое место занимать в моем романе о Ленине, а роман о Ленине — большое место в «Целом» занимать будет. Особенно чудно и чу́дно для меня в ее жизни было (да и остается) венчанье с Лениным. Ее сослали в Уфимскую губернию, Ленина — в Сибирь. Ленин пожелал, чтобы она приехала к нему. Ей разрешили переменить место ссылки только в том случае, если они повенчаются. Крупская и Ленин повенчались в селе Шушенском. Там они и жили.

И вообще жизнь у нее полная, интересная, обильная всем — и горем, и лишениями, и радостями. Хорошая жизнь. Настоящая жизнь.

Я мечтал встретиться с Крупской, поговорить, узнать о Ленине. Ведь столько, сколько она о нем знает, не знает никто. Мне как-то порой и в голову не приходило, что она очень старая и что нашей встречи быть не может. Я верил в эту встречу. И вот — ее не будет.

●

Перестань, Вера, играться в себя. Скоро это надоест тебе самой. Знать, что делаешь, — это все, что требуется от человека. Если не знать, то хоть понимать. Стремись к этому, если хочешь быть счастливой. Если что-нибудь можешь не делать — не делай.

Вообще-то в жизненных делах я советчик плохой, и к советам моим подходи осторожно. Но тут нужно безошибочно сказать, что ты не права. Нельзя жить так непоследовательно, так бездорожно, так перекидчиво. Нельзя. Со временем, после многих переживаний (которых вполне можно избежать) ты поймешь это сама, из собственного опыта.

Расхождение между желанием, словом и делом — вот в чем корень всех человеческих несчастий. Не мо-

жет быть счастливым человек, который это расхождение допускает.

Я говорил тебе вчера немножко о том, чтобы ты любила окружающих тебя студентов, профессоров... Люби в них все хорошее, старайся отвлекаться от плохого, как бы на время забывать о нем, выискивать в них хорошее, указывать им на него и делом, делом, маленькими поступками своими, помогать его укреплению.

Только тогда, когда ты **делом полюбишь** других — ты полюбишь (то есть поймешь) себя и поймешь, что ты делаешь. А в этом главное.

И еще вот что. Ты, как и я, как и все люди (за исключением, может быть, тех, которые сидят в сумасшедших домах), боишься правды: боишься не только слушать ее, но и говорить ее. Не всегда боишься, но всегда можешь бояться. Может быть, больше всего человек не любит правды. Но не любит ее не весь он, а низшая, темная часть его существа, без которой, впрочем, не было бы и высшей, светлой части и эта высшая часть не была бы высшей и светлой: ей ничего бы не противостояло.

Уничтожай в себе эту боязнь. Уничтожай беспощадно. Она изведет тебя, если ты ее не уничтожишь. Она мешает тебе любить и закрывать глаза на хорошее в людях и в мире.

Мир лучше, в миллиарды раз лучше, чем кажется тебе. Ты не любишь его, еще не любишь — и это значит, что ты пока еще его не понимаешь.

Если б я был в силах — я раскрыл бы тебе все, что могу, рассказал бы и показал бы, **чем** прекрасен мир и **почему** он прекрасен именно **этим** и почему он не всегда кажется прекрасным.

Но разве мои слова могут объяснить тебе что-нибудь? Никому ничего они не могут сказать. Они бессильны. Они — слова, а мир — это мир...

Почему ты, выражая недовольство некоторыми чертами своими, не искореняешь их в себе на деле? Почему ты, сознавая всю прекрасность любви к человечеству и работы на человечество, не выражаешь эту любовь поступками, не подкрепляешь ее своим каждодневным действием?

Человечество задыхается в грязи и мраке, тысячи людей умирают на бранных полях, страны — целые страны, изумительные страны — сносятся, стираются с карт, сироты дрожат в ночах беззащитными толпами;

кучка собак арийского происхождения пытается особачить человечество, испоганить нашу страну, растоптать нашу культуру, загрязнить нашу жизнь, навязать нам свои собачьи законы. Мир сошел с ума. И в такие дни, в такие дни, каких не знала еще история, ты можешь быть равнодушной к человечеству, к человеку, к себе? Ты не должна делать этого! Ты не должна оставаться безучастной к бедам и скорбям человечества, если даже все близкие твои к ним безучастны.

Опомнись, встряхнись, воспрянь, друг мой, дорогой друг мой, вечный друг мой!

Вот тебе моя рука. Я зову тебя в мир. Я зову тебя любить человека, я зову тебя помочь человечеству высвободиться из того месива лжи и крови, из того зверства, в которое погружает его фашизм и его вожди.

Пойми: Гитлер — твой враг, личный твой враг. Он личный враг каждого из нас, советских людей.

Все силы, все помыслы должны быть обращены к народу, к нашему единственному, великому народу. Помочь ему укрепиться для борьбы с врагами — наш долг, наш неотложный земной долг.

Сделать это можно лишь через предельное заполнение своего времени общественно полезной работой.

Пусть лишь тот день считается правильно прожитым, который принес не только радость тебе, но и пользу народу. Это в наших силах, в силах каждого из нас.

Честно выполнить обязанности, возлагаемые занимаемым местом, — к этому сводится в основном служение обществу. Надо только, чтобы вне этого служения для тебя не было ничего. Чтобы оно составляло все содержание твоей жизни.

●

Итак, договор с Германией подписан. Он будет нарушен — в этом нет никакого сомнения. Это немецкая хитрость. Но не только это. В какой-то степени он — наша победа, торжество нашей политики. Пока суд да дело (как говорит пословица), будем недоуменно радоваться вместе со всеми.

Будет ошибкой, если мы ослабим борьбу против фашизма и войны (что одно и то же).

Черт побери, мне хочется написать сейчас статью о последних международных «происществиях». Статью для себя.

●

Читала ли ты речь Гитлера (то, что изложено в газетах, конечно)? Каков субчик! О, из него вышел бы незаурядный драматург, не будь он Гитлером!

Он говорил заведомую ложь с таким вдохновенно-праведным видом, что ему безусловно веришь. Так говорят герои Шекспира. Когда говорит один из них — кажется, что **только один он** прав. Потом начинает говорить другой, и говорит совершенно противоположное, и кажется, что прав **только он один.** И так — с каждым.

Самым подлым в поведении Гитлера является не хладнокровное рассуждение о собственной жестокости, нет, другое — упорное стремление свалить всю вину на Польшу, а себя представить в качестве жертвы! Ничего себе жертвочка!

●

Позавчера у меня погасла лампа, и я один, в темной своей клетке, сидел за столом и с ужасом думал о дне и часе своей смерти. Мне показалось в те минуты, что я уже умер, и если не умер, то умру немедленно, как только пошевельнусь.

И вот в одно мгновение передо мною просверкнула вся жизнь моя — мелкая, нехорошая, но какая интересная и нужная жизнь! Мне стало только невыносимо досадно за то, что я так мало делал и делаю и так много (а может быть, тоже мало?) говорю.

Жизнь вообще и моя жизнь показались мне каким-то смутным, терпким, оглушительным водоемом. Он шумит, движется...

Каким бы ни был я порою нестепенным, диким, дурным, я никогда не погашу в себе той чистой любви, которой охвачено мое сердце. Это — любовь к человеку. И вас я люблю не только как вас, но и как человека. В вас я отыскиваю и восторженно (хоть и скрываю это часто) принимаю все, чем человек человечен, все, чем он жив остается через тысячелетия после смерти своей. Все, что есть лучшего в вас, в тебе, в каждом из вас, я старательно отмечаю и пытаюсь поддерживать. Может быть, не моя вина в том, что мне это не всегда удается.

•

Да, меня призывают в Красную Армию. Родился в 1921 году, окончил среднюю школу. Повестки мне не было, я пошел в райвоенкомат, почему не несут повестку. Оказалось, что о моем существовании в их шкафах не имеется никаких данных. Какой-то военный дядька спросил: «Когда вы окончили среднюю школу?» Я ответил: «В прошлом году». Он спросил: «Хотите ли вы идти в армию?» Вопрос был поставлен так прямо, что прямее уж некуда. Я ответил: «Конечно». Он приказал завести на меня личное дело. Так попал я в красноармейцы. Тут же вручили мне повестку о явке на призыв 22 числа. Не приди я в военкомат, меня взяли бы на службу только в будущем году (в этом году берут тех, кто окончил в этом году среднюю школу).

Мама обеспокоена. Она считает меня дитем и никак не может себе представить меня в обмотках. Ну, я знаю, что ей в глубине души (да и не в глубине тоже) хочется, чтобы я был красноармейцем, и притом хорошим. Что касается хорошего, то уж тут ей придется еще раз разочароваться. Ничего хорошего в таких делах из меня не выйдет. И очень жаль! У меня нарушены планы. Три года я теперь буду не свой. Но если рассудить здраво, ведь и планы-то составлялись для всех людей, для того чтобы делом помочь людям жить лучше. Значит, цель остается. Только пути меняются. Вместо сочинения статей и изучения истории я буду сочинять схемы и изучать боевое оружие. Это тоже для народа. И для меня.

•

Здравствуй, девочка с маленькой буквы и дорогая Девочка с большой буквы! Помнишь ли ты, как в одну (в первую или во вторую — ну-ка припомни!) из наших с тобою загородных прогулок (ничего себе прогулочки — километров по 8) я обещал — как только буду иметь возможность свободно приобретать книги, — собрать для тебя «смешную библиотеку» — 100 самых лучших книг мировой сатиры и юмора. Ты напомни мне лет через шесть об этом обещании. Оно будет выполнено. Будет и «смешная библиотека», и все, что нужно. Будет.

●

У тебя есть, есть такая струнка: схватить бы солнце за уши да ахнуть его об землю, чтоб с земли скорлупа соскочила!

Увы! — это невозможно. Скорлупу земную можно счистить только руками. А ты, убедившись, что солнце применить невозможно и стянуть его с неба нельзя, приходила иногда в огорчение: ну, дескать, стало быть, и ничего нельзя.

Большое дело — это маленькие дела во имя большой цели. Делать эти маленькие дела надо так же тщательно, как и самые что ни на есть большие.

●

Чем больше живешь, тем больше удивляешься. А прежде я думал наоборот: что много проживший и переживший (**прожить** много — это еще не значит **пережить** много) человек мало чему подивиться способен, ведь он все видел. На самом деле — не так, у жизни всегда имеется в запасе достаточно всевозможнейших фортелей и выкрутасов, которые показываются внезапно и тем кажутся особо чудесными и похожими на нéвидаль. Одно новое сведение какое-нибудь может перевернуть всю душу, если переворот этот подготовлялся путем постепенного накопления различных сведений, все время находившихся в движении. Накопление проходит почти незаметно, а переворот совершается сразу и потому — вполне видимо, и именно этот переворот вызывает удивление.

Но все это так, между прочим. Я хотел сообщить тебе о «новом» распорядке своего дня, да потом подумал-подумал: уж не ахти какой он новый, и, стало быть, сообщать нечего. Ложусь в 12 часов, встаю в 6 часов. Так. Вот и все. Сутки проходят очень безалаберно: нынче в эти часы одно, завтра — другое. Нового-то, пожалуй, только одно, что я каждый день начиная с 15 сентября моюсь на улице до пояса. А когда голову побрил — и голову мыть стал каждое утро. После этого удивительную свежесть чувствуешь. А ведь раньше я при всем моем уважении к воде частенько оставлял немытыми уши, шею и прочие второстепенности. И кто бы мог подумать (кто-нибудь-то, может быть, и мог, но я никак не мог бы), что эта мелочь в поведении окажется

способной изменить все расположение сил и чувства внутри меня. Мне теперь (в последние дни) удивительно легко ходится, видится, говорится. Помимо того, своими ежеутренними хлюстаньями (так зовет их мама за то, что я вокруг крыльца успеваю за несколько минут наплескать целую лужу воды) приобщаюсь к казарменному режиму. Несмотря на холода (дожди идут, а после дождей зю-зю! Ух!), я обливаюсь холодной (прямо из колонки) водою и вытираюсь быстро и сухо, так, что тело все пылает. Зато как здорово дышать и жить в таком состоянии!

●

Все-таки мы непростительно мало рассказали друг другу за все время нашего знакомства. Однако это поправимо, во всяком случае, гораздо поправимее, чем что бы то ни было другое. Все будет своим чередом.

Одно только жалко мне, что я мало рассказывал тебе о маме, а маме ничего не говорил о тебе. Но и это поправимо. С мамой о тебе я говорил лишь однажды, когда был болен и лежал в постели. Мне захотелось рассказать ей о тебе много-многое. Я позвал ее (она возилась на кухне), она пришла и спросила: «Что тебе?» Я попросил ее посидеть со мною. Долго она сидела. Я молчал. Потом я сказал тихо: «Мама, а Вера учится в Ленинграде». Она спросила: «Вы дружите?» Я ответил: «Мы дружим!» Больше я ей ничего не сказал.

Перед уходом в армию я расскажу ей о тебе и о нас. Надо, чтобы она все знала. Она — мама...

...Интересно бы все-таки знать, как сложится дальше моя жизнь. Смогу ли я когда-нибудь, хоть когда-нибудь заняться книгами, мыслями, опытами и написать «Мир». Когда-то я ставил на первое место «Целое», а теперь — «Мир». И еще одна работа (ты о ней знаешь): «Культура советского общества», или точнее — «Советское общество», стоит передо мною неотступно. Ее я тоже должен сделать. Все это мы будем делать с тобою вместе, мой друг.

●

В конце дня вчера ходил на вокзал провожать маму. Она поехала в Лиски. С тем же поездом (рабочим) отправляли партию призывников. От города до вокзала

они шли колонной, призывники и провожающие родители — в одних рядах. Знамя. Оркестр. И ни одной невесты.

А ты меня будешь провожать? (Заочно.)

●

А я нынче утром «расходился» и шутоломствовал все время с семи до восьми. Говорил старческим ворчащим голосом, и непрерывно на «о», и при этом всевозможные глупости. Например, читал лекцию Марусе о пользе снегозадержания (это была недурная пародия на газетные передовые), рассказывал о своем путешествии во Флоренцию (фантазия в лицах) и чего только еще не говорил. Мама, которой редко приходится видеть меня в таком радостном и нестепенном возбуждении, сказала: «Это не к добру!» А оказалось — к добру. Это было перед письмами. Два письма, два письма!

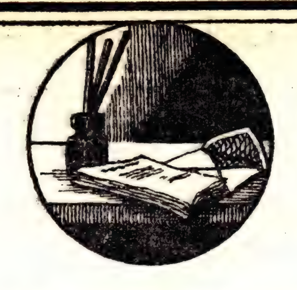
●

Я обещаю тебе заботиться о твоем счастье больше, чем о чем бы то ни было другом.

Я обещаю тебе приложить все силы свои к тому, чтобы сделать тебя счастливой так, как только может быть счастлив человек.

Я обещаю быть впредь неотступно преданным и верным тебе и прошу от тебя только одного: чтобы ты мне верила.

Я обязуюсь помогать тебе во всей твоей жизни и прошу от тебя только одного: чтобы ты просила меня о помощи.



«ВО ВСЕМ ЗАПЕЧАТЛЕТЬСЯ И ОСТАТЬСЯ...»

Стихи, дневники, письма, афоризмы 1939—1941 гг.

Чем ближе входил Кубанев в редакционные дела, чем полнее проникался заботами района, тем шире становился круг его друзей. Колхозники, студенты, учителя, школьники — в каждом он умел находить примечательное, каждого заражал своим беспокойным воинствующим оптимизмом, убеждая, что «любить мир — это значит желать изменить его».

Он часто бывал в школах и техникумах, интересовался театром, искусством. К этому времени из сельхозотдела редакции его переводят в отдел культуры.

Все заметнее тянулись к нему новые друзья. Приходили в наш дом братья Черновы — увлекавшийся живописью Слава и поклонявшийся поэзии, театру Георгий. После работы Вася часто приходил вместе с Борисом Стукалиным, сотрудничавшим в те же годы в «Новой жизни», а также с Иваном Толстым.

Иван Ефремович Толстой рассказывал:

«Когда для оформления газеты нам понадобились новые иллюстрации, он предложил мне вместе дойти до редакции, находившейся недалеко от педучилища. Дорогой мы шутили, а когда подошли к зданию редакции, Вася неожиданно сказал:

— Сейчас попробую представить тебе каждого сотрудника через слово «хочу».

Сотрудников в такое позднее время, конечно, не было, и дерзкая характеристика их была известна только нам двоим.

— Здесь сидит заведующий отделом культуры, — показал Вася на один из столов, — работает он так: «Хотел бы хотеть, да не хочется». Заведующий сельхозотделом, за соседним столом, выглядит таким: «Не хочу, но если захочу, все перестрочу!» А за этой дверью наш редактор: «Я хочу, чтоб все хотели, как я хочу!»

— Ну а ты как выглядишь через слово «хочу»? — спросил я его.

— Чем больше ем, тем больше есть хочу, — посерьезнел Кубанев, подразумевая свой постоянный интерес к книгам, на приобретение которых уходили не только гонорары за стихи, но и значительная часть зарплаты».

С воспитанниками Острогожского педагогического училища дружба у В. Кубанева была особенно крепкая. Там он знал почти каждого. Ему были близки и дороги заботы и мечты будущих учителей, со многими из которых у него оказалось так много родственного. Эта дружба оставила весьма заметный след и в прозе и в поэзии В. Кубанева.

Бывшие выпускники 1940 года, надо думать, на всю жизнь запомнили последний вечер в родном училище. После традиционных речей и напутствий педагогов выступил их общий любимец и товарищ. Василий выглядел необыкновенно торжественно: специально к этому событию был куплен шерстяной костюм (до этого он всегда ходил в хлопчатобумажных брюках и сатиновой косоворотке). Вася очень смущался своей парадностью. Но грусть о друзьях, разъехавшихся в разные края, помогла преодолеть стеснение, и он с волнением прочитал одно из лучших своих стихотворений «Расставание студентов».

В напряженной тишине звенело напутствие:

Нас ветер путешествий обожжет,
Нас тошный дождь промочит до костей,
Метель нас будет, как ребят, свивать,
Но мы не остановимся, не сядем,
С дороги не свернем и не захнычем.

Мало кто знал, что для Кубанева слова «мы», «нас» в этих стихах не просто знак единодушия с друзьями, но твердое решение ехать учителем в сельскую школу. Не знала пока об этом решении наша семья. Не догадывались и участники августовского учительского со-

вещания, на котором хорошо известный учителям своими статьями на педагогические темы Василий вскоре выступил с речью, написанной стихами здесь же в зале.

В ответ на полемические строки о высокой ответственности учителя за судьбу каждого ребенка в зале послышалась реплика:

— Попробовал бы сам!

— И попробую! — отозвался брат, зная, что уже подписано его назначение учителем в начальную школу на хуторе Губаревка.

В эти дни Вера Клишина была в Острогожске на каникулах и всячески помогала брату готовиться к новой работе.

Все, что накуплено было, они вместе отправили в Губаревку. По дороге Вася обсуждал с Верой свои замыслы, как учить, как жить в селе. Но высказать сокровенное желание свое, чтобы Вера была рядом, помощницей, единомышленником, он не решился при встрече. И только 3 сентября в самые напряженные дни своих учительских начинаний он написал об этом в дневниковой тетради: «Я мучительно жалею, что ты не со мной и что я не могу тебе (не могу даже другому кому) поведать обо всем, что переживаю сейчас сам... Летом, когда приедешь ко мне, будем вместе работать над большой статьей о воспитании».

Зарисовки, набрасываемые в дневниках и письмах, отсылаемых в адрес Веры, могли послужить вехами для этой статьи.

Молодому учителю нужны были советы, одобрение или критика его экспериментов, новых мыслей о воспитании детей. Короткими, яркими эпизодами из своих школьных наблюдений он делится с читателями «Новой жизни». А о поисках, сомнениях, раздумьях над трудом педагога он пишет Ивану Толстому, работавшему в сельской школе учителем математики, и Тане Дешиной, преподававшей литературу в селе Готовье.

Но учительствовал Василий недолго. Очень скоро он понял, что его стремление учить детей по-своему, не считаясь с многими традициями, вступает в противоречие с существовавшей в то время системой обучения, и это могло отрицательно сказаться на учениках, их судьбе. После нелегких размышлений и внутренней борьбы было принято неизбежное решение — передать классы в руки другого, опытного и чуждого косно-

сти учителя, а самому вернуться в газету. В самом конце 1940 года он сообщает друзьям: «Я опять газетствую».

И снова Василий в центре общественной жизни города, снова можно было видеть, как он проносится своей стремительной походкой по улицам. Как и прежде, брат стал частым гостем колхозников и рабочих, студентов, учителей и культпросветчиков. С еще большим интересом он следит за всем, что происходит в мире. Еще звонче и призывнее звучат его исполненные высокой гражданственности поэтические строки, все более зрелыми и глубокими становятся его статьи, фельетоны, очерки.

Многие стихи тех дней пронизаны мыслью, что «будни борьбы бессонны», его тревога за судьбы родной страны, судьбы мира ощущается остро, отчетливо и в письмах и стихах. Надвигался 1941 год.

Умом и сердцем чувствовал поэт, что вот-вот разразится война...

«Что делать?» — с таким вопросом к самому себе и ко всем обратился вбежавший домой Василий 22 июня.

С ним был один из выпускников педучилища, только что сдавший государственные экзамены. Они метались из комнаты в кухню и обратно.

— Идем на завод! — предложил Вася. — Там будет митинг.

Здесь созрело и решение. После митинга они отнесли заявления в военкомат с просьбой направить их в действующую армию.

В номере «Новой жизни», который вышел на следующий день, под карикатурой, изображавшей фигуры фашистов, прижатых кулаком рабочего, были помещены новые стихи Василия. И очерк «Настенька», о девушке, пришедшей в военкомат с просьбой направить ее на фронт.

Вскоре на фронт ушли многие друзья Василия. Направлен был в авиационное училище и брат, где готовился стать стрелком-радистом. Вернулся тяжелобольным в январе 1942 года. И снова — в газету. Друзьям почти не писал: редакционная работа поглощала его целиком. Еще не окрепшего, его трудно было удержать дома. В стихах последних месяцев жизни (они утрачены почти полностью) особенно твердо и глубоко выражалась соединенность его мыслей, действий с судьбой Родины.

Как будто Ленин с нами рядом
Шагает с винтовкою на плече... —

пишет он 22 января 1942 года.

Именно в этой соединенности была причина его победы над смертью, причина того, что его мысли продолжают жить до сих пор.

Умер брат 6 марта 1942 года. Рядом была мама. Она слышала его последний тревожный вопрос: «Что делать? Что делать?» Она уже ничем не могла ему помочь.

С этой утратой не могли примириться и его друзья.

С их помощью кубаневские строки снова «пошли в наступление», его имя стало дорого молодому читателю, и сам он остался в строю бойцов за коммунизм.

Сердечно отнеслись к памяти своего поэта комсомольцы Воронежской области. За счет средств, заработанных на коммунистических субботниках, решено поставить памятник Василию Кубаневу в городе Острогожске. В 1967 году Воронежским обкомом ВЛКСМ учреждена премия имени Василия Кубанева для творческой молодежи. В числе лауреатов этой премии — молодые поэты, композиторы, журналисты, архитекторы, танцевальные и хоровые молодежные коллективы.

В ряд известнейших литературных талантов, чье творчество связано с историей Ленинского комсомола, поставлено и имя Василия Кубанева присуждением ему диплома и мемориальной медали конкурса имени Николая Островского в 1968 году.

Ко всему поколению советской молодежи, вынесшей на плечах своих суровые испытания Великой Отечественной войны, а не только к самому поэту обращены строки Василия Кубанева:

Не жить я не страшусь.
Мне суждено
Во всем запечатлеться и остаться.
Я не умру;
я умереть не в силах.
Я перестану произвольно двигаться,
Но быть
не перестану никогда!

КРАСНАЯ ЗВЕЗДА

«Твоя межа» —
«моя межа!»
Выси нависли
тяжкими тучами.
Державы сцепились,
дрожа и визжа,
Своры пушек
с привязи спущены.
Взрывы клубятся,
темны и кру́ты,
Под ними
поленьями в жаре печей
Городов догорают
дымные груды,
И дети задыхаются
под грудами кирпичей.
Бомбы воют,
вгрызаясь в камень;
На берег вскарабкался —
дальше крой.
Но валятся в пропасть
полки за полками,
Окрашивая океаны в кровь.
Радио рыдает.
Мачты исхудалые,
Словно руки матерей,
в немое небо взмолены.
Отупевшие, усталые,
Смотрят в сумерки
сумрачные воины.
Близок день —
они бинты сорвут,
Кровью вымоченные живой,
И, как флаги,
размотав, взовьют
Над израненной головой.
Кровь у всех красна.
У чернокожих тоже,
В этом усомнятся ли навряд.
И у этих, и у тех
на загрубелой коже

Раны,
Словно звезды красные, горят.
Нам не млеть,
                    империй силой удивясь.
Хочешь мира —
                        в тире лоб мишени выбей.
Всем буржуям не по нраву
                                    наша власть,
Их владычеству
                        открытая погибель.
Золото для всех звенит.
Его сиянья ради
Снюхаются все
                        промеж собой враги.
Будь готовым
                    встретить эти рати!
Каждую травинку береги!
. . . .

●

Ты думаешь, мне каска не к лицу
И плотная шинель не по плечу?
Ты думаешь, что я в прямом строю
Сутуловатость окажу свою?

Тебе порой бывает невдомек,
Как от бумаги легкой я далек.
Ты думаешь, что я не запою
Отдельным голосом в густом строю?

На первый взгляд, затем ли надо жить,
Чтобы ружье, как греческий, зубрить?
Ты думаешь, в стреляющем строю
Я не сломлю застенчивость свою?

Тебе тревожно: все, чем сам я жил,
Распотрошит казарменный режим.
Ты думаешь, что в боевом строю
Я разверну несдержанность свою?

Ты думаешь, насильственный расчет
Мою раскидистость перетолчет?
Ты думаешь, в шагающем строю
Я позабуду выдумку свою?

Не беспокойся.
Разве можно
жить
И насовсем о будущем забыть?
Поверь, мой друг,
в решительном строю
Я выявлю запальчивость свою.

Я вспомню то, что дома за столом
Кропал своим бесхитростным пером.
Мой друг,
и ручку и тетрадь свою
Держать с собою стану я в строю,
Чтоб помнить всюду,
до какой строки
Дописаны заветные стихи,
Чтобы спокойным выстрелом в бою
Закончить песню новую свою.

ОСЕНЬ

Озноб осенний землю жжет,
Гудят багровые дубравы,
Горят их яркие обновы,
И вот уж лес, как глина, желт.

Расшибла буря гнезд венцы,
В лепешку смяв в припадке диком.
Несутся птахи с хриплым криком,
Покинув милые дворцы.

То в высоту, то с высоты
Летят с закрытыми глазами,
Ломая крылья вдруг кустами,
Ломая крыльями кусты.

А полымя взахлест летит,
Обгладывая жадно кроны.
Пылает каждый клок зеленый,
И каждый лист горит, горит...

СЕДЬМОЕ НОЯБРЯ

А с чем же мне наружу вылезти?
А что же мне сегодня вынести
И пронести над головой?
Чтоб, не стыдясь, со всеми нашими,
Себя впервые распознавшими,
Пройти в рядах по мостовой.

Вот они, вот мои знакомые!
Плывут, знаменами влекомые.
Мне дорога их страсть и стать.
Я сам хочу таким усвоенным,
Соединенным, а не сдвоенным,
Таким простецки дивным стать.

Они обновками не хвастают.
Они вздымают стяги красные
Умелым взмахом дружных рук.
И стоит лишь движенью на́чаться —
Как сразу ж в каждом обозначится:
Кто он — противник или друг?

Я встану где придется. Кажется,
Мое беспутство здесь не скажется:
У всех рядов шаги одни,
Слова и песни те же самые,
И направленье то же самое,
И все между собой — сродни.

Мне эта теплота слияния —
Как после тяжкого линяния
Вновь наступивший прочный цвет.
Мне эта радость только грезилась,
Она во мне все время гнёздилась
Неощутимо, как во сне.

Нет. Я хочу обресть уверенность,
Определенность и размеренность —
Такую, скажем, как у тех,
С кем я качусь сейчас по улице,
Чьей силою мой дух волнуется,
Как самой близкою из тем.

Вот в этой плавной, бравой поступи,
Вот в этом ясном, сладком воздухе,
В глаза мне льющемся, слепя, —
Как лазаретник, нывший ранами
И поднятый уходом на ноги,
Я чую заново себя.

Все это я, как груз на станцию,
Втащил в себе на демонстрацию
Через блужданье, тряску, смех.
И этот сызнова изваянный,
Еще слежалый и извалянный
Мой облик — главный мой успех.

С годами, верх беря над болями,
Стройней, объемистей и подлинней
Пусть станет шествье душ и тел.
Пускай моя к нему приверженность
Вскипается не в блестках нежности,
А в блеске небывалых дел.

1939

ДЕНЬ ВЫБОРОВ

Расступается ночь, и рассвет на столбах дымовых
Подымается, свежий и крепкий, все выше и выше.
Еще солнечный блеск на холодных снегах не обвык,
Еще лампы желтеют, и кроется сумрак под крышей.

А на улицах люди, и мне их нетрудно узнать:
Будто внутренним пламенем залиты ясные лица,
Будто этого дня драгоценный и чистый хрусталь
И от них и от солнца сплоченно обязан явиться.

Я шагаю, волненьем всеобщим слегка опьянен.
Вот такой же походкой, с таким же вот
сердцебиеньем
Люди Кремль посещают, когда их зовут на прием,
И знакомое снова является им, как приезжим.

Никогда нашим стягам еще не случалось так ярко
пылать,

И меня от значимости их, от их радости красной
Подмывает со всеми познаться,
и каждому руку подать,
И сказать ну хотя бы простое,
из сердца восплывшее «Здравствуй!».
В этот миг я, как с вышки,
представлю,
постигну,
пойму

Рослый шелест лесов, бесконечную спешку обозов,
Напряженье «Седова» и стройные пальмы в Крыму
И гуденье столбов, и ключа телеграфного пóзыв,

Апельсины в тайге, вперерез холодам и зиме,
И восторг лаборантов, и здравую розовость детства,
Возведенье домов, копыхание зерен в земле,
Всю законность и боль
превзойденного нами наследства,
Колыханье морей, удивленье седых стариков,
Самолеты бесстрашные, реющие по лазури,
И соцветье различных, но общих стволов языков,
Перекричку гудков (и они, и они голосуют!).

Эту жизнь,
восходящую над горизонтами лет,
Я всей кровью и мыслью своей
поддержать и возвысить желаю.
Мой черед подойдет. Я конверт опущу, как обет,
В нем, как клятва, моя запечатана радость живая.

Я взлететь бы хотел, я завидую птицам чуть-чуть,
Я глазами б увидел мое необъятное благо.
Что ж, что я не крылат!
В это утро как будто лечу
Я на крыльях торжественных маршей и флагов.

1939

ИДУТ В НАСТУПЛЕНИЕ СТРОКИ

Стихоплет,
довольствующийся поэзии задами,
Копающийся
в мусоре древних куч,

Как куренок дождя,
страшится заданий

И прячется
в сумрак
лирических кущ.
И рифмует
изысканно шевелюристый
лирик:
«Счастье — ненастье,
Пегас — Парнас».
Но чёрта ли в ней,
в этой самой лире,
Если она
не поет про нас!
Выйдите к небу,
оградки сломав,
Здесь
ветер истории дует,
своим языком
сама
Заданья
поэтам диктует.
Ее ли прививок,
ее ли тревог,
Ее ли уроков
бояться?
Неужто приятней
глядеться в трюмо
Публично-приличным паяцем?
Лицо как яйцо:
ни глаз, ни рта.
Сплошная белесая круглота.
Откуда страстям
в нем явиться?
Ну разве он сможет
заставить атаку
Жарче и крепче литься?
Ну разве он может
быть для меня
Наставником,
спутником,
лекарем?
Ну разве ж он в силах
меня поднять

Своим залихватским теканьем?..

Не стану вымучивать
зряшных словес.
Пусть сами
чувством выводятся.
Стихи —
не ватага нарядных повес.
Стихи — это грозное воинство,
Одним устремленьем,
истоком одним
Сплоченное
в тесную лаву,
Спешащее ринуться
в грохот и дым,
Нигде не спрокинувшись
набок.
На их оснащение
мне не жалка
Любая сердечная трата.
Пусть в буквах таится,
как сила в штыках,
Несносная острая правда.
Пусть лоском не ластится
стих мой к глазам,
Не блещет
красивостью вышитой —
Зато
все то,
что я сказал,
Из самого сердца выжато.
Пусть шагом
спокойно широким, —
От мощи своей легки, —
Идут в наступление
строки,
Как праведные полки.

О МОЕМ ГЕРОЕ

Как мой герой себе прискучил!
И мне прискучил. Вечно шал,
Немножко зол, немножко ал

В бенгальском блеске
фраз трескучих.

Как мой герой меня изводит!
Он — неживой, а я — живой.
Я жду его, зову его.
Когда ж явиться он изволит?

Как мой герой меня пленяет!
Он мой и вместе с тем не мой.
Между прохожими и мной
Он запросто себя вклиняет.

Как мой герой со мною резок.
Я мысли сам поразолью
И на него вину свалю:
Он не обидчив, хоть и дерзок.

Как мой герой со всеми родствен
Хоть тем, что непохож на всех,
И тем, что огорченный смех
Его сопровождает в росте.

Как мой герой везде влипает,
Во все влюбляется, всему
Дает советы, и ему
Звенит приветом вещь любая.

●

Щедрин вовсю живехонек,
И бодр, и не сутулится.
Вышучивает походя
За шторками, на улице.

Годочков через тысячу
Померкнут книжек тысячи,
А он все будет выситься,
Из дел и плоти высечен.

Сколько б дрянья ни вымелось,
А чуточку останется.

Пока старье не вывелось —
Сатирики не старятся.

1939

ПУШКИН В ССЫЛКЕ

Неужели и ты вдруг стал
Благопристоен и стар?
Твой тоскою искусанный мозг
Наплывает слезой к очам,
Словно этот вот постный воск,
Словно эта слепая свеча.
Вьюга воет и ставни рвет,
Пушкин ворот руками рвет,
Пушкин в пальцы перо берет,
Пишет — черкает, пишет — рвет

Если б этот вот скрип пера
(Он похож на сердечный стон)
Вьюга вынесла со двора
И до всех донесла сторон.
Если б в грозный рев перерос
Этот сдавленный скрип пера
И до всех бы людей донес,
Что чему-то пришла пора!
Если б этот вот стон пера
Обратился в набатный звон,
Возвестил бы, что встать пора,
И стряхнуть с себя слабый сон,
И рассеять постыдный гнет...
    Пушкин думает, мажет, рвет.
Неужели взаправду стар
Ты, мой буйный увалень, стал?
А в младенчестве как была
Снеговая гора крута!
Сани сами — без крыла —
Вылетали за ворота
И летели наперекор
Перевалам высоких гор,
И нечаянностью вдруг
Перехватывало дух.
Так зачем же, зачем же он,
Тот мальчишеский разворот,

Превратился в застольный стон!..
Пушкин лист исписанный рвет...
Через определенный срок —
Ну хотя б, например, через век,
Кто узнает, каких же строк
Не сберег этот человек?
Но затем-то и надо жить,
Но затем и годы прошли,
Чтобы те, кому после быть,
Уничтоженное прочли
В том, что к ним сквозь лета дойдет...
Пушкин пишет, пишет и рвет...

1940

●

Не говори ни слова!
Наша в молчаньи честь.
Разве сумеет слово
Этот огонь донесть?

Вылетит слово дымом,
Пустится наискоски
И пронесется мимо,
Порванное в куски.

И в синеве растает,
Кинувшись через лес,
Пашнями и мостами
Поезду наперерез.

Не говори ни слова!
Не разобрать все равно.
Вижу, словно с перрона,
Через сырое окно:

Губ твоих внятный ропот,
Рук твоих ясный плеск,
Дум твоих тайный шепот,
Глаз твоих близкий блеск.

1940

●

Весь век вздымаешься,
дрожишь,
паришь
И мечешься, желая выше
взвиться.
Есть на земле Париж,
исславленный Париж,
Есть так же где-то
некий город Ницца.
Но пусть мне
смехом знатоки
грозят.
Не посещу
я этих чудных камней,
Пока не заведутся там
друзья
С такими же, как
у меня, руками.

1940

ФРАНЦИЯ

Из книжек ли или еще откуда
Вошла в меня Франция — легкая, славная.
И я позабыл, наважденьем окутан,
Про самое видное, про самое главное —
Про то, что там все не так, как здесь,
Что там еще прежнее новостью буднится.
И то, что у нас как обычное есть,
Там лишь через кровь, через время сбудется.
Обманов красивых себе не прощу.
Мальчишкой в крапиве я сиживал часто
И вкладывал ум свой в мечту, как в пращу,
Чтоб было ему сокрушительней мчаться.
Я очень любил голубые сады,
В дожде замиравшие, как в ожиданьи,
Дома, разомлевшие от красоты,
Как от воспоминаний внезапных и давних.
Я мал был, но жизнь поднимала меня,
И я не запутался в тропочках узких.
За тысячу б Франций я не променял
Родимость небес и земель своих русских.

В досадном досуге я был, как в дыму,
И грезил о всем, о несбыточном — тоже.
Мне скучно было в тесном дому,
А до выхода я не дошел, не дожил.
С ростом покорности стерся налет,
Я стал неподатливым, взрывчивым, резким.
Я в сад выбегал, как в коньках на лед,
И творил отдаленнейшие поездки.
Я не знал мечте ни места, ни цену,
Я незнанье выдумкой короновал.
И цветилось: Франция — чудесная сцена,
И крутилось: Париж — сплошной карнавал.
Прозрачное лето качалось над вымыслом,
И песни лились по зеленым коврам,
Хотелось в них кинуться, вымыться, вынуться,
Чтоб робких привычек отпала кора.
Мосты изгибались задумчиво-сильные,
В открытом окне веселился халат,
Каштаны шумели, густые и пыльные,
Шли чистые дети, жуя шоколад.
Бульвары бурлили, смеялись, спешили,
Музеи громадились, жар полыхал, —
И в этой-то Франции жили чужие,
И жили не так, как я полагал...

. . . .

...Мной в выдумках силы толковые правили,
Но слишком уж я завираться нача́л.
И я, чтоб проведать все глубже и правильней,
Французский язык изучал по ночам.
Азартом душась и прилежностью мучась,
Я жегся о книги, но бросить не смел.
Разна их причина, обложка и участь,
Но в каждой тепло затаилось и свет.
Мелка и мертва ученичьих грамматик
Почтеньем держащаяся зола.
Поклявшись не трогать и не раскрывать их,
Я вперся невежливо в том Золя.
Моя голова от невнятности пухла,
И я, подобраться не чая к концу,
Четко чеканил за буквою букву,
Премило картавя, как истый француз.

С прононсом дела обстояли похуже.

Но чтоб офранцузить упрямый свой нос,
За насморком насморк ловил я на стуже
И скоро завел настоящий прононс...
. . . .
. . . .
. . . .

1940

МОЛЯЩИМСЯ ФРАНЦУЗАМ

27 мая 1940 года в Париже публично была выставлена икона святой Женевьевы, покровительницы Парижа, который она будто бы спасла от полчищ Аттилы.

Встаньте! Не трите колен
об исхарканные панели!
Ваш вездесущий, всезнающий
и всемогущий бог
Все равно не услышит
ваших унылых молений.
Он ослеп от пожаров
и от залпов оглох.
Остановитесь, вспомните:
где-то в окопах близко
Ваш отец, или родственник,
или сердечный друг
Тоже тянется к небу,
но не может молиться
За неимением самых
обыкновенных рук.
Он потерял их в схватке,
чтоб доказать свою удаль,
Чтоб сохранить над страною
чью-то монетную власть.
Биться выгнутой грудью,
рухнуть мокрою грудой,
Все перебрать перед смертью,
уразуметь и проклясть.
Что ему в Женевьеве
и в песнопеньях латинских,
Что ему этот блестящий,
поднятый кверху крест,
Выплавленный из золота,
точно так же, как вилки,

Те, какими епископ рыбу и мясо ест?
Что ему в наступающей
тихой, загробной сени,
Если вся жизнь уходит
в землю, как давний след?
Вся его слава и сила,
вся его честь и спасенье
Были в руках, а руки...
Рук уже больше нет.
Дать бы ему винтовку —
он теперь сразу нашел бы
Подлинных верховодов,
главных зачинщиков зла.
Он бы крикнул: «За мною!» —
и устремились бы толпы,
И захлестнули б и смяли
тех, кто их в бой послал.

Встаньте и выпрямьте спины!
Вот где их вражеский лагерь!
Прежнею «Марсельезой»
снова наполните рот.
Пушечных зарев полотнища
располосуем на флаги,
Пусть поднимается новый,
самый великий фронт!

Мир постепенно становится
у капитана гаремом.
Нам ли отдать туда Францию —
нашу любимую мать?
Рвите замки с арсеналов,
труженики Ангулема,
Вашим порохом можно
тысячи биржей взорвать.

Встаньте! Не верьте, что девушкой
был остановлен Аттила.
Это соборные бредни,
заупокойная нудь.

Он отошел потому лишь,
что у народа хватило
Страсти, старанья и силы
полчища вспять повернуть.

Встаньте! Сотрите неправду,
    ложь растопчите сами,
Стройтесь шеренгами ровными,
    выпрямленны и стройны,
Взвейте свое рабочее,
    кровью облитое знамя, —
Это и будет знамя
    вашей родной страны.
С ним вы сумеете выдержать
    всякое наступление,
С ним великаном станет
    самый невзрачный солдат...

Вот о чем из окопов,
    наперекор моленьям,
Раненые, умирая,
    сами с собой хрипят.

1940

БАРБЮС ЖИВЕТ

Улица Барбюса в Париже переименована.
(Из газет)

Париж скрывался от тревоги,
Как при погоне лиходей
Бежит вслепую, без дороги,
К чужим калиткам от людей.
Окошек мертвые глазницы
Прохожих приводили в дрожь.
Такая жуть во сне приснится,
Что и подушку изгрызешь!
Снег, словно саван, лился, рушась
Потоком легким и густым.
Одевшись в снег, невнятный ужас
Бродил по улицам пустым.

В ту ночь, за сотню франков куплен,
Один служака из ворот
Скользнул наружу, как из кухни
Шалава сытая идет.
Он ожиреньем сердца болен,
Уют приятный у него.
Ему велели — он исполнил,

Не изменяя ничего.
Быть может, на своей кушетке
И он когда-нибудь стонал
От слов ядреных, метких, едких,
Которые Барбюс сковал
В сплошную льющуюся лаву.
Быть может, у себя внутри
И он слагал святую славу
Неутомимому Анри,
И он склонял свою плешину,
Чтобы почтить горячий прах
Того, кто вел во весь размах
Борьбу с торгашеским режимом.
А нынче — стоило скользнуть
Военной тени где-то в доме,
Он осмеял свой прежний путь
И сжег Барбюса красный томик.
Вот он идет, как манекен,
Опилки злого кашля сея,
И, спотыкаясь и краснея,
Не замечаемый никем,
Он вынул доски из кармана,
Он вынул гвозди из кармана
И гвозди в зубы положил,
Посожалел, что росту мал он,
И доски к стенке пригвоздил.

И на заре, в разгар базара,
Увидел чей-то свежий взгляд:
На серых заспанных фасадах
Названья новые висят.
Прошел мальчишка с пачкой книжек.
Прошел старик за ним вослед.
Остановились. Ближе. Ближе.
Хотели крикнуть — силы нет.
Приштопаны таблички наспех.
На каждый дом, на каждый дом.
Но шевельнись — и будешь распят
Жандармом, скрытым за углом.

В мундирах красочных и узких
Жандармы стражами стоят.
У бывших русских и французских,
У всех жандармов схож наряд,
У всех жандармов одинаков

И интерес, и вкус, и ус.
Негодованья ярким знаком
Их метил всех подряд Барбюс.

Зато и мстят остервенело
Они ему теперь вдвойне.
Набатом мысль его звенела
По всей родимой стороне
И перекатывалась бурей
По остальным краям земли.
Прохожие всемирных улиц
Его труды в руках несли.
Им восторгались и гордились,
Внедрить в тупые будни силясь
Его блестящие слова.
Неумирающе жива
Его пленительная сила,
Его рокочущая страсть.
И можно растоптать могилу,
Но доблести нельзя украсть;
Замазать имя тушью черной,
Страницы скомкать,
Свесть и сжечь,
Но будет пламя, словно речь,
Греметь и петь во тьме позорной,
И будут книжный жар подростки
Тайком в свои сердца вбирать,
Идти с речами на подмостки,
На баррикады — умирать.

Настанет день, и обыватель
Свой подлый образ вдруг поймет
И, подыхая на кровати,
Себя, быть может, проклянет
За то, что душу, словно тушу,
Освежевал и запродал,
За то, что был отцом и мужем,
А детям радости не дал.

Промчится время грозным шквалом,
Все дряхлое с земли снесет,
И жизнь людская зацветет
С одушевленьем небывалым...
Барбюс стоит, велик и светел,

Как рослый дуб у мрачных плит.
Его шумящего бессмертья
Ничто на свете не затмит.

1940

РАССТАВАНИЕ СТУДЕНТОВ

Сегодня мы веселою гурьбой
В последний раз по гулким коридорам
Пройдем, как моряки перед отъездом
По палубе родного корабля.
И каждый в одиночку, в легких лодках
Отправится к заветным берегам.

Что ожидает нас?
Что будет с нами?
Нельзя узнать.
Но нам одно известно:
Что мы не затеряемся в волнах.
Куда б ни принеслись, ни вышли мы —
В просторные пустыни Казахстана,
В карельские болота, в тундру, в горы —
Повсюду небо голубое есть,
Хоть час в году,
                        повсюду люди наши
С такими ж паспортами, как у нас.
И как бы ни разнились языки,
И как бы ни чудна была одежда —
У всех у нас одно желанье:
Счастье для всех людей.
У всех у нас одни дела и мысли,
И во всех селеньях
Над крышами пылает красный флаг,
На праздниках знакомые знамена,
И солнце есть на всех гербах республик,
И в зданиях бессонных исполкомов,
Не угасая, пламенеют окна.
И в ночь и за полночь —
Стучись, входи,
Выкладывай свои соображенья.
Тебя поймут и на ноги поставят
Твою запальчивую правоту.
Тебе подставят стул, протянут руку,

Придвинут лампу к твоему лицу.
И, выйдя на крыльцо, ты вытрешь лоб
Рабочим рукавом своим, и станет
Тебе вдруг нестерпимо хорошо,
Как будто ты беседовал с судьбою.

Что ж, что не все еще дороги прямы!
Будь сам прямым и напрямик иди.
И непременно на дорогу выйдешь.
И спутники найдутся.
Ну а если
Не встретишь никого или столкнешься
С глупцом, с сутягой, с грубияном вдруг?!
Я знаю, как несносно тяжела
Дорога к человеческой душе,
Я знаю, как палящи страсти сердца
И как бессильна смелость иногда.
Тогда готов взорваться каждый миг
От постороннего прикосновенья,
Как от цигарки склад пороховой.
Тогда, перетрясенный до корней,
Бредешь к окраинам, и слепнешь в горе,
И слизываешь слезы языком
С обветренных дрожащих губ.
Я знаю,
Как отвратителен тогда покой.
Но все-таки себе наперекор
Ты валишься в кровать, как в жаркий бред,
Ты засыпаешь и, проснувшись, видишь,
Что ты ослаб и болен.
Не тужи. Любой из нас, кого ни позови,
Мы все к тебе приедем с первой почтой,
И у твоей постели посидим.
И раны перевяжем, и расскажем
Тебе о том, что приключилось с нами.
И будет тот бесхитростный рассказ
Целебнее микстур и порошков.

Ты вспомни-ка, какими были мы
Под потолками каждодневных классов
(Теперь уж в партах тех нам не усесться),
Какими забубенными порой
Вставали мы в глазах учителей,
С каким доверьем простирали руки,
С каким упорством лезли на забор,

Чтоб прыгнуть в сад, на общий карнавал.
Не потому, что пуст карман. О нет!
Скорее из простого озорства,
Чтоб доказать себе, что мы не трусы.

Нет, нет, мы никогда не снизойдем
До жалких жителей глухих домов,
Судачащих и день и ночь о том,
Что соль подорожала и что дети
На улицу бегут, недообедав.
Нет, нет, мы никогда не пересохнем,
Подобно рекам выжженных пустынь,
Мельчающим и заносимым сором
И вскоре исчезающим совсем.

Пускай из труб вылазит черный дым,
Пусть валятся деревья с жалким хрипом
От старости под бурей мимолетной,
Пускай мороз рыпит во все меха —
Откинь искомканную простыню,
Набрось пиджак и подойди к окошку.

За инеем ты видишь ли дорогу?
По ней, засвистывая на ходу,
Летят осатанелые составы,
И пар идет от раскаленных рельсов,
И где-то ночь, а где-то только утро.
Поет акын под рокот стройных струн
Простые незаписанные песни,
Растут постройки,
Строгий педагог
Проходит меж притихшими рядами
И смотрит через плечи детворы
На первые каракули.
Ему они, конечно, в сотни раз милей,
Чем летописи древних грамотеев.
Медлительно колышутся верблюды,
Ползут автомашины по ухабам,
Несутся сани по сухому насту,
И на рогах оленьих — бахрома
От снега, и возницу по глазам
Пурга стегает, как песчаный вихрь.
Над кряжами Урала, как пожар,
Блестит дыханье домен. Из Москвы
По всей земле разносят волны

Отчетливые, близкие слова,
И бой часов звучит сердцебиеньем
Столицы.
Мы с тобою всякий час.
Мы слышим тот же голос, тот же звон
В одно и то же время и часы
Сверяем, как красноармейцы строй.
Сегодня мы прощальною походкой
Пройдем по комнатам и коридорам
Из двери в дверь. Вот через эти окна
Для нас открылся многозвучный мир,
Как пруд в полдневный час,
Когда туман рассеивается, и видит глаз
Сияющую гладь и лепесточки
Растительности на глубоком дне.
Вы слышите: грохочут поезда
По твердым магистралям, и разлуку
Вылязгивают глухо тормоза.

Не вешайте голов, друзья мои!
Нас ветер путешествий обожжет,
Нас тошный дождь промочит до костей,
Метель нас будет, как ребят, свивать,
Но мы не остановимся, не сядем,
С дороги не свернем и не захнычем.
И если, пробираясь через рощи,
Мы потеряем тропку — не молчите,
Запойте песню, и ответит чаща
Разнообразным пересвистом птиц,
И ветка, по лицу задев, напомнит
Друзей прощальное рукопожатье.
И вы почуете тогда невольно,
Что тропка где-то там.
                                        Так на рассвете
Ты слепо ощущаешь пробужденье,
И протираешь кулаком глаза,
И видишь, что погода хороша,
Как день перед назначенным свиданьем.

До скорого свидания, друзья!
Мы снова встретимся, и не однажды.
А обитая в разных сторонах,
Услышим друг о друге от других.

1940

НАШЕ ОТЕЧЕСТВО НАС ЗОВЕТ

(Из выступления на районном совещании учителей)

Государство
гулом гудков оглашено:
Время берегите!
Дороже денег оно!
Каждой секундой,
как слитком золота, дорожа,
Следите за временем,
сами суток своих сторожа!
Горб государства
трудом крутым напряжен.
Труд любите!
Нас питает и радует он.
Труд — наша слава, наша доблесть и честь!

Выше труда —
что на свете есть?
Ясны и тверды
правительства указы:
Кто работает
рукава спустя,
Тот должен быть законом наказан.
В наше время пустяк — не пустяк.
Помни, учитель,
молод иль стар ты:
Ученики —
не географические карты.
Им не висеть,
онемевши словно,
Храня то,
что на них нарисовано.
Класс —
это зеркало.
Если ты
видишь в нем дурные черты,
Не поднимай понапрасну крик,
Ты видишь свой собственный лик.
Если ты знать
не будешь сам,
Как движется трактор
моторною волею,

Ученикам твоим
механики чудеса
Простительно не знать
тем более.
Пойми:
не всякому грамотею
Права учить детей даны.
Мы больше других людей потеем
За будущее своей страны.
Мы счастья ждем
не из-за морей,
Из собственных недр мы его извлекаем.
Так пусть же оно
возникает скорей,
Возносится выше
и ярче сверкает!
Чтоб нам не гореть
стыдом перед внуками,
Не падать пред ними
с повинной ниц,
Надо, чтоб в каждой разученной букве
Опору себе
находил коммунизм.
Слышите:
грохотом эшелонов,
гуденьем пропеллеров
в небе холодном,
Стуком станков и вспышкой домен,
Вдруг озаряющей завод,
На честный труд,
как на подвиг славы,
Наше Отечество нас зовет!
Метриками лет своих не меряя,
Не разменивая жизнь на ерунду,
Облеченные
в народное доверие,
Мы идем в передовом ряду.
Так будем же вожаками по делу,
А не только по званию,
Чтоб вечность над нами
ветрами гудела,
Шумя знаменами знания.

1940

МАТЕРЯМ

Сегодня ты выпрямишь спину опять,
Далекая, незнакомая мать.
Ночь Африки,
словно могила, черна,
На голый череп похожа луна,
И выстрелов грохот в тяжелой мгле,
Как заступ могильный, бьет по земле.
Так душно душе!
Но замри, не дыши!
Проснутся от вздохов твои малыши.
Бровями, губами и цветом лица
Похожи ребята твои на отца.
Он забран солдатом, затянут в мундир,
Его обижает чужой командир,
Ты знаешь лишь это.
Тебе невдомек,
Что муж в лазарете
без рук и без ног.
И если окончится гибельный бой
И муж твой живой возвратится домой,
Детей ему нечем поднять и обнять,
Ты плачешь заранее, бедная мать.
Нет, это не ночь,
это дым, это гарь
Закрыли, как плиты, весеннюю даль.
И дети, устав на груди колотиться,
Сидят, притаясь:
не промчится ли «птица»?
Да разве затем ты им жизнь дала,
Чтоб глупая пуля ее отняла!
Нет, сердце не в силах терпеть этот ад.
Пушки кричат,
дети кричат.
А ты, беззащитная, стоишь одна,
Проклятьем руки к небу вскинув.
Не землю давит болью война,
А твою усталую спину.
Небо — в зареве. Сердце — в огне.
И горе переплавляется в гнев.
Громче сирен и железного рева
Твой голос гремит над планетой суровой:
— Матери мира! Встаньте стеной!
В подвалах не жмитесь в трепете!

Всех, кто сегодня дышит войной,
Бесстрашно к ответу требуйте!

Ты встала над миром гордо и прямо,
Держа детей в усталых руках.
Они говорят,
и слово «мама»
Звучит одинаково на всех языках.

Март 1941

ВАЛЕ

Ты вздыхаешь в подушку, и тут
Сновиденья садами цветут,
И не счесть, и не счесть за окном
Алых роз на лугу голубом.

Вот ракетой, рассыпавшись, вниз
Покатилась одна, и горнист
Вдалеке за безмолвным холмом
Ей в ответ прохрипел петухом.
Он других будоражит собой;
Он живых созывает на бой.
Тут и там, тут и там за холмом
Все готовятся к схватке с врагом.

Из-за края земли сквозь туман
Краснобокий ползет барабан.
И солдаты — им все нипочем —
Бьют в него раскаленным лучом.
Толпы пеших и конных чуть свет,
Тучей пыли скрывая свой след,
Предстоящим кипя торжеством,
За твоим прогрохочут углом.
Провожая печально их в путь,
Ты не сможешь вторично уснуть.
И у двери и ночью и днем
Будешь ждать их в жилище своем.
Ты разыскивать ринешься их,
Неизвестных знакомых своих.
Тем корявым кровавым путем
Мы с тобой, спотыкаясь, пройдем.

Твою резвую жизнь сторожа
От чужого от злого ножа,
Я хочу в путешествии том
Послужить тебе верным щитом.
Но пока не собрались войска,
И секунда борьбы далека,
Словно елка, блестят высотой
Стаи звезд над густой темнотой.
Сон твой сладкий, последний храня
У преддверия бурного дня,
Я б хотел на окошке твоем
Зазвенеть на заре соловьем.

Май 1941

ТРЕТЬЕМУ «Б»

Посвящается 3-му классу «Б»
Острогожского педучилища

Блистать былинами будет «Б»,
Бессмертный,
беспокойный,
буйный.
Быть бесполезным боялся «Б».
Был баловен,
беззастенчив,
бесстрашен.
Богат балагурами был «Б»,
Бродили базарами, библиотеками бегали,
Били баклуши,
болтали без боязни.
Беспечным, беспутным
был «Б»? Басни!
Будут «Б»
благонравнее белых барашков,
Беспозвоночней белья,
бесшумней больных,
Беспомощней барышень, —
бывшего «Б» не будет.
«Б» — бывший?
«Б» — был, будет.
Бессмертен «Б»!
Бой благодушию!

Будни борьбы бессонны.
Брезговать бременем буден не будем.
«Б» — буква,
　　　　　　бьющая
　　　　　　　　　　барабанным
　　　　　　　　　　　　　　　боем.
Будьте большевиками, «Б»!

21 июня 1941

К НОГТЮ!

На каждой улице, в каждом доме:
«Севастополь»,
　　　　　　«Каунас»,
　　　　　　　　　　«Киев»,
　　　　　　　　　　　　　　　«Житомир».
Земля
Немало видала злодеев,
Злодеям привычно
　　　　　　　　сидеть за кустом.
Но эти, на нас нападенье затеяв,
Пред нами умильно виляли хвостом.
И вот продажных клятв цена:
Вокалы банкетов посольских
　　　　　　　　　　　　　　оттренькали,
Над нами сброшена война
С хищных крыльев
　　　　　　　　германских «хейнкелей».
Еще от Франции рук не вытерев,
Европу в тюрьму заперев на замок,
Осатанелые, дикие гитлеры
Над нами свой заносят сапог.
Но мы под чужую черную силу
Не склоним гордой своей головы.
Вы ищете места себе под могилу?
Ну что ж!
　　　　　　Это место получите вы.
Сперва картежник
　　　　　　　　всегда божится,
А если станет
　　　　　　　явной ложь
И не удается добром поджиться,

Он в дело пускает
разбойничий нож.
У берлинских игроков
Стиль игры точь-в-точь таков.
Но, выбив нож
из звериной руки
Зарвавшегося бандита,
Мы скажем:
«Довольно играть, игроки!
Ваша карта бита!»

22 июня 1941

СТАРИКИ

У советского народа —
Богатырская порода.
Человек живет два века
И пройдет огонь с водой,
А душа у человека
Остается молодой.
Кто герой, так сразу вот он,
У артели на виду.
И деды дают работу
С молодыми наряду.

Руки, ноги не ослабли:
Хоть сейчас в шеренгу стать,
И опять рванутся сабли
Над противником свистать.
Старых схваток не забыли:
Разметайтесь, вóроны!
Так кололи, так рубили —
Только щепки в стороны!

Храбрость — сложная наука.
Мы детей вскормили рать.
Ну а дети храбрость внукам
Постарались передать.
А теперь настало время
Постоять за честь земли,
В бой выходит наше племя,
Как и мы когда-то шли.

Только — сразу видно — ныне
Не минувшие лета:
Сами стали мы иные,
Да и армия не та.
Не с дубинкой в перебранки
Станет войско наше лезть —
Самолеты, пушки, танки,
Корабли у войска есть.

И пехота, взвив знамена,
В бой идет за рядом ряд.
Никакие легионы
Перед ней не устоят.
Будет нужно, мы в охоту
Стариной в бою тряхнем.
А покуда на работу
Поприлежней налегнем.

Нам ни хлеба, ни снарядов
У соседей не просить.
На своих харчах ребята
Вышли ворога косить.
Мы тут тоже не зеваем:
Кормим скот и косим хлеб,
Чтоб бойцы нужды не знали,
Чтобы фронт все время креп.

Будет вдоволь мяса, масла,
Вдоволь сала и муки.
Наша сила не погасла,
И легки в руках крюки.
Молодцы, старики!

Июль 1941

ТЫ ДОЛЖЕН ПОМОГАТЬ

Ты тоже просился в битву,
Где песни поют пулеметы.
Отец покачал головою:
«А с кем же останется мать?
Теперь на нее ложатся
Все хлопоты и заботы.
Ты будешь ей опорой,
Ты должен ей помогать».

Ты носишь воду в ведрах,
Колешь дрова в сарае,
Сам за покупками ходишь,
Сам готовишь обед,
Сам починяешь радио,
Чтоб громче марши играло.
Чтоб лучше слышать, как бьются
Твой отец и сосед.

Ты им говорил на прощанье:
«Крепче деритесь с врагами!»
Ты прав. Они это знают.
Враги не имеют стыда.
Стрáны, словно подстилки,
Лежат у них под ногами.
Вытоптаны посевы,
Уведены стада.

Народы в тех странах бессильны,
Как птицы в железной клетке.
Дома развалены бомбами.
Люди под небом сидят.
Дети бегут к казармам
И выпрашивают объедки,
Если объедки останутся
В котелках у чужих солдат.

Все это видят люди.
Все это терпят люди.
Зверь пожирает живое,
Жаден, зубаст, жесток.
Но недолго разбойничать
Среди людей он будет:
Наши трубы пропели
Зверю последний срок!

Отец твой дерется с врагами —
Тяжелая это работа.
Все люди встают, защищая
Страну, как родную мать.
У нее большие хлопоты,
Большие дела и заботы.
Ей будет трудно порою.
Ты должен ей помогать.

Июль 1941

МЫ НЕ ОДНИ

Берлинских бандитов берет зудеж:
«В России просторы —
богаче не сыщешь!
Сразу —
только на землю взойдешь —
В карманы сами полезут тыщи...»
Мы двинули силы к вражьему стану.
Мы стали стеной,
да не мы одни!
В забитых, закрытых фашистами странах
У нас легионы рабочей родни.
На черных дымных развалинах зданий,
Душой ненавидящей не хитря,
Люди
виселицу поставили
И надпись:
«Для Гитлера эта петля».
За нас голоса поднимают народы
Во всех краях,
на всех языках.
Мы к ним придем
и знамя свободы
Принесем им в своих руках.

Когда мы бились,
вы были с нами,
Одними словами горели уста.
Живите счастли́во,
под Красное знамя
Вместе с нами встав.
Ходите прямо, дышите легко
Все,
сгибавшие спины низко!
Это от Берлина до Москвы
далеко,
А от Москвы до Берлина
близко!

Июль 1941

АФОРИЗМЫ

Любить мир — это значит желать изменить его.

Познание — первый шаг к изменению.

Кто ничего не знает, тому кажется,
что он знает все.

Отрицающий истину обладает ею.
Лучше знать мало, но хорошо, чем знать
много, но плохо.

Каждую минуту все меняется, и я никогда не узнаю настоящего.

Если бы человек в восемнадцать лет чувствовал себя совершенным, мудрым Человеком в полном смысле слова — чем была бы его остальная жизнь?

«Терпение», — говорят мне. «Дерзость», —
отвечаю я. «Дерзость», — говорят мне.
«Терпение», — отвечаю я.

Давать — значит брать. Учить — значит учиться.

Человек отдает себя, свои силы, свои знания другим. Но от этого у него сил, знаний и возможностей не только не убавляется, а еще и прибавляется намного.

Самый опасный враг наш — мы сами.

В вечном беспокойстве, дерзании, поисках,
в вечном недовольстве самим собой и
своими делами — корень радости.

Живи каждый год и каждый день так, как
будто это твой первый день, твой первый год.
Не в силе правда, но в правде сила.

Именно потому и бессмертна жизнь, что смертно
все живущее.

Я живу, чтобы узнать, что такое вечность.

Каким создал ты меня, о мир мой, таким я и хотел бы быть созданным. Во мне не было ничего,

потом стало все, и я перерос мир, потому что я и мир — два мира — это больше мира.

Действенные принципы рождаются в действии.

Преступник тот, кто ничего не сделал.

Право — это возможность.

Быть самим собою — это значит неустанно и неудержимо вырастать из самого себя, перерастать свои желания и дела.

Чтобы научиться коротко говорить, надо научиться коротко мыслить.

Недоверие и обман взаимно порождают друг друга.

Забудь себя, чтобы тебя не забыли.

Человек, который искренне хочет быть лучше, чем он есть, должен казаться таким, каков он есть.

Только глупцы считают себя мудрыми.

Глупость только тогда является глупостью, когда она исходит от умного человека.

Мировых подвигов в одиночку никто не совершает. Великое совершают многие.

Развитие — преодоление трудностей.
Завидуют не тому, чего не имеют совсем, а тому, чего не имеют в достатке.
Знание — умение брать и применять.

Уважение к другим начинается с самоуважения.

Лучшее средство искоренить недостатки — развивать то, что считаешь хорошим.

Учиться можно и нужно всячески и на всем.

Плохому везде плохо.

Искренность, прямота, правдивость — вот истинно человеческие качества.

Помогать человеку, любить человека, учить человека, возвышать человека — вот что должен делать человек, вот для чего стоит жить и надо жить.

Человек — смысл всего, мера всего, центр всего, сила всего.

Мир движется любовью.

Нужно думать о человеке лучше, чем он есть.

Упрямство, озорство и веселость — вот три качества, которые я ценю в живом.

Быть Человеком — прежде всего.

Равнодушие к миру — скрытая ненависть к нему.

Покаяние — первый шаг к исправлению.

Трусость охотнее всего прикрывается честностью.

Не делать того, что считаешь сам дурным.

Люди! Вы лучше, чем люди думают о вас.

Наглость — прикрытие трусости.

Когда человеку есть что сказать, он молчит.

Чем ближе человек к цели, тем больше надо ему сил, чтобы эту цель достигнуть.

Сближение отдаляет.

Когда ложь приятна, мы охотно принимаем ее за правду.

Неполная правда не есть ложь.

Далекое вспоминается легче.

Сила рождается слабостью.

Любовь требовательна, и это прекрасно.

Только слабый боится боли.

Наедине с собою человек не одинок.

Когда человек старается казаться искренним, он уже неискренен.

Человек — зеркало мира.

Протест человека против своей природы тоже его природа.

Самое страшное для человека — перестать желать.

Когда человек не знает, что такое счастье, и не пытается это определить, тогда можно сказать, что он счастлив.

Нет хорошего без лучшего.

Только в угнетении обнаруживается мятежная природа духа.

По-настоящему любят только дети.

Видеть новое можно лишь тогда, когда все (и старое) видишь по-новому.

Знать меру во всем — как это трудно! Это все равно, что знать все.

Мастерство — умение сочетать закономерность с неожиданностью.

Все категорическое — многосмысленно.

Красота заката создается пылью.

Ясное, простое и красивое — все три слова обозначают одно и то же.

Исказить биографию можно и действительными фактами.

Глупость похожа на мудрость, как подсолнух на солнце.

О новом можно говорить только по-новому.

То, чего ждешь, совершается неожиданно.

История человечества — лучшее произведение природы.

Творчеством называется любимый труд.

Стихи — дыхание души.

Форма — это то, что мы не видим.

Скромность великих людей не кокетство, ибо всякий творец больше своих творений.

Прогрессивное знание есть действенное отношение.

Всякий мученик в то же время и мучитель.

Потребность — мать идей, а действие — колыбель их.

Начало — это уже конец.

Содержанием искусства всегда была, есть и будет борьба. Страдание — только «частный случай» борьбы.

Совершенство — в совершенствовании.

Самое великое счастье — это ощущать собственное движение.

Неважно, что делать. Важно, как делать, то есть почему делать и для чего делать.

Жизни придает цену возможность в любую минуту потерять ее (жизнь).

Бессмертие — величайшее зло. Мудрость природы в том, что она его не допустила.

Активность, активность и активность! — вот заповедь человека.

Более всех пороков опасна и порочна примиренность с настоящим.

Жить — это значит обязательно озорничать. Без озорства не жизнь, а канцелярия.

Наши достоинства — качества, которых мы в себе не замечаем.

Только радость, познанная через борьбу и страдания, — радость бытия, — имеет силу и прочность.

Трагедия — социальная коллизия, неразрешимая в «данных» условиях.

Истинно свободен тот, кто может не желать быть свободным.

Труд не только источник благ, но и сам по себе благо.

Человек должен чувствовать себя в жизни хозяином — спрашивать у всего всё.

Большое дело — это маленькие дела во имя большей цели.

Слушать — это еще не значит слышать.

Слабость делает человека нечеловеком.

Измениться можно, лишь изменяя.

Только в болезни человек узнает истинную цену здоровой жизни.

Пассивность — активна.

Кто ничего не делает, тот ничего не имеет.

Надо верить в человека, как в солнце.

О самом любимом не говорят.

Хорошее без плохого не живет.

Задача искусства — заставить прошлое служить будущему в настоящем.

Равные — это еще не значит одинаковые.

Жестокость проистекает от неполноценности.

Темноты нет, потому что и ночью мы видим. Видим ночь.

Чтобы зажечь, надо не только зажечься, но и сгореть.

Единственно правая война — война за мир.

Истинный патриотизм интернационален.

Темнота родит свет, оставаясь всегда его врагом.

Нет ничего отраднее чувствовать себя в народе и народ в себе.

В вечном беспокойстве, дерзании, поисках, в вечном недовольстве самим собой и своими делами — корень радости.

«Житейское искусство» в том, чтобы сочетать в себе момент и вечность.

Смысл жизни — в самой жизни.

ИЗ ПИСЕМ, ОЧЕРКОВ И СТАТЕЙ

(1939—1941)

●

Никаких иных целей не должно быть у человека, кроме тех, к которым стремится весь мир, все человечество. Свободное творчество всех и каждого — вот цель. Это называется коммунизмом.

Не представляй себе коммунизм концом, вершиной. Нет. Коммунизм — начало, зачин нового цикла исторического развития народов. Что будет дальше — сейчас трудно узнать. Пока для нас коммунизм — цель конечная.

И вот не по-газетному, а дружески, сердечно тебе говорю, Верусь мой, для этого нужно жить. Давай жить как можно смелей и целеустремленней. Давай делать все, чтобы приблизить эти годы. Мы не увидим с тобой ничего из того, для чего будем жить и умрем. Но **оно** будет. И счастье не в том, чтобы **видеть** это, а в том, чтобы **делать** — через неудачи, через трудности, но делать, делать, делать.

●

Времени совсем не вижу. Одни поля да люди. И еще: небо. Ох, сколько неба переглядел я за эти дни, Верусь!.. Едешь — и смотришь. Забываешь, что сидишь на лошади. Кажется, плывешь по голубой пустыне, и кажется, что нет тебя, что сам ты — часть этого голубого. Очень здорово!

●

Почему тебе хочется печалиться, Танюша? Много подлости, много грязи, много вони в нашей жизни. Но разве выведешь, разве уничтожишь их грустью, которая есть не что иное, как негласное примирение с ними, подчинение им, вручение себя слепым силам бытия.

Человек должен быть активным, то есть, по-русски говоря, действенным, деятельным, действительным. Действенное отношение к миру — первый признак человека. Именно потому, что он не созерцает природу, а изменяет ее и познает ее, и изменяется, развивается сам

в процессе этого воздействия на ее проявления, — именно поэтому человек беспрерывно совершенствуется. Ни одно животное не поднялось до ненависти к самому себе, только человек сумел до этого возвыситься, только он способен отрицать себя во имя себя самого. Потому что только человек знает о будущем и прошлом. Поэтому он один только может безошибочно оценить настоящее. Все остальные животные живут только настоящим. У них нет различия времени. И, отрицая сегодняшнего себя для себя завтрашнего, человек фактически отрицает сегодняшнее во имя самого сегодняшнего.

Более всех пороков опасна и порочна примиренность с настоящим, примиренность с собою и с окружающим, рабье отношение к миру. Замечательный закон: чем больше имеет человек, тем больше он желает. Кто ничего не желает — тот ничего не имеет. Хотя бы он обладал всем, чем угодно.

Меня удивляет и возмущает в моем поколении дьявольская самовлюбленность и легкомыслие. Ты тоже, наверное, замечала такое: человеку только лет 18—20, он еще не видал ничего, и именно потому, что он мало видал — все то, что он видел, кажется ему ужасно значительным. И поэтому он уверил себя в том, что больше ничего увидеть, узнать, испытать уже нельзя, что в 18—20 лет он уже конченый человек, а отсюда и появляется склонность к невеселому настроению.

Я не хочу сказать, что надо быть всегда веселым. Нет. Настоящим оптимистом может быть только тот, кто узнал все глубочайшие скорби и боли земные, и именно поэтому он не говорит теперь: «Все хорошо». Истинный оптимизм состоит вовсе не в оправдании всего существующего. Он состоит (по-моему) в вере и в видении будущего, в открывании в настоящем тех сторон, которые останутся и в будущем, и в отрицании, в отвергании тех сторон настоящего, которые мешают наступлению этого будущего. Оптимизм — это жизнеутверждение.

●

Ты совершенно права, Танюша, когда пишешь о необходимости исправлять мнения и вкусы людей, у которых между сознанием и поступками происходит разлад: они работают на будущее и через эту работу свою приобщаются к будущему, а сознанием находятся еще в

прошлом и на будущее, которое сами они строят, смотрят из прошлого, а поэтому и не видят его, — ведь это очень далеко — смотреть на будущее из прошлого, видимость очень плохая; смутно, очень смутно виден какой-то свет.

Но как же, как же именно пересоздать сознание этих людей, как обновить их самих? Несомненно, что сам их труд во имя будущего, если этот труд сознателен, вносит новые какие-то элементы в привычное содержание их сознания. Но этого мало. Самым вернейшим средством воздействия на духовное является духовное в материальной форме — то есть искусство...

●

Как я счастлив, что есть у меня друзья на свете, которым дороги и чувствительны колебания непутевого моего сердца. И как я рад, и горд, и ясен оттого, что ты — в числе этих друзей.

Хочу, чтобы каждый из друзей моих был лучшим. Иногда мне хочется, чтобы у меня был только один друг. Это было бы высшим блаженством земным. Но этого нельзя достичь. И может быть, это не так уж печально.

Пусть будет у меня много, очень много друзей! В каждого из них я буду всегда вливать всего себя — без остатка. Это будет источником стремления к непрерывному пополнению своих сил и возможностей.

●

Весь вечер прошлялся по глухим острогожским улицам. Один. Необъяснимое чувство испытываю я сейчас. Необычное чувство — чувство любви ко второму себе, таящемуся в глубине меня, к будущему «я» своему. С грустной нежностью гляжу я на рождение этого нового меня из обломков и сумятицы пережитого.

Никогда еще не испытывал я такого единения со всей вселенной, какое наполняет меня, витает надо мной и движет мною сейчас. И вместе с этим — острое ощущение своей мизерности по сравнению с этими мирами, проносящимися надо мною в вечности.

Но в то же время — прямая и бледная человечья гордость своим духом, в котором сосредоточены миры, превосходящие своей сложностью и стремительностью все вселенские механизмы и чудеса.

●

Будет много радости и радостей у тебя на веку, будет солнце тебе сотни раз светить по-новому, будто оно — кристалл, с каждой болью поворачивающийся к тебе новой своей гранью.

Мы все-таки выпьем за солнце. Шампанского. А пока сделаем вот что: шестого числа, ровно в двенадцать часов дня, набери в кружку холодной-холодной воды, подними кружку, как бокал, скажи шепотком: «За солнце! За мое солнце!» — и выпей. И я так же сделаю в тот же день, в ту же минуту. В одну и ту же минуту мы поднесем к своим губам кружки чистой воды и трезво их осушим.

●

Лучший способ победить плохое (не дать ему развиться) — это развивать в себе хорошее. Не стоит специально заниматься искоренением дурного. Насаждай, укрепляй и совершенствуй доброе в себе — и ты уже этим одним уничтожаешь дурное, уменьшаешь его силу, ослабляешь возможность победы дурного над хорошим. Но если видишь, что дурное все-таки прет вверх и пытается заглушить хорошее, — рви это дурное, с корнем рви!

●

Тебя я просил (и опять прошу): собирай материал о деревне (песни, сказки, поговорки, причитанья, прибаутки, частушки, загадки, интересные выражения, описания праздников и будничных обычаев, краткие биографии и характеристики интересных крестьян и т. д.).

Теперь я еще одно предлагаю тебе: когда ты будешь учительствовать — собирай факты и заметки по всем вопросам, касающимся воспитания, образования, обучения.

●

Теперь о редакции. В редакции встречен был очень шумно. Все были рады. Я — больше всех. Опять завел возню, хохот, болтанье. Но никто не ругал меня. Все

смотрели на эти проделки со снисходительностью старших. И на совещании нынче я вел себя чрезвычайно легко, даже самому заметно. Редактор после совещания позвал меня и сказал, чтобы я не мальчишествовал. Но это замечание не отусклило радость нынешнего дня.

Все время я метался туда-сюда как угорелый. Сделал сводку о ходе зяблевой пахоты, сам высчитал проценты (по 73 колхозам! Как только терпения хватило!), а раньше я и слушать об этом не хотел. Сам написал комментарии.

Звонил по телефону, составлял план, помогал Федорову, затесался на совещание финактива, предложил дважды в месяц давать в газете «Уголок школьника», редактор это предложение принял и поручил взять мне на себя организацию и редактирование этого уголка, на что я очень охотно согласился. И еще что-то делал и куда-то ходил, уже не помню. В общем, день нынешний я провел в радости, как во хмелю.

●

Мой друг, я хочу работать, чтобы эта работа принесла бы в будущем нам обоим радость и благополучие. Но я ничего не умею делать, в этом моя беда. Одна. Но я ничего не могу делать — в этом моя беда вторая. Но я не хочу не делать — в этом моя беда третья; ее не было бы, если б не первые две. Я работал бы как дьявол: неостановимо, размашисто и плодотворно, конечно, если бы мог всегда, в любую минуту, говорить с тобою, советоваться, спрашивать, рассказывать. Я буду работать так, как еще никто никогда не работал. Это будет скоро (о нет, это будет не скоро!) — когда между нами не будет времени и пространства. Никогда. Навсегда.

Я и сейчас, и теперь вот, хочу работать. Учи меня, мой друг, как мне жить, чтобы больше делать. Вероятно, для этого нужно меньше говорить? Да, это верно, и это трудно. Трудно, вероятно, потому, что верно.

В редакции я буду работать официально от 9 до 4. Все остальное время я буду посвящать книгам, статьям, стихам. Так я решил. Но ты не верь этому решению, как и я ему не верю.

●

Человек существует для мира столько же, сколько мир для человека. События твоей жизни, как и всякой другой человеческой жизни, представляют собой микроскопическую копию мировых событий. Точнее бы сказать — не копию, а зарисовку, эскиз копии.

Ведь мировые события складываются из событий частных, да и весь смысл мировых событий в установлении такого **общего** порядка, который удовлетворял бы как можно большее число **частных** требований и устремлений.

Человек, как особенная единица многообразного общества, всегда стоял и будет стоять в центре всех событий. Все, что делает человек, — все это делается для человека.

В одном ты безусловно права. А именно — в самой постановке вопроса: «Что значит мое по сравнению с мировым?» Это правильно спрошено. Никогда нельзя жить так, чтобы личное стояло в противоречии с мировым и заслоняло мировое. А ведь в подавляющем большинстве люди так и живут: мое — это то, что мое.

Надо, **чтобы все было мое.** Принимай близко к сердцу все то, что происходит вокруг тебя. Стремись своими силами и своими знаниями слиться с общим потоком, устремляющимся в будущее. Но помни, что для того, чтобы слиться, надо иметь то, что хочешь сливать. Видишь, тут одно неразрывно связано с другим.

Участвовать в больших делах, чувствовать живую связь между собою и миром, ощущать личные события как органическую, движущуюся часть мировых событий — все это можно только тогда, когда ты изо дня в день обогащаешь себя знаниями, укрепляешь свои силы, расширяешь в себе внимание, углубляешь свою любовь к людям.

Только вниманием к другим можно быть внимательным к себе, а без того, чтобы быть внимательным к себе, без того, чтобы следить за собою, нельзя понять происходящего в окружающем мире, нельзя сплотиться с этим миром, чтобы перестать чувствовать свою отъединенность и обособленность. Помни одно: особенности никогда не проявляются в обособленности. Только в общении с другими человек обнаруживает свой истинный

характер, свои отличительные признаки и качества. А ведь именно особенностями ценен человек. Чем более непохож человек на других людей и чем лучше эти особенности, разнящие его с другими, тем этот человек представляет больший интерес (а иногда и большую ценность).

Внимание к другим, удовлетворение нужды других — вот что должно быть первой нуждой каждого человека, вот на что должны быть в первую очередь направлены его силы, потому что без этого жизнь его утратит всякий смысл и сам человек потеряет себя.

Значение и характер действию придаются целью. Один и тот же поступок, совершенный в различных целях, в одном случае будет рассматриваться как дурной, в другом — как великий.

У нас великая цель: освобождение человечества и человека от всех пут, мешающих их свободному развитию. Коротко можно сказать: наша цель — освобождение человека через освобождение человечества.

●

Страшновато видеть город, в котором закрыты все магазины. Вся торговля хлебом перенесена в учрежденческие буфеты. Днем нам сегодня хлеба не дали, велели прийти в восемь часов вечера. Я пришел в девять, получил 700 граммов. Двести принес домой, остальное — малышам. Когда шел от малышей, навстречу мне пронеслись сани с двумя седоками. Оба окликнули меня по имени. Я остановился. Сани тоже. Я подошел. В санях — Корышев, зав. партийным отделом нашей редакции. И Тышко — коногон. Корышев послан на фронт в Финляндию политруком. Он ехал на вокзал. Мы крепко обнялись и расцеловались. Я сказал ему: «Всего счастливого!» Он ответил: «Спасибо!» Вернется ли он? Если вернется, то обязательно героем. Это один из самых лучших людей, встреченных мною. Как мало я его любил!

●

Когда Гранкин спрашивает у меня: «Какая твоя должность теперь?» — я отвечаю: «Учитель учителей». Это, разумеется, шутка. В действительности я был, есть и буду ученик любого и каждого из людей...

Мастерство журналиста, по существу, необыкновенно просто. Оно целиком и полностью сводится к тому, чтобы в данной статье не писать того, что может быть написано в других статьях. Подобно этому и ораторское искусство состоит в умении молчать — в том, чтобы не говорить того, о чем можно не говорить, и видеть это.

●

Испытываю непреодолимый интерес к истории русской литературы. Отчасти потому, что получил методическую разработку плана по истории древнерусской словесности. Из института. В этой разработке каждая строка, каждое наименование — откровение для меня.

●

Я ввел в редакции со вчерашнего дня новый прием приветствия по-антифашистски — поднимать к голове правую руку, сжатую в кулак, и говорить: «Рот фронт!» Я антифашист. Я горжусь этим и хочу на деле заслужить это боевое звание.

●

Получил на завтрашний полдень приглашение в музей на заседание жюри художественной выставки. Будем присуждать премии. Я — всем сердцем за Чернова Славу. Его картины и рисунки замечательны, но часто они замечательны тем, чего в них не должно быть. Он неверно понимает общность. Он рисует так, как всегда можно рисовать. Истинный же художник должен рисовать почку, чтобы изобразить мир, а когда он нарисует почку тополя, он выразит не только мир, но и себя. Если же будет изображена раскрывающаяся почка старого тополя, — в этом выражена будет еще и эпоха.

●

Получил военный билет.

Война происходит не на фронте, а в тылу — в сердцах матерей. Вот где фронт! В сущности говоря, матери — те же политруки. И жены, и дети — тоже политруки. В наше время каждый человек — гражданин, и

каждый гражданин — чей-нибудь политрук. Я — мой политрук. Мне трудно. И за это я себя клеймлю более, чем за все иное.

...Был сейчас в музее. Обсуждали материалы выставки художников. Постановили премировать Чернова.

●

В редакцию ко мне пришел Ваня Толстой — ученик третьего курса педучилища. Поэт. Он попросил меня помочь выпустить им классную стенгазету к 21-му. Вечером он зашел за мной, и мы пошли к ним. Заняли свободный класс. Редколлегия: Ваня, Дегтярева Марфуша и Катя Солодкова. Сидели до 4-х часов утра. Газету выпустили. Они говорят, что вышло хорошо. Сегодня они спали на уроках, а я почти что дремал на работе.

Толстой звонил из училища. Говорит, что газета нравится всем ребятам. В редакцию заходили трое мальчиков со стихами. Стихи обычные, но есть замечательные строчки. Все трое учатся в четвертом классе.

●

Дни проходят кувырком. Из дома ухожу в 7 часов утра, прихожу в 4 часа дня, обедаю и снова ухожу часов до 12—1—2 ночи. Ем один раз в сутки. Говорят, здорово осунулся за последнее время.

Отдел культуры и искусства, которым я заведую, ставится в пример другим отделам. Деятельность развита вправду широкая, но толка пока все-таки мало еще.

...**Важнейшее** в моей работе состоит не в том, чтобы писать, а именно вот в этом **практическом** участии в деятельности других людей. Статьи же — лишь побочный **результат** этого участия.

Пожалуй, вот эта круговерть, в которой даже учиться нет времени, — самое опасное в моем острогожском пребывании. Ведь так на всю жизнь неучем или недоучкой остаться можно! Обрывки знаний, которые я хватаю то там, то сям, не могут удовлетворить меня. Потому-то и улетучиваются знания из моей головы, что они слабо связаны между собою. Они — куски, ворох. А надо им быть водоемом... Как вести себя, как распределить время, чтобы хоть чуточку оставалось на регулярную книжную учебу?..

●

18-го состоялась первая беседа о Маяковском. Сейчас готовлюсь ко второй. Приходится вести дьявольски большую переписку по редакционным делам. Иногда (часто) эта переписка перерастает в личную. Так я подружился со многими учителями и студентами. Девчонки тоже пишут. Все их письма я должен показать тебе. Покажу летом. Я люблю всех. Ведь меня же любят.

Отрекаться от них и заноситься над ними я не имею права. Право — это возможность. Разбеспокоить их — вот что мне нужно. Пусть они живут оживленно!

Вчера напечатана моя статья о работе театра. О ней все спорят. Значит, хорошая. Соглашаются со всеми статьями, а спорят только с хорошими.

●

Очень много новых знакомств. Что ни день, то узнаю все новых и новых людей, сближаюсь, срастаюсь, роднюсь с ними, помогаю им всем, чем в силах помочь, — а они мне помогают тем, что увеличивают мои силы.

Помимо бесед о Маяковском в читальне, делаю лекции, доклады, читки в учебных заведениях. Здесь у меня наибольшее количество знакомцев, товарищей, собеседников, сочувственников, друзей.

Жгучий интерес к политике и «международности» сменился сравнительным равнодушием... Увлекаюсь стихами. Чужими. Разлистываю одного поэта за другим.

...Единственное, пожалуй, что осталось во мне от прежнего меня, так это фантазерство и прожектерство. Что ни день, я составляю все новые и новые планы. Слава богу, мало времени. Затягивает работа. А то бы я весь испарился в намерениях. Весна ж!..

●

Человека «вообще» нет. Люди живут и развиваются во времени. Чем более, чем полнее живут люди эпохой — тем лучше и для эпохи, и для них. Дышать эпохой — это ж так просто! Делать обычные дела, не делать ничего лишнего (то есть ненужного эпохе), с максимальной нагрузкой использовать свое время для работы во имя осуществления тех целей, которые являются руководящими в эту эпоху. Вот и все.

Ты хотела быть «вообще хорошим» человеком. Твои идеалы идут вразрез с будничными поворотами и требованиями жизни. И ты, сознавая этот разлад, все-таки не перевернула, не перестроила себя так, чтобы частная жизнь твоя содержала в себе жизнь общественную. Иными словами, чтобы ты в своей частной жизни решала общественные задачи в той их части, в какой ты можешь их решить.

Не обижайся, что пишу столь нравоучительно и назидательно. Может быть, я и тут ошибаюсь, как ошибался несколько раз. Но в основе, мне кажется, я прав. Впрочем, это почти всегда кажется говорящему человеку.

●

Вот, Таня, тебе отрывки из «Франции». Начало мне совсем не нравится. Да и все остальное тоже уже не удовлетворяет. Больше о Франции ничего писать не буду, а если напишу, то иначе.

...Эти отрывки для меня уже превзойденный, переваленный этап. Этому я радуюсь пуще всего. Ведь правда, что самое великое счастье — это ощущать собственное движение.

●

Не обижайся, не гневайся на меня за то, что пишу так редко. Задыхаюсь от работы. Кто бы мог подумать, что Кубанев такой активист. Работа моя идет круглые сутки. Мало сплю, много слоняюсь по студенческим общежитиям и по школам, много пью ситро, мало читаю, совсем не раскрываю стихов, даже на газеты уделяю 10—15 минут из 24 часов!

На лето жду тебя. Будем говорить целыми днями. Будем говорить до тех пор, пока у тебя не объявится полная ясность во всех вопросах — от Чемберлена и очередей до портретов в последних журналах мод.

Нынешнее лето решает мою судьбу. Буду я политиком только или политиком-художником.

●

«Каждую минуту все меняется, и я никогда не узнаю настоящего». Это сказано год назад, и это плохие, но

правильные строки. Я написал их тогда, сам не понимая того, о чем они говорят.

Сегодня я ездил в Ольшан. На райкомовской «эмке» с секретарем. Тебе, наверное, рассказывали об этом. Нас застал ливень, мы вернулись. Ливень был необычайно густ. Он обваливался на нас сплошной массой. Мы плыли по воде, ничего не различая. Нас чуть не убило грозой. Огненный шар упал в землю за несколько шагов от нас. В машине было сухо. Мы смеялись, потом говорили о судьбе урожая, и скрежетали зубами, и ругались от озлобления. За один час убиты труды целого года. Хлеба полегли, огороды размыты, копны разрушены. Завтра выяснятся точные размеры бедствия, и тогда я напишу очерк «Ливень» — о своей сегодняшней поездке. Наверное, он будет в ближайшие дни напечатан.

По сравнению с этой огромной напастью мне показались тщедушно-мелкими частные мои передряги.

●

Родная моя Верочка! Как ты дошла тогда до города? Я на всю жизнь запомнил:

— Куда ты?

— Домой.

— Куда, куда?

— В город. А ты?

— А я домой, в Губаревку.

В Губаревку я добрался быстро. Догнал тех четверых ребят и девушек, что встретились с нами. Сели в первую попутную машину и через полчаса были на месте.

Утром я пошел в совхоз переписывать детей. Оказывается, в первом классе у меня будет не больше шести человек.

Первым делом очищу от сорняков школьный двор, а потом займусь чтением газет. Прочитаю сразу все газеты за последние полмесяца.

●

Третий день работы — и какой работы! — и ничего написать не в состоянии. Не потому, разумеется, что нечего. Наоборот, оттого, что слишком много надо рассказать. Ты все это должна видеть сама, и я мучитель-

но жалею, что ты не со мной и что я не могу тебе (не могу даже другому кому) поведать обо всем, что переживаю сейчас сам.

Я между двумя точками: 1) уехать отсюда немедленно, 2) остаться тут на всю жизнь. Мечусь от полюса к полюсу, без терзаний, без надрыва, но тем тяжелее и заметнее. Буду ежедневно записывать для тебя новости своего труда. Не знаю, попадет ли в эти записи главное.

...День первого сентября прошел «хуже», чем обычно. Я собирал ребят по дворам в то же утро (первого сентября), собрал, почитал им сказку, поиграли, узнал, у кого каких нет книг, и разочаровал: они думали, я стану сейчас же раздавать учебники, а я без заведующей не мог. Заведующая была в городе.

Первого, интересно, как я прибирал двор: скребу сам сорняки лопатой, а ребята уже собираются. Я им ни слова о помощи. Скребу и скребу. Ушел зачем-то в класс, они взяли лопату и скребут сами. Я выхожу, взял у них лопату, продолжаю чистить сорняки. Так и прочистил дорожку. Они видят — их не просят, и сами стали выдергивать сорняки руками.

О вчерашнем и сегодняшнем дне, о ребятах завтра напишу. Сейчас — кусочки. Занимаюсь в две смены. Иду на вторую смену. Ребята кричат едущему почтальону: «Дайте учителю газеты». Он остановился, отдал мне газеты и два пакета твоих.

В городе вчера я был за съестными припасами. Кому-то удивительно, но ты не удивляйся, что «классик» из деревни едет в город покупать помидоры. Просить не хватает совести (за деньги, конечно). А иначе здесь не достанешь — только через правление, через эти самые просьбы.

Читаешь ли ты газеты? Я — мельком, почти не читаю. Это самое страшное. Надеюсь преодолеть в себе это недомоганье.

●

Дорогой Ваня!

У меня на планы не хватает времени, на газеты тоже. Не знаю, куда проваливается оно. Занимаюсь в две смены, устаю, радуюсь неимоверно и сейчас же так же неимоверно огорчаюсь. Ребята сводят меня с ума. Первачки — прелесть. Из них можно сделать почти все, что

захочешь, то есть все, что можешь. А можешь лишь себя.

Уроки арифметики провожу с первачками в лесу, чего и вам желаю. Уж где и считать, как не в лесу!

А с 3-м классом хуже. Он избалован. Просят отметок. А я отметок принципиально не ставлю, и даже журналы до сих пор не заполнены.

Увы, Ваня, это не опыт, и прошу не перенимать. Будь добросовестным работником, журналы веди аккуратно и тщательно. Пусть бунтарство будет уделом классиков! Писать обо всем этом не хочется. Сам понимаешь, что о каждом дне учителя можно написать целую книгу, если не две.

Можно, но невозможно. Нельзя, немыслимо записывать все, что мы делаем. И в этом «немыслимо» главная, очевидная замечательность нашего труда.

Жалко только, что все это пропадет для меня самого. Я прихожу на урок, зная лишь, о чем буду говорить, но что и как — этого я почти не представляю. Это идет на уроке. Я все придумываю, исходя из обстановки, с помощью самих ребят. Чем больше мне это удается, тем больше втягивается в работу класс, тем интереснее и правильнее выходит работа.

Я веду уроки так, как пишу статьи. Это и хорошо и плохо. Поживем — научимся.

●

Стихи, безусловно, будут время от времени выходить из тебя. Не придавай им всемирного значения. Пусть они будут для тебя. Для меня стихи — дневник. Ни более, ни менее. Статьи — тоже. Я мог бы их и не печатать. Печатаю только тогда, когда уверен, что многие узнают из них то, что без них не узнают.

Хорошо, что ты с первого дня не один следишь за дисциплиной, но весь класс следит за собою и устанавливает свою дисциплину. Этого-то мне как раз не удается сделать отчасти потому, что возраст моих питомцев мелок.

●

На столе в тарелке — лесные груши. Улеживаются. Кроме букета, в комнате два больших куста боярышника. Красные ягодки — кистями. Я сорвал эти кусты

учить первачков считать. По нескольку ягодок сразу.

...Отец никак не поймет, почему я уехал. Да и никто этого не поймет. А кривотолков вокруг моего отъезда — до дьявола! Сама можешь представить. Вчера передали, что такие версии ходят: «Поехал писать книгу», «Поехал, чтобы была интересная биография», «Поехал от города», «Поехал отшельничать, как монах» и тэ и дэ, и тэ и пэ.

А на самом деле я поехал сюда жить.

●

Тебе предстоит воспитывать людей новых, людей, которые в коммунистическом обществе жить будут. Надо привить им жажду жизни. Эта жажда жизни родит и любовь к прекрасному, родит и способы достижения этого прекрасного. Пусть твои ученики будут уметь брать из мира, из жизни все, что только возможно. Пусть узнают они мир со всех сторон. Пусть разумное и непрерывное беспокойство обуревает их. Пусть и тебе всегда будет беспокойно. Самое плохое на земле — это успокоенность, а самое хорошее и ценное — спокойствие. Пойми разницу меж ними — и тебе сразу сделается светлей.

●

Остерегаться в себе надо только одного — самодовольства и пассивности, проистекающей из этого самодовольства.

Пассивность, безразличие, равнодушие — вот что страшно, вот от чего надо бежать, а заметив, искоренять без всякой пощады. Но искоренять опять-таки делом, действием.

Пойми, что в твоих руках будет судьба нескольких десятков людей. От тебя будет зависеть направление их личных жизней, их характеров, их сердец. Воспитывай их гражданами. Вот все, что можно посоветовать. Ты сама, твоя жизнь, твой облик, твое поведение, твои слова — любая мелочь в тебе — все это будет их воспитывать. Первый идеал в жизни человека — это учитель. Каждый человек (а в особенности деревенский ребенок) берет для себя за образец своего учителя. «Быть бы таким, как он». Это очень важно знать тебе. И помнить.

Следи за собою, за своими словами, за всеми своими движениями. Следи до тех пор, пока эта слежка не перестанет тебя стеснять. Тогда отбрось ее. Она сделается сама по себе необходимой и будет продолжаться без напряжения и утомления твоей воли.

●

Моя система (ее еще нет) натуральная. Так она будет, вероятно, именоваться. Я обучаю и воспитываю на природе, на натуре. Вчера Коля Афанасьев узнал строение почвы, копая погреб, набив мозоли. Сегодня Афоня Лахин и Вова Злищев научились считать, укладывая подсолнухи на тележку.

●

Урок арифметики. Начинаем со знакомства с понятиями «один» и «много». В учебнике нарисован молоток и гвозди. По замыслу учебника ребята должны отвечать так: «Молоток один, гвоздей много». Но они вместо этого отвечают: «Гвоздей вот тут пятьдесят восемь, а вот тут сейчас посчитаем. А вот тут три штуки плохо отпечатались».

Пришлось знакомить их с этими понятиями в лесу. Но здесь они принялись было считать деревья. Тогда остановились у одного дерева и стали его рассматривать. «Дерево одно, а листьев много». Сразу же ребята нашли аналогию: «Как наш колхоз. Он один, а людей в нем много».

●

Я «сентиментален» с ними: «ребятки», «детки», «Шурик», «Ванюша», «милый». Но это не сентиментальность, а чувство, любовь (стиль — нет, не стиль, а любовь).

Стиль — иное. Стиль мой один и с ребятами и со всеми. Я назвал бы его трудовой стиль. Он естественнейший и истиннейший из всех.

●

Я не кричу. Крикни один раз (на ребят), и тебе придется кричать всю жизнь. Либо не кричи ни разу, либо

кричи все время. Крикни — и они всегда будут шуметь до тех пор, пока не крикнешь вторично. И будут рассуждать: раз не кричит — значит, еще терпимо. И ждать, пока закричишь.

Беда, что их приучили к крику до меня. И от меня они уже ждут крика. Как-то я был выведен из себя беспардонностью Коли Афанасьева и закричал: «Что же ты делаешь?» Вслед за тем — несколько гневных фраз о дисциплине, о нарушителях, которых судят, о времени, которое надо беречь в наше время. Класс притих и весь день сидел тихо. Но этим криком я испортил все. Они ждут, ждут, ждут крика. И мне невероятно трудно сдерживаться.

...Я беру интересом. И многого сам еще не знаю. Там, где я знаю и пылаю сам, они сидят в безмолвном внимании.

У меня на уроках странно: вдруг — пустота, обрыв, и я теряюсь — не знаю, чем заполнить, как связать в одну цепь. Лихорадочно, вспышкой, взрывом придумываю — и если придумаю, испытываю несравненный восторг, как после хорошего стиха.

И вместе с тем — залежи нетронутых знаний, которые надо взломать, освоить, переработать и передать ребятам. Для этого поэтому надо дорожить каждой секундой.

●

Увидели портрет М. Горького. Спрашивают:

— Кто это?

— Максим Горький. Кто такой Максим Горький, ребята?

— Это был самолет такой.

— Нет, ребята. Максим Горький — писатель. Самолет назван его именем, так же как наш колхоз назван именем Кирова.

— Писатель? Буквари — это он написал?

— И все книги?

●

Прочитали рассказ «Покушение на Ленина». Беловый парнишка говорит с ненавистью, глядя на Каплан:

— У, чтоб ее язва заела!

●

Разговор в коридоре:

— Знаешь, какие на Кремле часы? С нашу хату, понял?!

●

Читаем русскую народную сказку «Батрак». Спрашиваю на всякий случай:

— Ребята, кто знает, что такое батрак?

Поднимаются руки.

— Трактор.

— Театр.

Не в силах сдержаться, я смеюсь. А они, недоумевая, спрашивают:

— Это загадка?

Узнав, что такое батрак, один малыш говорит:

— Я думал, еще что. А это-то и мой папашка нанимался, когда маленький был, его еще чуть корова не убила...

●

Запыхавшись, они идут вразвалку и беседуют между собою:

— А почему после бега так задыхаешься?

— Ну вот, не понимает! Потому что кровь быстро работает, а воздуху мало, легкие не поспевают.

— А есть такие бегуны, что никогда не умариваются. Хоть тыщу километров промчится — и хоть бы что!

В Москве один такой бегун живет. Один раз созвали в Москве бегунов со всего мира, они стали в один ряд. Ворошилов махнул им красным флажком, они побежали, обежали кругом земного шара, и один в Москву раньше всех прибежал. Наш, советский. Он в Москве живет. А за ним и другие. Он им дорогу указывал. И те тоже сейчас в Москве живут. Домой не захотели ехать. Потому что у них там таких дорожек нету.

●

— А по чему узнают, куда назначать: кого в пехоту, кого в танкисты?

— В пехоту — кто быстро бегает. В кавалерию — у кого ноги длинные, а туловище короткое, чтоб из-за лошадиной головы его незаметно было, а ногами лошадь обхватит, как щипцами, как пришпорит! А в танкисты — кто моторы любит. А в артиллерию — кто хорошо считает. А в авиацию — у кого сердце здоровое.

— Большое, большое?

— Чудак, здоровое — это значит, чтобы все чуяло и без царапинок, твердое. Ну, стальное. Как у Чкалова.

●

Весь день дождит, и на дворе пасмурно и мокро. А я рад, что никуда нельзя выйти из комнаты. Так люди одинокие всегда бывают рады, рады случаю пожалеть себя под всяким предлогом и делают это с такой искренностью, озабоченностью, что и со стороны становится жалко их.

...Значение всего узнается после исчезновения. Ни с кем, ни о чем ни слова вот уже двадцать седьмой день по официальному счету, а по неофициальному — полторы вечности.

Сколько бы, кажется, слов — и не просто слов, а слов и речей было сказано за это время. И ложных, и без промаха верных.

●

Утром снег с дождем, и снежная жижа хлюпает под ногами. А сейчас вечер, и я окончил обе смены, и скоро ухожу читать книжку «Повесть о днях моей жизни» (Вольнова). Читаю по вечерам у одного умного колхозника. Слушать собираются много.

●

Смеркается, друг мой! Только что закончил стихи об осени. Писал их целый день, с утра, напряженно, отрываясь только поесть. Не прибаутки, не дудкины погудки! По форме, по технике это стихотворение — лучшее из всех моих. Я прочту его тебе шестого, когда приедешь. Закончив стихи, пошел к почтарю. Получил газеты и одно письмо от тебя.

...Методы «новые» (проектов, комплексный, бригад-

ный) были плохи, но не потому плохи, что они новые. Если метод новый — то это не значит, что он обязательно окажется плохим, подобно блаженной памяти перечисленным. Скорее наоборот.

Всю эту новометодическую катавасию (я был тогда в первых классах) припоминаю смутно. Но думаю, что в бригадном, комплексном и других методах была немалая доля истины. Плохими же эти **новые** методы оказались потому, что их проводили в жизнь **старые** педагоги.

И у нас сейчас всё пытаются свести в обучении к словесничеству, а в воспитании к «нельзя» (без разговоров — от «нельзя» с разговорами).

Умственно за твою боязнь применить местный фольклор осуждаю тебя, но сердцем оправдываю. Знаю сам, как трудно среди всеобщей рутинности действовать по собственной воле...

А когда не **можешь** учить так, как хочется учить, — **вообще** учить не хочется. Пропадает пыл. И я начинаю весьма официально относиться к своей работе.

●

Передо мной десять писем твоей руки. Десять криков твоего сердца. Милая Таня, молчание не было ответом, как ты думаешь. Ответом были «Ваня» и «Матерям». Приезжай 22-го. Тогда я покажу тебе все, над чем сейчас думаю. Среди них поэма «Обывателиада». Из нее написано несколько строк. Это о людях, которым своя икота важнее всех войн земли...

Я думал работать в школе по-новому. Но быстро понял, что это было бы уродованием детей. В 5-м классе к ним предъявят иные требования, совсем несхожие с моими. Ведь не все учителя — я, и не все учителя — ты.

●

Хорошо, что ты так охотно согласилась взяться за улучшение политпропаганды в вашей комнате. Газеты, карта, политинформации, радио — все это самые простые и самые верные пути внесения политики в ваш быт.

Быть полноценным человеком немыслимо, невозможно без того, чтобы не быть общественником, активис-

том, политиком. Жить для себя и других в одно и то же время — вот что нужно. Именно в такой слаженности, согласованности личного с общественным и заключается коммунистичность. Мне кажется, прежде чем построить коммунизм между собою, человек должен построить все необходимое для этого в себе.

Ты должна быть коммунисткой по своему духу, по своему поведению, по своей судьбе.

Быть коммунистом (не обязательно с партбилетом) — это и значит быть Человеком с большой буквы.

Бороться за коммунизм, за интернациональный порядок, за свободу человечества — вот что нужно делать в любых обстоятельствах, в любое время.

Фашизм — наш враг. Гитлер — наш враг, враг каждого из нас. Борьба за коммунизм — это борьба против фашизма.

●

Социализм — от «social» — общий, общественный. Благополучие каждого зависит от всех, счастье каждого создается общими силами. Раньше тоже были удачники, пролазы, воротилы, деляги, пробивавшиеся к счастью. Но это были единицы, строившие свое благо на бедах других, вопреки всем. Теперь — в интересах всех, чтобы каждый был счастлив, общество (social) поддерживает всякое полезное дело любого своего члена. Это — социализм. Счастье — для всех, а не для выскочек. Для всех, кто работает в интересах всех.

ИЗ СТУДЕНЧЕСКИХ ОЧЕРКОВ

●

...Хорошо, когда человек с юности знает свое место, видит свою дорогу, имеет определенный облик, готовится к излюбленной профессии. Плохо, когда определенность перерастает в ограниченность, когда юноша замыкается в рамки избранной профессии и перестает интересоваться остальным. Впрочем, беда не только в этом, но и в другом. Многие студенты расплывчато представляют себе будущую свою должность, не готовятся к работе заблаговременно, не накапливают необходимых навыков. В учебных заведениях мало заботятся о том, чтобы ознакомить студентов с их предстоящей работой...

...Надо привить студентам ясное чувство профессии. Они должны ощущать профессию так же отчетливо, как собственное тело. Тогда, являясь в село на каникулы, молодой ветеринар сам стал бы разузнавать у отца о приплоде на фермах.

...Знания без применения их улетучиваются. Студенты уже сейчас, на учебной скамье, должны пережить радость и трудность своей работы. Имея перед собой отчетливую перспективу, они прямее и тверже будут двигаться по намеченному пути...

...Студент должен разносторонне воспринимать мир, чтобы впитывать в себя необходимое. Ведь и растение берет из земли самые различные вещества. Из этих веществ оно усваивает все нужное для своего роста и превращает соки земли в свой собственный растительный сок...

●

...«Зачем» и «почему» — вот два вопроса, которые следует ставить перед студентами после каждой фразы. Это будет наводить их на раздумье, заставит соображать, разовьет в них дух критического, сознательного, активного подхода к наукам. Это избавит их от механического зазубривания, от путаницы, разожжет любопытство и наблюдательность. Нужно возбудить и воспламенить все силы, все способности, таящиеся в каждом из студентов...

●

При царизме бесправное студенчество принуждалось вырывать у жизни кусок хлеба не проповедью, не прошением, а руками, зубами, напролом и наперекор всему. Каждый за себя! — таков девиз частнособственнического режима. Современные советские студенты иные, потому что живут в ином строе, живут иначе. Они уверены в своем завтрашнем дне, они знают, что получат себе работу по душе. Отсюда твердость их походки и прямота их выправки.

Им нет необходимости выделять себя, как раньше, в независимую «касту». Но отдельные черты прежнего обособления и прежней студенческой дерзости еще не изжиты окончательно. Чаще всего они сохраняются в мелочах, на которые мы так мало обращаем внимания.

Нарочитая небрежность в костюме, умышленно всклокоченная шевелюра у ребят и пряди, свешивающиеся на лоб у девочек, обидная развязность в обхождении с посторонними — подобные резкости хоть и редко, но встречаются. И очень досадно бывает наблюдать эту никчемную, наигранную подкраску. Студенты отличаются от других своей свежей, еще не просохшей образованностью. Они растут и меняются ежеминутно. Вот в чем их особенная гордость и доблесть. А не в прическах...

ИЗ СТАТЬИ ОБ ИСКУССТВЕ

...Нежелание плестись на поводу у публики — это стремление передать, внушить публике то, чего она еще не знает, но что ей надобно знать. Именно так следует понимать мое выражение: «Не подчиняться слепо существующим вкусам, а самому делать вкусы». Делать вкусы — это не значит прививать публике искусственно созданные, извращенные, изысканные какие-то критерии, правила, нормы. Делать вкусы — это значит видеть созданную общественными условиями необходимость в ином отношении людей к миру, к себе и к искусству, — видеть эту необходимость и художественным творчеством своим внушать ее другим людям. Говорить им простые фразы о том, что это, мол, ваше мнение устарело, — бесполезно. Такие фразы не изменят их духовного облика.

Надо сразу же создавать такие произведения, которые могут быть понятны только тогда, когда будет изменен подход к ним, когда будут изменены воззрения на мир и на искусство. Люди сначала не будут понимать этого произведения, но, если оно настоящее произведение, оно сразу же зажжет их, и невозможность усвоить и понять это произведение сразу не только не охладит их интереса к нему, но, наоборот, заставит задуматься: «Как же так? Видно ведь, что штука настоящая, прекрасная. Почему же мне не удается постигнуть ее? Может быть, потому, что я боюсь признать прекрасными и те качества этого произведения, которые до этого считались всеми (в других произведениях) отрицательными качествами? Может быть, потому, что я к новому произведению, порожденному новыми условиями, подхожу со старой меркой?..»

Да, да, да. Не убеждениями, не голыми разглагольствованиями, не звонкими проповедями внушаются и распространяются новые вкусы, новые воззрения, новые мерила, новые оценочные нормы, новые отношения. Лучшая проповедь нового — это такое произведение искусства, которое требует, чтобы к нему подходили совершенно по-новому, исходя не из единожды и навсегда установленных правил, а исходя из тех общественных условий, которые это произведение породили. Ценность произведения определяется степенью его соответствия действительности, степенью его искренности, степенью его мудрости (то есть насколько оно предугадывает будущее, насколько оно отражает в себе элементы этого будущего, имеющиеся в настоящем). Общественное значение произведения — вот главный признак его ценности. В оценке и толковании произведения следует отталкиваться от общественных условий и руководствоваться указаниями науки о том, к чему идет общественное развитие и каков будет следующий его этап.

А так как общественные условия непрерывно и неизбежно меняются, то должны меняться и оценочные нормы при подходе к произведениям искусства.

В этом отношении замечательна судьба Маяковского. Он творил, ни на кого не оглядываясь, ни к кому не приноравливаясь, стараясь сказать обо всем не так, как другие (потому что он видел все полнее и глубже, чем другие). Его отвергали, на него свистали, его не читали, потом его читали и ругали, потом читали и не понимали, но в конце концов Маяковский восторжествовал. Он потребовал нового подхода к себе, он не пошел ни на какой компромисс с общепринятыми вкусами, и если он иногда и подчинял свое перо, то подчинял не общественному мнению, а общественным условиям...

...Он писал так, как требовала действительность для своего наиболее полного выражения. «Вы пишете непонятно», — кричали ему. А он между делом бросал им в ответ: «Ничего! Подрастете — поймете». И — подросли. И подросли в значительной мере благодаря стихам Маяковского. И теперь Маяковский с каждым годом все больше и больше читаться будет.

А ведь такая же история произошла и с Пушкиным, и с Байроном, и с Шекспиром, и с Гейне, и с Гёте. Каждый великий поэт — это прежде всего великий бунтарь, начинающий свое творчество с пересмотра всего на-

следства своих предков; начинающий с разрушения и уничтожения отживших, изгнивших принадлежностей обихода этих предков; начинающий с наведения порядка (то есть беспорядка, потому что для поэта беспорядок — самый лучший порядок) вокруг себя и в самом себе. А дальше он создает новые творения, которые сперва вызывают недоумение всех; затем злость и ненависть тех, кто создать таких вещей не способен; затем любопытство; затем стремление понять эти творения и, наконец, понимание их. Проходят годы, и приходит другой поэт, и опять начинает с бунта, и теперь уже подвергается перетряхиванию и его предшественник, который когда-то сам воинствовал и перетряхивал.

Таков закон развития искусства. Пересмотр наследства каждым крупным поэтом производится не по неприязни к своим предшественникам, а, наоборот, по любви к ним, по желанию сохранить в новых условиях жизни лучшие их достижения. Каждый поэт берет у своих предшественников все лучшее, однако одними этими старыми средствами о новом не скажешь. Новое требует новых средств, способов и приемов выражения. И поэтому поэт ищет свое и находит это свое. И берет его за основу, а уже в нем растворяет лучшую часть опыта предыдущих поэтов.

...Нет ничего противнее, чем человек, для которого похвала — высший закон и высшая цель. Каждый художник сам должен быть своей совестью, сам должен чувствовать свои достоинства, недоработки и промахи. А для этого он должен все время учиться, все время обогащаться, то есть все время меняться, и как бы отходить, отчуждаться от себя, перерастать себя, превосходить себя. Всю жизнь!..

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ

Это было в воскресенье. С утра еще никто ничего не знал. Трое рабочих встретились на вокзале с чемоданами и цветами. Они уезжали на курорт. Известие о войне застало их у билетной кассы. Отказавшись от отпуска, они вернулись в город, на завод.

К часу дня рабочие, служащие уже сходились к своим учреждениям, предприятиям. Слово «фронт» сразу стало звучать по-новому. Молодой врач, встретившись с библиотекарями, сказал им:

— Работникам библиотечного фронта! — при этом он поднял вверх руку, сжатую в кулак по-антифашистски.

Так делали в этот день многие юноши. Да и все люди казались по-юношески молодыми. Только советский народ умеет быть таким мужественным в трудные часы.

С виду в городе ничего не изменилось. Радио весь день гремело марши и боевые песни. Лучшие артисты выступали у микрофона. Слушатели угадывали их по голосам: Лемешев, Яхонтов. Нарядные люди ходили по площадям и улицам. Только чаще спрашивали друг друга:

— Ну, что нового?

Когда письмоносцы принесли газеты за пятницу и субботу, то эти газеты показались старыми-старыми, как будто их выпустили месяц назад. Настолько давними казались описываемые в них события по сравнению с новым событием — войной.

К концу дня вышел экстренный выпуск «Новой жизни». Этот номер был отпечатан на большом листе, на одной стороне. Его разносили по улицам почтальоны. Люди читали листовку на ходу, не отрывая глаз. По углам останавливались группами, читали вслух.

...В учреждениях и колхозах шли митинги. В селах люди собирались прямо на улицах около сельсоветов, около правлений. Ударил дождь, но с митингов не ушел ни один человек. Дождь лил несколько минут, потом сразу перестал, снова засверкало солнце, а тучи поползли на запад. В резолюциях митинга разными словами было сказано одно и то же: «Враг будет разбит, победа будет за нами!»

Митинг проходил в медтехникуме. Здесь все студенты имеют оборонные значки. Многие из них идут в армию, многие подают заявления об отправке на фронт. Юноши сразу почувствовали себя взрослыми гражданами, которые обладают всеми правами и несут все обязанности. Самая главная из этих обязанностей — защищать Родину. Они знают, что такое Родина. Это все богатства, принадлежащие самим трудящимся. Это свобода, не стесняемая ничьей чужой противной волей. Это освещенные ярким солнцем просторы полей и лесов, по которым каждый человек ходит хозяином.

Такой Родине вправе позавидовать каждый!

Люди в такие минуты жизни хорошо понимают друг друга. О войне говорят все. Но никто не произносит сло-

ва «немцы». Врага называют прямым именем, разоблачающим его: «фашисты». А если говорят слово «они», то опять-таки под ним разумеют фашистов. Это говорит о глубокой сознательности советских людей. Мы отлично понимаем тягостную судьбу трудящихся Германии. И там тоже понимают всю подлость и обман своих правителей. Но пелена этого обмана рано или поздно разобьется, и трудящиеся Германии узнают настоящую радость.

«Новая жизнь»
24 июня 1941

НА НАШИХ ПЛЕЧАХ — СУДЬБА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Ни в одной стране не сложено столько песен о счастье, сколько в нашей.

Ни в одной стране мирный труд не был таким радостным, как у нас. Солнце отдает нашей стране большую часть тепла и света. Нас любит солнце. Оно не заходит над нашей страной — так велико ее пространство.

И вот на наши зеленые поля обрушились чужеземные орды. На сверкающие улицы красавцев городов сброшены бомбы, и дым застлал небо над крышами, и грохотом наполнилась синева...

...Отечество в опасности!

К оружию, народ мой!

И встают, стена за стеной, богатырские рати советских воинов. Не только за себя, не только за жизнь своих детей, не только за свою судьбу ведем мы бой.

На своих штыках, на своих плечах мы несем сейчас судьбу человечества. За все жертвы человечества будем мы мстить фашизму в этих боях. И не дождаться врагу от нас пощады.

Посеявший ветер, он пожнет бурю.

Тяжелый час переживает наша Родина. Полный решимости и ненависти, поднялся советский народ на Отечественную войну.

Все для фронта!

В эти дни там, на передовых позициях, решается судьба наших октябрьских завоеваний, судьба каждого из нас, решается исход вековой борьбы трудового народа против притеснителей, против всех, кто не работает, а ест один за десятерых.

История держит в своих руках весы. На нашей чаше — весь мир, на их — шайка головорезов. Они беснуются, прыгают на этой чаше, обезумев от крови человеческой. Они беснуются, стараясь изо всей мочи, чтобы весы качнулись в их сторону! И эта дикая пляска представляется им самим каким-то чудодейственным торжеством!

Но напрасны их восторженные вопли. Германский народ не верит им. Не верит потому, что они обманули его больше, чем других. И сейчас они сулят ему рай земной. «Займите Россию, — говорят они солдатам. — Там вы найдете все: и масло, и хлеб, и вино, и отдых».

Но эти слова немецкие солдаты слышат вот уже несколько лет. И ничего не видят, кроме дул, направленных им в спину. И ничего не слышат, кроме жалоб своих детей и жен.

Немецкому народу нечего делить с нами. Народ Германии знает, в чьи желудки, в чьи карманы идет добыча войны. У немецких капиталистов лопаются кассы от прибыли, а немецким рабочим от этого не легче.

Близок день — терпение народа Германии и других порабощенных народов кончится. Люди расправят могучую спину свою, разорвут путы рабства, и петля, которую изверги готовили для мира, — эта петля захлестнется на их шее.

Поднявший меч от меча и погибнет!

«Новая жизнь»
25 июня 1941



СЕРГЕЙ ЧЕКМАРЕВ

БЫЛА ВЕСНА...

(Стихи, дневники, письма)

Литературная композиция С. Ильичевой

СЛОВО О ДРУГЕ

В Москве в конференц-зале ЦК ВЛКСМ торжественно вручали премии Ленинского комсомола. Награжденных тепло поздравляли, желали дальнейших успехов в труде, в творчестве. Радостные, взволнованные лауреаты благодарили Ленинский комсомол за высокую награду, выражали готовность оправдать ее новыми успехами, новыми достижениями. Лишь один лауреат не мог испытать этого радостного волнения. Этим лауреатом был комсомолец Сергей Чекмарев. Премия ему была присуждена посмертно.

●

...Горная Башкирия в пору цветения — сказочная страна. Таинственные овраги, горы, заросшие буйным кустарником, деревьями причудливой формы, с ветками, растущими прямо из-под земли, диковинными цветами и травами. А высоко в горах стоят четыре памятника. На каждом из них — одно и то же имя, одни и те же даты: «Сергей Чекмарев. 1910—1933».

Всего 23 года прожил на земле этот человек, и для тех, кто его знал при жизни, и для тех, кто впервые встретится с ним в этой книге, он остался вечно молодым.

Что сделал этот юноша за такую короткую жизнь? Чем заслужил он право на бессмертие?

●

«Мы в шубе из мохнатых гор, в теплой лесной фуфайке» — так образно описывал затерявшееся в горах башкирское село Ибряево выпускник московского вуза, старший зоотехник совхоза «Иняк» комсомолец Сергей Чекмарев. Но увидеть природу горной Башкирии в пору ее цветения ему не удалось. В начале мая 1933 года в горной реке Большая Сурень его нашли мертвым. Было ли это убийство или трагическая случайность, установить не удалось.

С тех пор прошло много лет. И образ юноши был не то что забыт, но стал как-то тускнеть в памяти тех, кто знал его, кто был причастен к его судьбе.

Летом 1955 года мне в руки попала необычная рукопись: уче-

нические тетради, записные книжки, детские рукописные журналы, листы оберточной бумаги с неясными записями, множество писем. Письма и в прозе, и в стихах, часто незаконченные, оборванные на полуслове. Многие записи сделаны карандашом, полустерты, неразборчивы. Страницы, написанные чернилами, размыты, строки слились. С фотографии в траурной рамке на меня смотрели серьезные внимательные глаза юноши.

Читать давние записи, сделанные незнакомым, неразборчивым почерком, было очень трудно. Однако бросить чтение я не могла. Никак не организованные, не связанные между собой ни композиционно, ни тематически, они привлекли меня правдивыми наблюдениями, точностью деталей, предельной искренностью. Хрупкие, пожелтевшие от времени страницы как бы излучали душевную ясность, благородство помыслов, радостное восприятие непростой и нелегкой судьбы.

Но ведь это не повесть, не роман, не поэма, не сборник рассказов и стихов, имеющих самостоятельное значение. Ничего не придумано, не сочинено и не заимствовано. Сама жизнь воплотилась в эти правдивые, искренние строки. Их можно было бы условно назвать путевыми заметками, если говорить о жизненном пути. Вместе с тем в этих строках нашла свое отражение романтика поколения юных энтузиастов первых советских новостроек. В беглых зарисовках не только точные приметы времени, но и характерные черты молодого человека новой эпохи — стойкого, мужественного, целеустремленного, — для которого «борьба за лучшее будущее человечества» — главная цель жизни. Образ юноши комсомольца 30-х годов, который вставал со страниц рукописи, во многом типичен для своего времени и в то же время своеобразен и неповторим, как неповторимо все подлинно талантливое. И в этом, может быть, главный секрет обаяния личности автора и лучшего из того, что им написано. Наделенный поэтическим чувством, способностью образно мыслить, Сергей Чекмарев остается поэтом независимо от того, что он пишет. Его стихи часто являются письмами, а письма — стихами, и они переходят одно в другое естественно и органично.

Незадолго до смерти Сергей Чекмарев написал в своем дневнике: «Когда-нибудь я вернусь к этим записям, сделаю явным то, что скрыто между строками. Но не теперь, теперь я с этой задачей не справлюсь...»

Ему не удалось вернуться к написанному. Не хватило жизни! Сделать явным то, что было «скрыто между строками», дать возможность читателям познакомиться с этой полузабытой трагической судьбой довелось мне. Ни одна работа не доставила мне такого удовлетворения, такой творческой радости, как многолетнее погружение в рукописи Чекмарева, в его таинственные «фактошифры», как называл он свои сокращенные записи о заинтересовавших его

событиях, деталях. Чтобы расшифровать их, понадобилось много терпения, труда и любви. Да, я не оговорилась, именно любви, потому что любовь к этому незнакомому мне прежде человеку помогла преодолеть многие трудности, возникавшие во время работы над его рукописями, в поисках людей, знавших его при жизни, а также утерянных стихов, писем, дневниковых записей. И вот, с тех самых пор, как я соприкоснулась с этой жизнью, я приобрела настоящего друга. В трудные минуты я перелистываю его записные книжки, вчитываюсь в его письма, в ставший так хорошо знакомым характерный почерк и нахожу для себя источник силы, бодрости, вдохновения. Вместе с тем, приникая к этим «заметам души», я с каждым разом открываю для себя новые грани характера Чекмарева, новые детали его жизни, творчества.

●

Короткую биографию Сергея Чекмарева можно было бы вместить в несколько строк. Родился в Москве в 1910 году. Закончил школу, учился в институте — вначале в Воронеже, затем в Москве, вступил в комсомол. После окончания вуза уехал на работу в Башкирию. Но за этими скупыми и лаконичными строками — духовно богатая и удивительно наполненная жизнь. Она существует не сама по себе, а в органическом единстве с его поступками, действиями, устремлениями. Но эта жизнь юноши во многом была неизвестна тем, кто его окружал. Его товарищи по школе, институту, по работе в совхозе не знали Сергея таким, каким он предстал перед нашими современниками. Я не раз слышала от его бывших товарищей почти одну и ту же фразу: «Сергей был толковый, развитой парень, хороший товарищ, но таким, каким он раскрывается в книге, мы его не знали».

Сергей по натуре был человеком замкнутым. Потребность поделиться с товарищами тем, что волновало его, возникала у него нечасто. Вместе с тем ведь легко оказаться непонятым и даже смешным, а Сергей был хоть и скромен, но самолюбив — лучше уж остаться наедине с самим собой. И, судя по признанию самого Чекмарева, самым близким, пожалуй, единственным его другом был... лист белой бумаги. Но дело не только в этом. Пишущему человеку всегда легче довериться бумаге, чем даже самому близкому товарищу. Да и сама потребность написать часто сильнее, чем желание рассказать. «Моя жизнь — писал Чекмарев, — неразрывно связана со словом, с этими вот лиловыми чернилами, с этими вот крючочками, и оторвать ее от этого нельзя».

Как и многие его сверстники, Сергей мог обходиться без удобств, без теплой одежды в башкирскую стужу, мог спать на полу, есть «тухлую рыбу», мокнуть под ливнями, замерзать в сугробах, мог

даже обходиться без книг, журналов, литературных споров, дискуссий, в которых он так остро нуждался. Именно о таких юношах поэт Михаил Светлов писал: «парень, презирающий удобства». Но жизни без «чаши чернил» и «верного друга — листа бумаги» он для себя не представлял.

Как и все пишущие люди, Чекмарев, конечно, мечтал о встрече с читателем, но откладывал ее на вторую половину своей жизни. «Первую половину буду писать для себя, вторую для всех». Он принадлежал к тем поэтам, которые не торопятся печатать все, что выходит из-под пера. К тому же все написанное им было адресовано либо самому себе, либо самым близким людям — все было очень личным, интимным, и делать это достоянием посторонних он не считал для себя возможным.

Творить для Чекмарева означало прежде всего заинтересованно жить, видеть жизнь во всем богатстве и многообразии ее красок. И не только видеть, но и постоянно ощущать величайшую радость от сознания своего участия в ней, на любом участке борьбы за будущее. Будь это школа ликбеза, комсомольский политкружок, институтская многотиражка или кампания за сохранение совхозных телят, он всегда умел видеть перспективы происходящего в стране. Этому умению он учил и других.

«Главное сейчас в воспитании, как и в самовоспитании, чтобы человек знал и любил свою работу... чтобы он перспективы всей нашей гигантской стройки видел за этой работой, чтобы он вместе, в ногу шел со всем нашим многомиллионным коллективом». Стране нужны были специалисты во всех областях научной и практической деятельности. Но не просто специалисты, а, как полагал Чекмарев, люди с головой ученого и с «сердцем большевика». Он не только призывает в своих стихах выполнить эту важнейшую для страны задачу, но и сам практически готовит себя к тому, чтобы стать «инженером-большевиком». Поэтому он становится зоотехником — страна остро нуждалась в специалистах сельского хозяйства.

«Быть там, где ты больше всего нужен, где наиболее трудно!» — это для Чекмарева не слова, не романтический призыв, а глубоко продуманная нравственная позиция.

Очень важно отметить, что, какие бы лишения он ни испытывал, никогда он не воспринимал их как жертву. «Я готов бороться за лучшее будущее человечества не в силу аскетического самоотвержения; эта борьба сделает мою жизнь наиболее полной и богатой потому, что я испытываю живой интерес к ее целям».

Живой интерес к коммунистическому завтра, большая внутренняя работа над тем, чтобы стать человеком нового типа, — все это является его главным жизненным призванием, и он следует ему горячо и последовательно. И нет никакого разлада между жизнью и творчеством.

Мне борьба поможет быть поэтом,
Мне стихи помогут быть борцом.

И поэтому так естественно и так органично постоянное сосуществование в его стихах земного и возвышенного, обыденного и необыкновенного.

●

Годы учения в институте — в воронежском, а затем в московском — заполнены многочисленными общественными обязанностями. Сергей участвовал в рейдах «легкой кавалерии», в научном кружке, часто ездил в колхозы — «на силос», «на сеноуборку», на подготовку к весне. Чекмарев вдумчивый, талантливый и безотказный корреспондент институтской многотиражки. Его материалы подчинены ленинскому принципу: побольше конкретности, поменьше словесной трескотни. Но ведь, кроме многообразия дел, с ним всегда была поэзия. И именно в студенческие годы написано большинство его стихов. Приходится только удивляться — как мог он находить для всего время, душевные силы, вдохновение.

Месяцы учения в институте сменялись месяцами работы на практике в деревне.

Командировки на колхозное строительство в наиболее трудные и сложные места дали Чекмареву политическую закалку. Здесь создавалась новая жизнь, создавалась в ожесточенной схватке со старым, отживающим. Поездки в деревню юноша воспринимал как боевое задание. «Мы — солдаты второй большевистской весны» — так называл он бригаду студентов — участников весенне-посевной кампании 1931 года. Слова «вторая большевистская» не раз встречаются в письмах и стихотворениях Сергея Чекмарева.

Большевистская эта вторая весна,
Я увидел ее на равнинах Урала.
Она мне трактором в уши орала,
Она зачастую лишала сна.

В эту весну на обширные поля вышли не частные собственники, не единоличники, а организованные в колхозы труженики социалистической деревни. Сергей не только восторженно приветствует все новое, прогрессивное, но и активно борется за него. В селах Уральской области он читает лекции на курсах колхозных животноводов, руководит комсомольским политкружком, выпускает стенную и «живую» газеты, организует выступление художественной самодеятельности. И во все вкладывает и кипучую энергию, и поэтический талант, и сердечную теплоту.

«Я старался держаться проще, душевнее», — пишет Чекмарев в одном из писем, рассказывая о своих выступлениях перед ураль-

скими крестьянами. Слово «душевный» в те годы, в обстановке острой классовой борьбы, было непопулярно. Но Чекмарев его не боялся. В одном из стихотворений он, обращаясь к сыну, которого ему страстно хотелось иметь и которого у него никогда не было, призывает сберечь душевное богатство: «не рвать у жизни края!», «земные не ранить сердца!» Именно этим душевным отношением к людям, теплотой и человечностью привлек он наших современников.

В годы юности Сергея Чекмарева слово «романтика» редко употреблялось. Не встречала я этого слова и в его рукописях. Но подлинной романтикой овеяны и его поступки, многие высказывания и размышления. Быть членом Ленинского комсомола для Сергея не только высокая честь, но и высокая обязанность. «Комсомольский билет, — писал он, — это кусочек картона, который люди с веселыми глазами, упрямыми головами берегут, как сокровище, хотя он и не дает им ничего, только накладывает обязательства быть первыми в труде и борьбе». И человек, обладающий этим сокровищем, не может, не должен мириться с недостатками, равнодушно относиться к тому, что мешает строить новую жизнь. «Недаром же сквозь жилет у тебя, как заря, как пламя, горит комсомольский билет».

Его беседы с крестьянской молодежью, советы младшему брату — хорошо продуманная система воспитания вступающего в жизнь молодого человека нашей эпохи.

Месяцы, проведенные в селах Уральской области, — очень важный период в политическом и творческом развитии Сергея Чекмарева. В селе Красном он встречается с участниками гражданской войны, слушает их рассказы о легендарном походе Блюхера. Жизненные впечатления обогащают его поэтическую палитру — в стихах усиливается гражданское звучание. Жизнь — новая, неизведанная — властно вторгается в его письма, предстает перед нами в реалистических зарисовках, в живых, достоверных картинах. Сколько интересных тем в письмах, как разнообразны жанры, в которых пробует он свои силы. Новелла «Утонула собака», стихотворение «Где я? Что со мной?» и многие другие зарисовки и стихотворения уральского периода представляют собой интереснейший сплав подлинной документальности и художественного вымысла. И может быть, именно в этом основное своеобразие его творчества.

В своей пропагандистской работе Сергей очень охотно обращается к «малым» формам. Он пишет тексты для «живых» газет, частушки, стихотворные пародии, всевозможные раешники на местные темы. Пишет с огромным увлечением и с такой же серьезностью и ответственностью, как и все другое.

14 В. Кубанев. С. Чекмарев

●

П. К. С. — три буквы на обложке общей тетради — обыкновенной ученической тетради в коричневом клеенчатом переплете. Серая в желтых оспинках бумага производства конца 20-х годов, бледные, выцветшие чернила, нечеткий почерк с замысловатым рисунком букв. Всякий раз, когда я перелистываю эту тетрадь, необычайное волнение охватывает меня. Мне кажется, что в моих руках не просто тетрадь, а живое трепетное сердце Сергея Чекмарева, то наполненное радостью и ликованием, то безысходной тоской и отчаянием. До 22 лет Сергей ни разу не испытал сильного чувства к девушке. Его огорчает и пугает этот существенный пробел в его жизни. «Неужели я любить не способен? — спрашивает он себя. — Неужели так и буду всю жизнь встречаться и тут же разочаровываться? Скучно, когда в сердце нет жильцов. Нет, не скучно, а страшно!»

Но опасения были напрасны. Любовь пришла, и именно та, которую принято называть настоящей. Она захватила все его существо, привела в смятение душу, лишила ее так долго сохраняемого равновесия. Она принесла с собой и радость, и боль, и надежды, и отчаяние. Она потребовала от этого неискушенного сердца большого мужества. Трагизм положения состоял в том, что Сергею довелось полюбить женщину, которая любила другого человека, следовательно, рассчитывать на ее взаимность было безнадежным делом. Но пока он еще этого не знал, он был счастлив уже оттого, что мог находиться рядом с любимой, «смотреть на нее, слушать ее, с кем бы она ни говорила... Я был беспричинно и чудесно счастлив. Все радовало. Все казалось прекрасным. Ни на кого я не был в силах рассердиться. Мне даже самому было удивительно это мое радостное настроение». Это признание очень точно передает подкупающую искренность и свежесть чувства, которое могло возникнуть только в очень чистой душе.

Так было, пока Сергей не узнал горькой правды. Жестокая, неумолимая, она выбивает из колеи, нарушает нормальную работу его «зеликолепного» сознания. Что же делать? Самое простое — примириться с фактом и перестать встречаться с Тоней. Время вытравит любовь из его сердца. Так советуют друзья. Но Чекмарев принимает другое решение. Надо помочь Тоне освободиться от любви к человеку, которого Сергей считал недостойным этого чувства. Надо вернуть ей веру в будущее, надежду на счастье. Надо всячески облегчить ее положение. Такое решение и дальнейшее поведение Сергея кажутся окружающим смешными и нелепыми, но Чекмарева это не смущает. Взвалив на свои плечи столь сложную задачу, какими средствами располагал он, этот юноша, не искушенный в сердечных делах, сам бесконечно влюбленный, как и в

других трудных обстоятельствах, на помощь призвал поэзию. Она была его союзницей и оружием и в этой непосильной борьбе. Знакомясь со стихами этого периода его жизни, убеждаешься в том, как самоотверженно и великодушно он любил. И в этом чувстве проявились его лучшие качества: душевная чистота, благородство помыслов, цельность натуры. Как ни тяжело ему придется, он будет оберегать свое чувство и пронесет его через «насмешки товарищей», «сутолоку группы», недовольство родителей, через всю жизнь.

Я буду здесь, я буду злиться...
Я буду верен до конца!
Из сердца все на свете лица
Не выжгут твоего лица...

И мы видим, как мужает от пережитых чувств сам поэт, как мужает и обогащается его муза. Любовь Сергея, как горька ни была, обогатила его стихи и новыми чувствами, и новым содержанием. А вместе с новой темой появляются новые стилистические приемы. Формальные приемы, навеянные поэтикой Маяковского, начинают уступать более самостоятельным и более органичным для лирики Чекмарева.

Любовь к женщине, как ни была она велика, не заглушила в его поэзии гражданские мотивы, публицистическую страстность. Разнообразные по интонации, оригинальные по форме, они несут в себе интересные мысли, глубокие раздумья, значительное содержание.

Что же скрывал Сергей Чекмарев под тремя буквами П. К. С.? Буквальной расшифровки этих букв я не нашла в его рукописях. Думаю, что не ошибусь, если раскрою их смысл следующим образом: «Писано Кровью Сердца».

●

«Башкирия бьет рекорды» — так писала институтская многотиражка весной 1932 года. Газета била тревогу по поводу тяжелого положения, создавшегося в животноводческих совхозах автономной республики. Здесь ощущалась острая нужда в квалифицированных специалистах, и именно сюда, на передний край борьбы за новое социалистическое сельское хозяйство, уехал после окончания института Сергей Чекмарев. Отъезд в Башкирию означал для Сергея разлуку с любимой, может быть, навсегда. Письма с дороги наполнены безграничной тоской. Чтобы как-нибудь смягчить остроту разлуки, он пытается прибегнуть к юмору, шутке, но ему это плохо удается. «Наверно, я сердце тоской пережег!»

Как ни горька разлука с Москвой, Сергей находит в себе силы для преодоления охватившего его чувства безнадежности.

Я буду там, где должен быть,
Куда поставит класс!

Комсомольский долг, мысли о предстоящей работе, активный интерес к будущему помогают ему обрести душевное равновесие, свойственную ему жизнерадостность. В письмах появляются веселые интонации, остроумные шутки, мальчишеское озорство. Тоску оттеснили новые впечатления, чувство ответственности.

Башкирский период жизни Сергея Чекмарева был очень коротким — с апреля 1932 по май 1933 года. Но это был, пожалуй, самый насыщенный, самый сложный год в его жизни. Сюда он приехал не студентом на практику, а «инженером-зоотехником» — так значилось в его дипломе. Необходимо было самостоятельно решать сложные вопросы в таких неблагоприятных и трудных условиях, какие часто были не под силу умудренным жизнью и опытом старым специалистам. А у этого молодого зоотехника, выпущенного сверхускоренными темпами, не имеющего не только опыта, но даже малейшего представления о животноводческом совхозе, уже первые дни пребывания на работе должны были вызвать горькое сожаление о добровольном выборе. «В совхозе никого и ничего нет — торричеллиева пустота» — так коротко определяет он обстановку в одном из своих писем. Сергей трезво ее оценивает, но никакого уныния, никакого сожаления мы не найдем в его посланиях в Москву. Наоборот, он весь наполнен радостным ощущением жизни, верой в свои силы, гордостью за доверие. Он называет глупыми тех людей, которые жалели его в Москве: «Вот, дескать, человек с высшим образованием, а едет в деревню, в глушь, да еще на постоянную работу». Да, он готов признать, что работать здесь очень трудно. Но «лучше трудно, чем нудно!». «Нудно» — значит сидеть в канцелярии — «где-нибудь в тресте скрипеть пером» — это не для него, не для юноши, полного веры в будущее, с постоянной готовностью к подвигу. «Я овладею работой... Никуда я отсюда не вырвусь. И не может этого быть!» И это не наигранный оптимизм, а глубокая убежденность, искренняя и страстная увлеченность делом.

Никак не удается наладить семейную жизнь, его любимая то приезжает к нему в Башкирию, то уезжает, и каждый ее отъезд приносит Сергею тоску, одиночество. Но в стихах он обретает силу.

Несмотря на то, что Сергей действительно еще «только жил», еще писал «для себя», он успел к двадцати трем годам разрешить многие вопросы, которые встают перед тем, кто серьезно ищет свое место в жизни, кто берется за перо. Он добился в своих стихах естественности, простоты, эмоциональной выразительности.

Ощущение радости жизни, восторженное поэтическое отношение к ней выливаются в искрящиеся юношеской свежестью и бодростью строки.

На сердце снег,
На сердце снег,
На сердце снег садится.
Храни в груди веселый смех,
Он в жизни пригодится!

Выполнение простого и нужного людям дела усилило в нем чувство причастности к жизни. Сергей полюбил эти края. Здесь у него появились друзья — верные, неизменные: солнце, снег, башкирские горы с их причудливыми очертаниями и редкой красотой, его постоянный спутник Маруська или Гнедой, «с такой вот теплой кожею и гривою коня, с такой вот хитрой рожею, глядящей на меня». Он подружился даже с «косматой» метелью и «голубушкой вьюгой» и находит для них теплые слова.

Среди снежинок шелковых
в нагроможденье скал
я только здесь нашел себе,
чего всю жизнь искал.

И когда появляется возможность покинуть Башкирию и вернуться в Москву, Сергей остается. А соблазн был велик: родной город с лучшими в мире театрами, музеями, библиотеками, литературной средой, где «измы лезут на измы», с таинственными «залами с экранами», а здесь — свирепые бураны, черновая, никому не заметная работа, повседневная борьба за каждого теленка, за каждый клок сена, грубость, невежество... Частая смена директоров создавала благоприятные условия для того, чтобы все их ошибки приписывать «ученому зоотехнику».

Борьба была недолгой. Она завершилась победой всего лучшего, что составляло его внутренний мир. С большой выразительной силой она раскрыта в стихотворении «Размышления на станции Карталы».

У меня никогда не хватит духу,
Ни сердце, ни совесть мне не велят
Покинуть степь, гурты, Гнедуху
И голубые глаза телят.

Это решение можно с полным правом назвать подвигом. Через несколько месяцев Сергея Чекмарева не стало...

Следуя печальной традиции, Чекмарев нарисовал картину своей гибели в одном из стихотворений:

И снова молчанье
Под белою крышей...
Лишь кони проносятся
Ночью безвестной.
И что закричал он —

Никто не услышал,
И где похоронен он —
Неизвестно...

Нельзя без скорби читать эти удивительные строки, в которых с такой остротой передано ощущение времени, предчувствие трагического конца.

Но не только скорбью наполняется душа. Нет, эта жизнь не кончилась! Она продолжается в наших делах, в наших сердцах, в нашей литературе, открыв в ней новую страницу. Она вызывает чувство гордости за советского человека. Человека с большой буквы, живущего с постоянной готовностью к подвигу, устремленного в будущее. И в знак бесконечности его жизни пионеры и комсомольцы Башкирии воздвигли ему памятники. Сюда, к этим памятникам, приходят выпускники школ, молодожены в день свадьбы, здесь вручают комсомольские значки, посвящают в пионеры. Молодежь Башкирии чтит память московского комсомольца. Примером всей своей жизни он помогает воспитывать юное поколение стойким, мужественным, не боящимся никаких трудностей.

Он жил как боец, погиб как солдат,
Борясь до последнего слова.
Сегодня — в строю — воюют, звучат
Живые стихи Чекмарева.

Эти строки написал один из читателей. В них он выразил мысли и чувства многих советских юношей и девушек, для которых Сергей Чекмарев стал примером в жизни, творчестве, любви.

Шагавший в одном строю с энтузиастами первой пятилетки, Сергей Чекмарев стал дорогим и близким нам, героем наших дней. И тем, кто поднимал целину, кто строит БАМ, кто совершает полеты в космос. Его с полным правом можно считать нашим современником.

Товарищи!
Дни пятилетки идут.
Октябрьские
дуют ветры!

И реяли над ним те же озаренные октябрьским пламенем ветры, что реют и сейчас над нами, призывая к свершению великой мечты, за которую боролся Сергей Чекмарев.

С. ИЛЬИЧЕВА



ПЕРЕД ЭКЗАМЕНАМИ

●

Дорогие беззубовцы!

Еще немного, и я, право, начну вам завидовать.

В самом деле, посудите сами, разве можно хорошо чувствовать себя в таком месте, где воздух — в аптечных дозах, автобус — едет (а что ему больше делать?), но и пылит при этом, а дым от котлов, в которых варят асфальт, укутывает дома черными майками? И разве может такое место сравниться с вашим идиллическим Беззубовом, где загар — слоистый, как навоз, где за сеном ухаживают, как за сыном, а минута считается бесконечно малой величиной? Где по полям ходят шустрые и ловкие беззубовцы, остроумные беззубовцы, краса и гордость всей Косяевской волости.

Недаром говорит пословица: молодец против овец, а против беззубовца и сам овца!

Я должен сообщить вам о своих делах с вузом. Заявление я подал в МВТУ на механический факультет. Конкурсных мест там очень много — целых девять, а заявлений пока подано «пустяки» — 295.

Письма ваши получил. Простите, что только сейчас собрался ответить. Прошу вас, не давайте слишком хлопотливых поручений, как, например: «Передай привет папе и остальным москвичам». Ведь остальных москвичей не два-три человека, а около двух миллионов.

●

Здравствуй, бабушка и Нина,
Здравствуй, Лида * и «Бутон»!

---

* Нина и Лида — сестры Сергея Чекмарева.

И «Милушка», друг старинный,
И с котятами корзина,
И хрю-хрюшке мой поклон!

Жить в Москве не очень сладко —
Тут и пыль и духота,
И с погодой непорядки,
И проклятые тетрадки,
И весна совсем не та.

Серый дождь в окно мигает,
Вьется скучный дым из труб,
Скука, сон одолевает,
И ничто не помогает —
Книга валится из рук.

Утром день такой же гадкий,
Облака черны, как ад,
Соберешь свои манатки
И несешься без оглядки
На центральный книжный склад.

Книги, счеты, подотчеты,
Буквы, цифры и значки...
После трех часов работы
Уж в мозгах перевороты,
И не пальцы, а крючки.

Вечера еще печальней,
Скучно, тесно, утомлен,
И, плетясь дорогой дальней
В перегретую читальню,
Вспомнишь: как-то там «Бутон»?

Если ж день случится жаркий,
Жарко, значит, горячо.
Солнце топит, как кухарка,
И кладет, кладет припарки
На затылок, на плечо.

Денег нет ходить в кино нам.
Да к тому же много дел,
Даже (что пишу со стоном)
В «Арсе» с Бестером Китоном
«Три эпохи» не смотрел.

Вот вам новости все вкратце.
Толя в Крым уж взял билет.
Привелось мне любоваться
На такое счастье братца,
Приведется вам иль нет?

Напишите мне в ответе
Про свое житье-бытье,
Что вы делаете летом,
Да про то, про се, про это.
До свиданья,
Чекмарев.

●

Сейчас день, солнце, жара, ветра нет, деревья от этого кажутся зеленее, но лица чернее. При такой температуре часы в жилетном кармане легко могут расплавиться и потечь ручейками по пиджаку. Москва любит иногда попотеть, но зато любит потом с разбегу встать под душ и плескаться в ледяной воде. Дождик — самое мое любимое удовольствие; хорошо в это время лежать на окне и смотреть на улицу, особенно если ветер. Воздух чистый, брызги попадают на лицо, дома распускают серебряные косички, крыши краснеют, а внизу бегут ручьи и люди.

Получили ли мою фотокарточку? Не правда ли, я выгляжу лучше, чем в прошлом году? Так как я за это время не изменился, то предполагаю, что фотография делает успехи.

Если так пойдет и дальше, то через двадцать лет самый некрасивый человек будет выглядеть на снимке, как Мери Пикфорд.

●

Письма ваши получил пополам с творогом. Если бы я их ел, они мне понравились бы больше, но я их только читаю. В следующий раз, когда будете с кем-либо посылать письма, кладите их поудобнее. Я пока живу весело — беспрерывно пишу и читаю учебники по физике и математике. С приезда я написал 280 страниц — это несмотря на то, что в это же время я носился с документами и заявлениями. Убавился в весе я пока на

один фунт. Это, вероятно, тот фунт, который я исписал (полагаю, что 280 страниц весят никак не меньше фунта).

●

Что же это вы, дорогие товарищи! Пишут — скучно, делать нечего, а сами не могли написать письма. Позабыли, что в Москве остался «маленький» братишка, да?

Погода у нас стоит очень хорошая, по сравнению с той, которая на Северном полюсе. Дождик ходит довольно регулярно, каждый день в обеденное время. «Скучать» мне здесь некогда, потому что дел по локти и я постоянно занят. Сейчас занимаюсь исключительно обществоведением и литературой. По литературе исписал уже 370 страниц, а исчитал (вероятно) 3700.

Видел картину «В большом городе». Вот глупая вещь! Из интересной темы сделана каша.

Прежде всего что за содержание? Некий талантливый, как говорится, юноша живет в провинции и пишет этакие забористые стишки («В город, в город, в город, в город! Широко распахнут ворот. Верст бы тыщу отмахал, мир стихами распахал»). Встретясь случайно с одним шарлатаном-писателем, он соглашается на его предложение ехать в Москву завоевывать славу. И действительно, слава к нему приходит, он становится известностью (поэт Граня Бессмертный).

Но тот же писатель втягивает его в богемный быт. Юноша пьянствует, кутит, наконец «теряет талант», и редакция отказывается его печатать. В противовес ему в фильме выводится его приятель, который тоже «гений» (изобретатель каких-то универсальных шкафов), тоже приехал в город за счастьем, но не ходит по кабакам, работает, добродетельно влюбляется в дочь своего начальника, никогда, по-видимому, не бреется и очень похож на гориллу.

Что можно вывести из такого фильма?

1) «Если ты человек талантливый, то не должен пьянствовать и сбиваться с дороги, ибо погубишь свой талант». Мысль, как видите, справедливая, но, увы, слишком подразумевающаяся сама собой, чтобы ее иллюстрировать еще кинофильмами.

2) «Если ты человек талантливый и хочешь распахивать мир стихами или универсальными шкафами, то не сиди в провинции, а поезжай в большой город». Эта

мысль вытекает из фильма, может быть, независимо от воли постановщиков, но посудите сами: изобретатель едет в город и там делает себе карьеру, поэт едет в город и моментально становится известностью, правда, потом теряет ее, но сам виноват — не пей. Можно сделаться знаменитостью и потом пьянствовать в меру. «Так я и сделаю», — скажет какой-нибудь провинциальный поэт, покупая себе билет Зарайск — Москва.

В чем основная ошибка этого фильма? В том, что он основным злом писательской богемы считает то, что богема эта губит таланты, а не то, что она губит простых, средних людей, которые должны бы работать. Средние (а тем более плохие) стихи писать нетрудно, и многие, кому далось это умение, воображают, что они должны сделаться поэтами. Они отрываются от производства, идут в богему (они-то ее и составляют) и стремятся сделаться писателями-профессионалами, между тем как в сущности не способны к этому. Кто-то верно определил богему как сборище непишущих писателей, нерисующих художников и т. д.

●

Беззубые миловцы!

Если я не писал вам писем — а я действительно их не писал, — то только потому, что не было времени. Но теперь экзамены кончены, последний черновик скомкан и последняя книга захлопнута. Время опять расцветает, и карандаши обрастают почками. Двадцатая буква русского алфавита украшает мои экзаменационные ведомости. Что же касается собственно приема, то я на него не надеюсь. Бедный Макар, — я попадаю всегда в тот вуз, в котором теснее всего.

Наверно, вы жалеете, что я живу в душном городе. Вы думаете, что если я вижу дерево, то не надо далеко идти, чтобы попасть под автомобиль. Однако это не так. Каждое утро трамвай № 12 возит меня по зелени, осторожно держась за проволоку. Кругом зреют овес и клевер. Ходят коровы и щиплют траву. Рожь тут не вся еще скошена.

Бываю я также в Парке культуры. Не говоря уже о волейболе и купальне, там есть такие вещи, как бесплатные души, комнаты для викторины, психологический кабинет, читальня на крыше и тому равное и тому подобное.

Был я и в психокабинете. Оказывается, что у меня самое хорошее — это память. Сообразительность выше среднего, а что касается фантазии, то ее, увы, почти нет. Впрочем, под фантазией здесь понимается способность рассматривать в необычном пятне разные обычные вещи. Так же условны и другие испытания. Бесспорно, что существует столько видов памяти, сообразительности и фантазии, сколько есть видов умственной деятельности.

Товарищи, вы мало мне пишете. Мне приходится самому придумывать сведения о вашей жизни.

Вот они: вы живете пока ничего, все живы, здоровы. Погода стоит хорошая, но в пятницу шел дождик. Волейбол не устраивали, «все как-то некогда». Занятия также не идут — «все как-то не хочется». Надо бы к четвергу написать письмо брату, но «что-то не пишется».

Правда, ведь так?

АМЕРИКАНСКИЙ БОЕВИК

Быстрее
    афиши
        на стены лепи —
Сегодня
    город в угаре:
Картина
С участием
    Гарри Пиль.
Гарри!
    Гарри!
        Гарри!
У кинотеатров
    растут хвосты —
Не кинотеатры,
    а звери.
Как хищные зевы,
    как жадные рты,
Хрипят
    огнезубые двери.
Толпа,
    как стена.
Цена за билет
    не дорога ли?

Зато на экране
    покажется нам
Сам
    замечательный Гарри.
На экране хлещет
    кровь из вен.
Героиня в слезах,
    лошади в мыле,
От этой сырости
    в голове
Разводятся
    странные мысли.
Вот рядом
    на стуле № 6,
На дикие гонки
    любуясь,
Сидит малыш,
    и в его душе,
Наверно,
    бушует буря.
Представим дальше:
    положим, сели вы,
А малыш рядом
    взгляды шлет:
«Хорошо бы, как сыщик
    из второй серии,
Быстро, бесшумно
    стащить кошелек!»
Или представим
    другой кадр:
Гаврикова улица ночью,
И из тьмы
По темени чья-то рука,
Мускулистая очень.
Известно —
    у девочек другие привычки
И мысли
    тоже другие.
Они в темноте
    мечтают выйти
Замуж за Гарри Пиля.
Чтобы выглядеть как героини кино,
Побросав иголки и ножницы,
По вечерам
    выползают из нор

«Заслуженные» киношницы.
Если бой
	в переулке гремит,
Если мальчик
	и уже бандит,
Если у девочек
	шикарный вид,
Это —
	американский
		боевик!
Выводы:
	чтобы сделать кино
		хорошее,
Избавить
	мозги от туманной гари,
Давайте с экрана
	прогоним в шею
«Замечательного»
	Гарри!

ДЛЯ ПАМЯТИ

Вероятно, многих
	позабуду еще —
Разбросаю память
	по годам.
Второпях шагая
	в позабудущее,
Время быстро мчится,
	как всегда.
И звереныш — злоба, ухватив
	раз пять,
Распушит помягче
	лапки цепкие —
Вместо электрических распятий
Смутно встанет:
	«Сакко и Ванцетти...»
Чтобы эту боль
	не забыть второпях,
Не простить озверелой банде,
Я хочу на своих
	полотняных стихах
Завязать узелок
	для памяти.

Чтоб тяжелым укором:
«Как же вы?!»
Чтоб примером,
душу обжигающим,
Чтобы встали оба,
как живые,
Как живые,
но
умирающие...
За то, что коммунисты,
за то, что организаторы,
Что сердца тверды,
что слова колючи,
За то, что, может быть,
послезавтра
Участвовали бы в революции!
За все за это
под нелепым предлогом
Конвой... Штыки...
арестуют...
тащат...
В самом деле:
разве долго
Буржуазии убрать
мешающих?
Современная фурия —
губернатор Фуллер
Приказом на город
ружья выпулил.
Город окружают войска,
полиция...
Не позабудется ли?
Отомстится ли?
Под ветром жестоким,
в грядущее дующим,
Газетный листок,
трепыхайся пуще!
Ток пущен!
Вы что, ополоумели?
В сердцах возмущение,
горечь
обиды:
«Еще вот
двое невинных
умерли,

Нет, не умерли:
    УБИТЫ!»
После черных туч
    и бури жестоки.
Как не подумали они хотя бы
    о том,
Что сажать
    народных вождей
        за решетки
Все равно
    что черпать воду
        решетом!
. . . .
Обмякнет, однако,
    капитализм-неврастеник.
Хоть и чугунные мускулы,
    но погляди:
Имеются приметы
    и печать вырождения
На его бронированной груди.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ О ПРОЧИТАННОМ *

●

Читаешь книгу «Как работать писателю» и удивляешься: автор старательно объясняет, что слова можно употреблять не в прямом, а в переносном смысле, например: «Темный человек»; что можно сказать: «Я две тарелки съел», хотя едят не тарелки; что можно сказать фразу в виде вопроса, хотя никакого ответа на нее не ждут («Где ты, где ты, отчий дом?»), и т. д., и т. п. Но ведь всякий начинающий писатель, как бы плохо он ни писал, эту-то элементарность знает: и «Темный человек» он напишет, и «Я выпил два стакана» он напишет, и «Где ты, моя молодость?». Так что подобные объяснения излишни. Писатель, прочитав эту книгу, напишет «Кудрявая березка» и горделиво подумает, что «кудрявая» — это эпитет. Что эпитет — это верно, но эпитет, литературно ничего не значащий. А как же сделать его литературно значащим. об этом в книге не говорится. «Чем больше эпитетов, тем лучше», — говорит автор, но сей-

* Отрывки из рецензий и литературного памфлета «О мамонтах».

час же оговаривается: «Но если подбирать их зря, без нужды и смысла, то от этого написанное станет только непонятней».

В таком плане написана и вся книга. Например, приведем полностью указания автора «как кончать рассказ».

«Окончания рассказа тоже бывают различные. Рассказав развязку, автор иногда высказывает в заключение какие-нибудь мысли, бросающие свет на отношение автора к изображенным событиям. Иногда автор, закончив рассказ, прибавляет к нему в сжатом виде изложение событий, имевших место через некоторое время после конца действия рассказа».

Прежде всего — понятно ли это будет начинающему (деревенскому) автору? Думается, что нет. Но если даже кто и поймет, что это ему даст? Как можно такие окончания искусственно применить к рассказу? Что получилось бы, например, если бы Чехов закончил рассказ «Мальчики» сообщением о том, что Чечевицын окончил школу и куда после этого поступил?

Что сказать о советах молодым поэтам? Собственно, ни советов, ни указаний нет, а есть только объяснения, что такое ямб, хорей, дактиль, анапест, амфибрахий, цезура, стопа, строфа и т. д.

Хочется спросить: а что, если написать стихотворение, например, правильным амфибрахием, с цезурой во второй стопе и богатыми мужскими и женскими рифмами — будет ли это хорошим стихотворением, или же для искусства нужно что-то еще? А если нужно что-то еще, то об этом и нужно говорить.

●

Наконец-то начало выходить полное собрание сочинений Хлебникова. Факт этот сам по себе положительный. Но некоторые критики стремятся, отвоевав себе Хлебникова (где же они были при жизни поэта?), ударить им по своим литературным неприятелям. Признав Хлебникова крупным поэтом и причислив его к лику классиков, эти критики начинают хлестать современных поэтов лучами его ореола.

Раскрываем первый том сочинений Хлебникова и читаем в предисловии:

«Маяковский пользуется результатами достижений Хлебникова (см. «Война в мышеловке»), не использовав

его принципов. Он монополизирует лишь один из ритмических (и рифмических) приемов Хлебникова и возводит его в свой основной и однообразный принцип».

Ясна попытка представить Маяковского одним из незначительных эпигонов Хлебникова. Поэзия Маяковского чужда автору предисловия, и потому он не может допустить, что Маяковский и сам крупный поэт, а не вульгарный эпигон.

Казалось бы, что, располагая рукописями Хлебникова, автор мог полнее всех осветить связь Маяковского с Хлебниковым, о которой так многозначительно говорят. Однако он ограничивается вышеприведенными фразами. К сожалению, автор предисловия не одинок. В журнале «На литературном посту» мы находим следующие рассуждения:

«Поэты из Нового Лефа отказываются от задач, стоящих перед современной поэзией (что же это за задачи? — **С. Ч.**). Их прежние достижения в значительной мере предопределены были работами Хлебникова (ранний Асеев, многое у раннего Маяковского). Сейчас и Асеев и Маяковский начали бесконечно повторяться... Со времени выхода «Только нового» Маяковского и «Поэм» Асеева эти поэты не подошли ближе к современной жизни и застыли на прежних своих позициях».

Получается очень простая история: жил Хлебников, а Маяковский и Асеев, заимствуя его достижения, двигались понемножку вперед. Но вот Хлебников умер — и стоп! Маяковский и Асеев дальше не двигаются, застывают «на старых позициях». Здорово!

Но довольно! Тенденция этих «критических» мыслей ясна: лепить гипсовые бюсты Хлебникова и разбивать их о головы современных поэтов. Больше всех, конечно, попадает Маяковскому.

Это дурная тенденция!

Признавая гениальность Хлебникова, необходимо понять, что поэзия Маяковского обладает гораздо большей социальной значимостью, доступностью, простотой.

О МАМОНТАХ

Отрывки из литературного памфлета

Как-то в ненастный осенний день, когда тучи текли по небу, а ветер теребил уши, на розвале, «вместо рубля, за пять копеек», я нашел одну книгу под названием

«Маяковский во весь рост». Я купил ее для своей коллекции печатных курьезов. И признаюсь, эта книжка доставила мне живейшее удовольствие. Я нашел в ней такую оригинальную глупость, такую непроходимую пошлость, такое девственное непонимание искусства, что книга по праву заняла первое место среди себе подобных. Мамонты еще не редки в наше время, но они тяжеловесны, любят ученые слова, они надевают на лицо внешнюю доброжелательность к новому искусству.

Автор этой книжки развязен, популярен и откровенен, он решительно написал то, что некоторые мяли во рту, не решаясь высказать, а именно, что поэзия Маяковского — это «шутовство», «хулиганство», «идиотство», но никак не поэзия. Уже одно это делает книгу ценной. «Когда-нибудь, через сорок лет, по этой книге будут изучать психологию мамонтов, — подумал я. — Побережем ее для будущих историков литературы». Каково же было мое удивление, когда я встретил эту книгу в районной читальне, и тогда-то я понял, что писать о ней надо сейчас, а не через сорок лет.

. . . .

...Итак, вот оно, печальное лицо мамонта, надевшего на себя современную маску. Вот он — отчаянный смех вымирающего животного перед неудержимой лавиной нового. Может быть, он еще не подозревает о своей участи, может быть, он еще думает затоптать север своими копытами — все равно. Да здравствует хрустящий снег, неумолимые льдины, да здравствует северное сияние!

«БОЖЕСТВЕННОЕ» БЕЗЗУБОВО

I

И под звонок
      и под свисток
Рванулся поезд
      на восток.
В такую мглу
      какой восторг!
Лететь через мосток!
Блеснет фонарь
      из-за угла,

И мы к нему
    летим стремглав.
Кругом,
    зажмурив солнца глаз,
Спокойно пашня улеглась.
Наш паровоз,
    лети вперед,
Несись
    под гул и скрежет!
Рукой берез
    меня берет
Ночная эта свежесть.

II

Хлопья пара
    быстро валят,
Тают,
    виснут на сосне.
Плыли искры
    и скрывались
В искривленной
    синизне.
С ближней рощи
    палки-елки
В окна прут
    ежом-ершом.
Темь и ветер,
    елки-палки!
До чего же хорошо!

III

Светает.
    Едем лесом мы,
Цветам лицо соря.
Глазами
    жгла белесыми
Рязанская заря.
И дым
    за тучку прячется,
И день
    от солнца розовый,
И рощица
        таращится

Ручонками березовыми.
В дыму речушки занесло.
Лечу на чугуне я,
И чудится —
        Узуново
Из-за лачуг виднеется...

ДАЧНИКИ

Они встают поздно, в 9—10 утра, когда солнце пробежит уже достаточную дугу и образует с землей угол больше сорокаградусного. Впрочем, в этом у них наблюдается некоторое несходство привычек: длинный и тощий Эсча * любит вставать пораньше и наслаждаться благами летней природы (яблоками), старшая сестричка Энча вместе с толстой и неповоротливой Элчей предпочитают поваляться подольше в постельках. А младший Ача удивительно непостоянен: то он спит дольше всех, и его приходится за ноги стаскивать с постели, то вскакивает раньше всех и насмехается над сестричками. Впрочем, наклонность к некоторой насмешливости над проспавшими замечается у них у всех. Даже добродушный Эсча и тот при виде всякого вставшего позже восклицает притворно-изумленно: «Чего-то ты так рано!» Остальные же идут гораздо дальше: они поражают жалами насмешек в самое сердце и доводят несчастную жертву до негодования и слез. Однако насмешки не мешают им вставать как можно позже, и они даже придумали для себя два подходящих оправдания: первое — «Когда хочу, тогда встаю» и второе — «Вон Ача встал как-то раньше, да взял да и разбил окно в кухне». Оправдания эти по своей убедительности напоминают купеческое: «что хочу, то и делаю» и «вон соседка отдала сына учиться, а он глаз-то и выколол», а по способу доказательства они похожи на 1) «дуракам закон не писан»; 2) «нет, я не был за границей, но мой брат играет на скрипке».

С самого «раннего» утра (с 12 часов!) у них начинаются дела хозяйственные, которые заключаются в мытье посуды, уборке постелей, подметании пола. Про-

---

* Эсча — Сергей Чекмарев, Энча — Нина Чекмарева, Элча — Лида Чекмарева, Ача — Анатолий Чекмарев.

изводятся они с такой тщательностью, что занимают по нескольку часов.

Несмотря на то, что все дела, которые попадают им в руки, растягиваются как резина и занимают втрое больше времени, его у них остается больше, чем надо. Целый день в распоряжении дачников! Но они настолько неумело распоряжаются такой дорогой собственностью, что свободное время превращается в какую-то докуку или тяжелое испытание. Весь день они переходят с места на место, слоняются из угла в угол и никак не найдут себе такого места, где было бы и не скучно и можно было бы ничего не делать. Они приехали на каникулы и на дачу, и потому благодаря первому обстоятельству они не могут заниматься умственным трудом, а благодаря второму — физическим. Но как бы то ни было, они все-таки в деревне, и это накладывает свой отпечаток. Голова не работает по-городски, руки не работают по-деревенски, но зато желудок работает и по-городски, и по-деревенски. Целый день они ходят, поплевывая окусочками, и если бы сложить количество яблок, которые они поели за лето, то получилась бы астрономическая цифра, вроде объема Солнца или расстояния до Большой Медведицы.

Но при виде их бесцельного ничегонеделания (бывает ничегонеделание с целью, например забастовка) никто бы не сказал, что они не знают, что можно было бы делать. Но день проходит, и они только спрашивают себя: а что мы сегодня делали? И оказывается, что ничего не делали, что время распределили самым бессмысленным образом. И так же проходит второй день, третий, четвертый. Сейчас они прожигают и разбрасывают свободное время, а зимой будут жалеть, что его не хватает.

Тургенев сказал: особенно хорошо бывает тогда, когда даже не замечаешь, скоро ли, тихо ли проходит время. У наших же дачников время проходило особенно плохо: минуты и часы ползли медленно, страшно медленно, в ленивом и утомительном бездействии, а дни, недели летели стрелой, так что не успеваешь их считать.

Вялый и пустой день у них тянется долго-предолго, как тянучка, и, как тянучка, вязнет на зубах так, что приходится насильно отделываться от свободного времени. Но дни, в общем, летят, как камень с высоты. Сначала медленно, потом все быстрее и быстрее, так как все ближе осень, школа, учение, а они не только не

успели подготовиться и отдохнуть, но все перезабыли и, гораздо хуже — утомились от глупого длительного бездействия.

Так должны проходить тоскливые дни осужденного на смерть, у которого не хватает силы воли для выполнения вполне возможного подкопа. Он в сотый раз начинает его, все на новом месте, и в двухсотый бросает, подстрекаемый ленью и не поддерживаемый волей.

Они уже не могут по-настоящему приняться за дело и к пустому, бессмысленно растраченному времени будут прибавлять новое и новое время, и так до самой осени. Все их уверения и обещания с завтрашнего дня уж обязательно начать заниматься и «физкультурничать» похожи на клятву пьяницы перед рюмкой водки: «Ей-богу, это последняя рюмка. Больше пить не буду!» Но это неправда! Он будет! И дни, тоскливые, однообразные, похожие один на другой как близнецы, но скверные и злые близнецы, тянутся и будут тянуться глупо, лениво и бессмысленно.

●

Дорогие москвичи!

Будьте подешевле. Не заставляйте себя просить и упрашивать. И если скука опустится на ваши комнаты, если небо горько заплачет, уткнувшись головой в подушку, и натянет на себя тучи, как одеяло; если сердце вдруг решительно застучит и заявит, что оно не в силах больше терпеть и желает вспомнить о веселом ветре, овсяных просторах, о злобных яблонях, сжимающих кулаки; если слова: «жорес», «жасмин», «рожа» вдруг напомнят вам человека, имя которого составлено из тех же букв, — то возьмите, товарищи, перо и пододвиньте к себе чернильницу.

А я живу хорошо. Картошку мы выкопали, последнюю гречиху достукали и теперь мечтаем о мельнице. Топится горница, дымит самовар, солнце доедает последнюю тучу. В общем, очень весело и вкусно. Пришлите мне мое пальто. Мне на днях придется ехать в Узуново с хлебом. Надеюсь, вы догадаетесь завернуть в пальто что-нибудь такое интересное, например, последний номер «Советского фото». А также выпишите газету, одну-единственную газету, откройте хоть на минуту «окно в Европу».

Письма ваши от 13-го получил.

Только вот обида
Сердце мне сломала,
Что сестрица Лида
Написала мало.
А братишка Толечка
Написал вот столечко...
Я живу в провинции.
Ветер в окна тычется.
По какой провинности
Вы мне мало пишете?
Ах, сердитый запад,
Дорогие тучки!
Перестаньте капать,
Бросьте ваши штучки!
Ведь живут же граждане
С письмами, с газетами, —
Мне недели кажутся
Иксами и зетами...
Лети же, сердце, в дальнее,
За Гурьево, за Крытово,
Останусь в ожидании
Тяжелого «закрытого».

Посылаю для вашего «Метеора» (пусть он будет теперь вашим) передовую статью и небольшой рассказ.

ДАЕШЬ «МЕТЕОР»!

После полуторагодичного перерыва «Метеор» как будто бы снова хочет показать все перья в своем хвосте. Опять потянется старая история с материалами, которых никто не хочет доставлять, и опять с прежними вечными отговорками. Поэтому лучше, рассортировав эти отговорки, ответить на них раз навсегда, чтобы отлыниватели были принуждены выбирать: сочинять ли новые отговорки или материал для «Метеора»? Не берусь судить, что окажется легче.

«Не для чего писать». Для чего человеку нужны глаза? Странный вопрос! Глаза помогают нам во всем: ходить, пить, есть, шить, писать, учиться, вообще работать. И только? Нет, не только. Никто бы не согласился лишиться глаз, даже если бы ему гарантировали, что он сможет по-прежнему работать, ходить не спотыкаясь, узнавать встречных и т. д. Это потому, что само по себе «смотрение», хотя бы бесцельное, — есть удовольствие. Я сейчас вижу небо, облака, крыши, антенны... Зачем мне все это, разве это помогает мне работать? Но странно было бы предполагать лишиться всего этого. Точно

так же странно спрашивать, для чего человеку нужно умение владеть словом, умение писать доклады, стихи, рассказы. И вот почему. Громадную пользу умения писать отрицать никто не станет. Этому учат и в школе, и в ячейке, и на заводе, этому учат и детей и взрослых. Но для чего нужно умение писать стихи, рассказы? «Детская игра, несерьезное занятие» — так ответите вы.

Умение писать рассказы дает умение передать разговор, описывать события, характеризовать людей, передавать впечатления, настроения, наблюдения и т. д., и т. д. Это умение чрезвычайно важно для ведения дневника и для писем. Сколько приходится писать писем! А «здравствуй», да «прощай», да «пришли вязаные чулки» — это ведь не письма. Эти же навыки пригодятся и для устной речи — умение ярко и занимательно рассказывать.

А умение писать стихи, фельетоны — это для чего? Всякому из нас, кем бы он ни был, придется, вероятно, вести культурную работу, а большую роль в культработе имеет стенгазета. А большую роль в стенгазете играют именно стихи, фельетоны. В наше время, когда стенгазета имеется всюду — в школах, вузах, фабриках, учреждениях, казармах, селах, — когда в стенгазетах пишут малообразованные люди, когда имеются сотни тысяч рабкоров и селькоров, умение хорошо писать в стенгазете чрезвычайно важно.

Человек, владеющий словом, получает еще и другую выгоду. Вполне понятно, что хороший ход способен как следует оценить только шахматист, хороший удар ногой — только футболист. Так же и литературное произведение может вполне оценить только тот, кто знает технику рассказа, стиха и умеет писать сам. Умение писать дает и умение читать.

Таким образом, главная задача журнала «Метеор» ясна. Это учебная тетрадь для работы над словом, и она важна не меньше, чем всякая тетрадь по физике или математике, а в жизни многих людей (не научных работников), пожалуй, сыграет бóльшую роль, чем, положим, физика.

Но у «Метеора» есть и другая задача — быть стенгазетой. «О ты, великий лирик», «Что за праздник», «Работницы», «Бутон», «Крым», «О Бутонке, который был тонкий», «Дачники», «Письма», «Для чего?» — это все от стенгазеты, и притом живой и занимател-

ной. А разве не весело и не полезно издавать стенгазету?

Имеется еще третья, маленькая задачка — журнал должен стать полезной книгой, распространяющей полезные сведения: как спрыгнуть с трамвая? Почему при вращении вода из ведра не выливается? Что такое бешенство? Почему при ветре холоднее? Это все могут спросить у вас, как у «образованных», на каждом шагу.

И наконец, четвертая, побочная задача — научиться рисовать, подбирать иллюстрации, это также немаловажная задача.

«Писать не о чем...» Как — не о чем? Это бессмысленная постановка вопроса. Если вы говорите, что не о чем писать, то подумайте, что должно случиться, чтобы было о чем писать? Землетрясение? Пожар? Убийство? Так ведь вы не напишете, если это случится, ей-богу, не напишете! Про такие вещи очень трудно писать. А если думаете, что напишете, — предположите, что случилось, и катайте! Но к делу. Нет тем, вы говорите?

А ваши письма ко мне, в которых бы рассказывалась ваша жизнь в деревне — в стихах ли, в прозе ли, — разве не тема?

Ваш «дачный бытик» с 11-часовым сном, боязнью физического труда, упражнений, скукой, мелочными спорами (из-за места!) — разве это не тема? То, что вы видите вокруг — природа (только не «травка зеленеет, солнышко блестит»), крестьяне, деревенские разговоры, обычаи, — разве не тема? Праздники (Парижская коммуна, Октябрьская революция), политические события (разрыв с Англией, убийство Войкова) — разве не темы?

Чрезвычайно полезно было бы излагать свои мысли по поводу прочитанных книг (Андреев, Диккенс, Безыменский, Маяковский, Синклер) — отдел рецензии.

Наконец, может, вспомнив старое, приняться за стихи о «Бутонке», изобретать способы полетов на Марс — тоже ведь полезно.

«Хотим писать, но не выходит». Как это? И есть о чем писать, и нужно писать, а не выходит? Ведь это смешно! Вот для того чтобы устранить такое трагикомическое положение, и надо издавать «Метеор», не то еще смешнее будет, когда в такой тупик встанет взрослый человек! Пока еще нечего бояться этого неумения. Ведь если предложить вам сделать стол, вы не сумеете, а вы-

учиваются же люди. Но надо помнить, что, не входя в воду, плавать не научишься, и поэтому лезьте смелей! Утонуть не утонете, а плавать в конце концов выучитесь. Если сначала выходит плохо — ничего, авось не на выставку.

«Некогда». Такая постановка мне кажется несколько рискованной для вас. Чья бы корова мычала, а чья бы молчала. Уж у кого, у кого, а у вас время так бессмысленно организовано, так много его пропадает зря, без всякой пользы или удовольствия, что трогать этот вопрос далеко не безопасно. Весьма возможно, что при таком диком распределении времени у вас и не хватит его на «Метеор» (я имею в виду зиму, летом должно всегда найтись время). Но попробуйте (обязательно сначала установив, как вы проводите время) построить его целесообразнее — не с большей нагрузкой, а целесообразнее, — и вы, я твердо уверен, найдете время для двух «Метеоров».

●

Дорогие горожане!

Посылку вашу получил, но больше, чем колбасе и шпротам, обрадовался я газете, в которую все это было завернуто. Только из нее я узнал, что английские горняки еще не сдались. Дело в том, что «Рабочая газета» мне больше, неизвестно почему, не доставляется. Уладьте это как-нибудь. Я решительно не знаю, как я буду здесь жить без газеты...

Неужели нельзя подписаться ни на одну газету? Как же жить без газет, календаря и часов? Я потерял всякое представление о времени. Несмотря на то, что сейчас двенадцатое сентября, я живу в августе, потому что здесь нашелся комплект газеты за август. Я читаю эти газеты от строчки до строчки...

Ах, сердитый запад!
Дорогие тучки!
Перестаньте капать,
Бросьте ваши штучки!
Ведь живут же граждане
С письмами, газетами, —
Мне недели кажутся
Иксами и зетами...

Сейчас идет дождь, намазывается на подошвы дорога, скрипит колодец и тянется какой-то осенний месяц.

Дорогие москвичи! Как у вас там живется, ходится, делается? Так же ли тускло у вас непротертое солнце, так же ли часто закат заглядывает в окно? Громко ли стучит ваше сердце?

Вот на какие вопросы хотел бы я получить ответы.

Жаль, мне не придется быть на вечере Маяковского; жалею не столько о стихах, сколько о докладе. Если будете на вечере, то прошу вас — запомните, что он будет говорить, и, придя, запишите в общих чертах. Можно бы и мне поспеть к 26-му, но я по разным причинам должен подольше пожить в деревне.

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

(Председатель тихим голосом говорит,
    заканчивая речь.)
«...Оставаться ли здесь
    на осеннее время?
Ехать ли в понедельник?
И так, товарищи,
    жду выступлений,
Но только серьезных и дельных.
В первую очередь
    слово «за»
Имеет товарищ Глаза».
Товарищ Глаза
    поднялся,
Надел очки
    иначе,
Оглядел голов
    бушевавшую кашу
        и начал:
«Господа!
    Я люблю ходить в кино,
Чувствовать ветер времени.
Неужели же мне
    навек суждено
Оставаться
    в этой деревне?
Я разные книги люблю читать,
Особенно
    за обедом.

Я, может быть, странен,
Может, чудак.
Но книга,
которая начата...
Да что говорить об этом!
Ведь там —
в витринах
книги!
Стихи!
Очки,
сверкай
от восторга!
Быть может,
там солнце
«Кросс Кодитри»
Спорит с Сириусом
«Пушторга».
Быть может, уже
земля на оси
Ближе к солнцу повернута!
Теория
относи-
тельности
Уже давно опровергнута!
Быть может,
над миром
уже шелестит
Какое-то новое знамя!
А мы тут
спим от шести до шести.
А мы —
ничего не знаем.
Что же тут делать?
Считать ворон?
Глядеть на плетни
и избы?
А там —
огни с четырех сторон.
«Измы»
лезут на «измы».
Как можно спорить
об этом вопросе?
Конечно же,
брать билеты.

Я буду не в силах
    вынести осень.
Довольно с меня и лета».
Глаза замолчал.
    Шорохи,
        стуки.
В зале —
    глухое брожение.
«Дальше
    имеет
        товарищ Руки
Слово
    для возражения».

«Почти рыдая
    на нашей груди,
Играя
    словами всякими,
Много оратор
    нагородил
Чуши и поросятины.
Во что же
    сердце его влюблено?
Посмотрим-ка:
    книги разные...
Какие-то «измы»...
    «Пушторг»...
        Кино...
Витрины...
    Знамя...
        (конечно, не красное!)
И все!
А сельские зори,
    бьющие в стекла?
А солнце,
    сверкающее
        сквозь ставни и скважины?
Или это глупо?
    Дико?
        Блекло?
Не интересно?
    Не нужно?
        Не важно?
А пахота, сев,
    а уборка хлебов?

А запах свежайшего
сена?
А тучное стадо
кормилиц-коров?
Неужто все это
не ценно?!
Знаем мы этих
субъектов
в очках!
Они —
без изменения!
Прошу
гражданина
не валять дурачка
И выслушать
общее мнение».
Оратор садится,
и сразу, как дождь,
Организованный
ливень ладош.
А в это время,
расправив плечи,
Товарищ Желудок
готовится к речи.
«Вам, товарищи,
хочется смеяться,
Что вот, мол,
дядя вылез —
Говорить о сметане,
о мясе,
Об арбузах навырез.
Ему, дескать,
лишь бы
лакать молоко.
Да кушать
яблоки имени Антона,
И нет ему дела
ни до чего.
Ни до Парижа,
Ни до Кантона *.

---

* Намек на речь тов. Мозжечка о международном положении, произнесенную в начале собрания. *(Примеч. С. Чекмарева.)*

Но это,
милые граждане,
ложь.
Отчего же?
Я тоже романтик.
Я тоже хочу
человеческий лоб
улучшить
И сделать громадней!
Но каждый
из нас —
Лишь частица мира
и должен
знать свои роли.
Организму
нужно
столько-то
жира
И столько-то
граммов соли.
Вы думаете,
что все это шутка?
Может, самый вопрос этот
низмен?
Однако
если бы
не было желудков,
Не было бы
книг о материализме!
А сколько коварных
у меня врагов!
Аппендицит,
холера,
тиф,
катар...
Разве все эти подлецы
Не хуже нашествия татар?
Но вот, представьте:
я живу...
Цветы горят...
и мир чудесен...»
(Голос председателя:
«Довольно! Хватит!
Говорите по существу».)

«— Э... э... э...
остаться здеся».

Оратор умолк.
Разговор
прекращен.
Начинается голосование,
И возбужденное
зарево щек,
Губ кричанье
и рук кованье.
Однако как действуют
на умы
Горошинки
шуток
и смеха.
Большинством —
одиннадцатью
против семи
Постановили:
«НЕ ЕХАТЬ!»

ГУБЕРНИЯ БЫВШАЯ ТУЛЬСКАЯ

От наших авто шумящих,
От нашей природы тусклой
Ты скроешься в самую чащу
Губернии бывшей Тульской.

О синий такой, морозный,
Родины нашей запад!
По лесу ползущий росный,
Березово-смольный запах.

Тебе покажется диким
Это небо, рябое, в звездах,
Эти липкие лапы гвоздики,
Этот крепкий сосновый воздух.

Как вылетевший из пушки,
Ты ходишь, кругом озираясь:
Кривые, глухие избушки...
Растущая зелень сырая...

И рядом, торчащая странно,
Сухая погибшая ветка
Зияет у леса, как рана,
Как след топора человека.

Где же он сам, властелин природы?
Уж не в этих ли черных лачугах?
Почему его огороды
Не цветут плодоносным чудом?

Почему его урожаи
Не вонзаются в неба глуби?
Что посевам его угрожает?
Кто его луговины губит?

Рождает наш век двадцатый
Много мыслей и дел высоких,
Отчего же вот здесь, за хатой,
Деревянные живы сохи?

Ведь не всё же, не всё же, не всё же
Уперлось корнями в века.
Ведь бьется ж под чьей-нибудь кожей
Сердце большевика!

Не все же, не все же, не все же
У тысячелетий в плену.
И тянет рябиною свежей
К раскрытому настежь окну.

Для тебя эти гроздья пылают.
Недаром же сквозь жилет
У тебя, как заря, как пламя,
Горит комсомольский билет!

Я знаю: его не потушат
Ни бури, ни оползни гор,
Ты пальцы сцепи потуже
И грозный начни разговор.

...Цветущее поле колхоза,
Хозяйские руки и счет,
На солнце играя, глюкоза
По тульским стеблям потечет.

По диким, пустынным трактам,
Где недавно лишь топал мамонт,
Пройдет, громыхая, трактор,
И рожденные скажут: «Мама».

Картофель, полней под землею!
Подсолнухи, хмурьтесь от света!
Невиданной всходит зарею
Огромный зрачок человека.

ИТАК, ВОРОНЕЖ!

●

Раз у меня есть свободное время, я должен объяснить все по порядку. Итак, Воронеж. Сдав вещи на хранение, поехал я в институт. Сверх ожидания документы у меня приняли весьма любезно, и не успел я опомниться, как очутился в кабинете ботаники. Таким образом, прямо с поезда я попал в объятия хламидомонады. Экзотические листы учебников зацвели передо мной.

Оказывается, здесь организовали дополнительную группу, и от этой последней я отстал немного.

Труднее обстояло дело с квартирой. Общежития мне не дали. Почему? Потому что свободных нет в природе. Пришлось разыскивать квартиру в городе. В незнакомом городе, вечером это оказалось делом нелегким, тем более что Воронежское МКХ произвело недавно перенумерацию домов. Так и скакал я от старого дома девять к новому дому девять, пока не утомился бесплодными поисками.

На следующий день я все же снял комнату. Вернее, не комнату — комнаты дорогие, — а часть комнаты. До трамвая ходьбы пятнадцать минут, и на трамвае езды — пятнадцать копеек.

Что пока я могу сказать вам о Воронеже?

Местность тут гористая, неровная, улицы, чуть не взвизгивая, летят вниз. Часто среди улицы возвышается лестница. Институт расположен примерно так же, как и Тимирязевка. Представьте вместо Каляевской улицы — проспект Революции, вместо Бутырской — улицу Ленина, вместо 12-го номера трамвая — 5-й, и иллюзия будет полной.

•

Берусь за письмо с трепетом: опять вы будете обвинять меня в том, что я долго не писал. Не ходили ли вы опять гадать на картах? В таком случае вы должны знать, что бубновая дама угрожала мне пойти на d2 (неминуемый мат!), а трефовый король требовал от меня зачета по физике. Он и сейчас еще его требует, и потому письмо мое не будет особенно длинным. Да ему и незачем быть длинным: скоро я заявлюсь к вам собственной персоной. Каникулы намечены у нас с одиннадцатого по двадцать шестое. Как видите, недалеко, и если я пишу это письмо, то единственно затем, чтобы показать, что я еще существую, что я еще жив и что трефовый король не смог еще принести мне никакого вреда. У меня настроение самое радужное, и его омрачает только одна фраунгоферова линия: это пропавшая посылка. Не прошу вас писать, потому что надеюсь, что письмо уже находится в дороге. Что вы все тоскуете, что нечего писать? Не обязательно письма должны быть начинены бомбами. Неуловимый строй речи, знакомые закорючки букв, еле слышимый аромат души — вот что должен нести в себе четырехугольник белой бумаги.

•

Вчера получил вашу тревожную открытку. Какой ужас! Две недели не было от меня писем! Чем объяснить такое жуткое молчание? Очень просто, товарищи: тем, что преподаватель физики очень непонятно излагает учение о свете.

•

В переднем углу моей комнаты, там, где обычно вешают иконы, висит картина с тремя огромными рыбами. Комнаты пустынны, товарищи все разъехались. И когда вечером солнце бросает фиолетовый отблеск и сумерки окутывают окна, я кажусь сам себе необычным. Мне кажется, что я дикарь, рыбопоклонник, что лишь странная случайность привела меня в эту комнату. Мне хочется бежать по берегу и кричать и вытатуировать на груди формулу динитробензола. «Нет бога, кроме рыбы», — бормочу я, сажусь к столу и составляю конспект по политэкономии.

Дни текут оживленно. Я сейчас старательно выпрашиваю отпуск в Беззубово для помощи нашему колхозу. Казалось, что вопрос разрешится со дня на день, по этой причине я и не писал вам так долго. Но время шло, а дело стояло, и я наконец пишу письмо, не узнав результатов.

Деньги я получил. Увы! Немного от них осталось. Завтракаю я теперь постоянно в столовой института и приобрел скверную привычку съедать по два завтрака. Завтрак стоит пятнадцать копеек, и очень вкусный. Дают макароны, рисовую (гречневую, пшенную) кашу с подсолнечным маслом. Мало того, я и за обедом беру либо два первых и одно второе, либо два вторых и одно первое. Первая комбинация обходится в пятьдесят копеек, вторая — пятьдесят пять.

А теперь, друзья, откинем все расчеты и побеседуем запросто перед листом белой бумаги, за чашей чернил. Много вопросов осталось между нами невыясненных и слов невыговоренных.

Вы не знаете, на левом ли берегу стоит Воронеж или на правом. Вы не знаете цвета глаз воронежского неба. Вы не знаете, наконец, села Сабуровки. Давайте поговорим хотя бы о Сабуровке.

Итак:

Среди необозримого снега и неба, в двенадцати верстах от районного центра, высятся кирпичные избы и возвышаются трубы. Трубы не трубят, они дымят. Сто семьдесят дворов построились шеренгой в один ряд, встречая меня — командира азбуки. Вьюга молодцевато прокричала свое приветствие. Так я приступил к исполнению своих обязанностей.

Мне предстояло обучать две группы: группу неграмотных (двадцать три человека) и группу малограмотных (сорок пять человек). Обе группы занимались уже по два месяца. Кроме того, под моим наблюдением были ликпункты в Мосоловке, Андреевке, Мальцевском и Апраксинском совхозах.

Первым моим недоуменным вопросом было: что делали до меня предыдущие «ликвидаторы»? Первая группа, как я уже сказал, занималась два месяца. Однако читает она на восьмой странице букваря, и читает так: «пыашыу пыар — пашу пар». Если же слово новое, то его прочитать никто не в состоянии. Вторая группа (малограмотных) читала недурно, но зато страдала другим недостатком: не понимала того, что читает. Пос-

ле того как мы прочли несколько раз коротенькую статью, я остановился.

— Скажите теперь, о чем тут шла речь?

Молчание и все признаки ужаса.

— Ну?

— Мы этого не можем.

— Будем отвечать на вопросы. Ну, отчего, например, лошади иногда болеют животом?

Молчание.

— Скажи-ка ты.

— Сырой водой поят.

Это говорит парень лет двадцати.

— Вот как! Так, по-твоему, лошадей надо кипяченой водой поить?

Смех.

— Ну прочитайте еще раз, и тогда ответите.

Головы уткнулись в книги. Теперь внимание направлено на смысл статьи. Через пять минут загадка разрешается: лошадей кормят перед тяжелой работой.

Что сделал я? Первую группу я решительно согнал с букварей и посадил на разрезную азбуку. Она стала хорошо складывать слова. Буквари же мы использовали для хорового чтения и чтения тех фраз, которые мы могли складывать по разрезной азбуке.

Со второй группой я пошел дальше и начал приучать ее к сознательному чтению. После каждой статьи обязательно вопросы, повторение, пересказ и т. д. Таким образом мы прошли темы: ликвидация неграмотности, пятилетка и колхозное строительство.

Вот о колхозном строительстве.

Как в Сабуровке обстояло дело с колхозами? Еще до моего приезда здесь была некая бригада, которая, пользуясь недопустимыми способами, добилась стопроцентной коллективизации. Как только бригада уехала, сейчас же посыпались заявления о выходе из колхоза. Их долго держали не разбирая, надеясь, что какнибудь обойдется. Не обошлось.

Мы объявили недействительной прежнюю запись и начали в колхоз записывать снова. О неправильных действиях бригады говорили мы на собраниях, в стенгазете. Мы ходили по дворам и по часу, по два беседовали с крестьянами. К моему отъезду вновь записалось в колхоз сорок пять дворов.

Еще что: поставили мы три спектакля. Выпустили два номера стенгазеты. В первом номере были статьи:

«О бригаде», о кулаке, зарезавшем теленка, о комсомольце, ходившем на крещение за святой водой, и т. д. и т. д. Стенгазета пользовалась большим успехом. Вскоре после выхода на одном из собраний ее сорвали со стены и изорвали. Второй номер был посвящен исключительно строительству колхозов. Была большая статья «Что говорят о колхозе», разоблачавшая вражеские слухи и сплетни. Когда я уезжал, стенгазета была еще цела.

Вот и все. Да, как я там устроился? Очень хорошо. Жил, как в сказке, у старика со старухой. Ел блины, пил молоко.

●

Это письмо вам передаст «ревизионная комиссия». Я жил спокойно, тихо и чинно, как вдруг гроза повисла надо мною. Корзины были вскрыты, их образцовый беспорядок нарушен, кипы белья начали летать по комнате, пуговицы вдруг приросли к брюкам. В общем, ревизия окончилась благополучно. Правда, были обнаружены некоторые мелкие злоупотребления, как, например: деньги, ассигнованные на покупку блюдечка, были злостно растрачены, а блюдечко было показано как купленное. Больших преступлений, однако, не оказалось, и «ревизионная комиссия» осталась мной довольна. Я познакомил ее с Воронежем, сводил в кино, угостил обедом в студенческой столовке, показал Большой театр, Дворец труда, памятник Петру Первому и прочие достопримечательности Воронежа.

Теперь скажу о письмах. Не по злости и не по врожденной испорченности не посылал я вам писем. Вы, может быть, думаете, что я сижу мрачно в углу, грызу карандаш и обдумываю способ, как вселенную стереть в порошок, а самому остаться живым. На самом же деле я человек очень добродушный и писать письма даже люблю. Но что поделаешь, если времени нет. Ваши письма благополучно получил. Толя! Мне чрезвычайно понравилось твое стихотворение. Не то, которое было в предыдущем письме, а последнее:

Где-то далеко,
        на юге ль, на севере ль,
Не то в Воронеже,
        не то в Рязани,

Жил-был студент
        с небольшими серыми
Не то очками,
        не то глазами...

В нем не нужно изменять ни одного слова, на что уж я в этом отношении придирчив. Ты хотел прислать мне еще стихи — присылай, пожалуйста. Справедливость, однако, требует сказать, что твое предыдущее стихотворение нельзя назвать хорошим:

Лектора слова ловя на лету,
Словно лава львов мясо(!)

Скучна игра с созвучиями, за спинами которых не прячется мысль.

Увы! Я уже бросил писать стихи, или не бросил, вернее, а уронил. Теперь я по магазинам ищу не Кирсанова, и не Сельвинского, и даже не Вл. Вл., а «Зооветминимум», «Организацию труда в колхозах», «О ликвидации кулачества». Я болен страстью к этим книгам. Скучные, серые брошюрки вдруг наполнились для меня жизнью и кровью.

Как вообще идут у вас дела? Видели вы говорящее кино? И так далее, и так далее, до бесконечности.

●

Сегодня мы должны были выехать на сев в соседний совхоз, но пошел дождь и оставил нас дома. Дома у нас хорошо: нам дали квартиру из двух комнат. Мы устроили коммуну — нас пять человек, — обобществили продукты, распределили обязанности. Только вчера я вернулся с табора, где жил среди волов пять дней, а спал в кибитке. Как сказано уже, живем хорошо. А раз хорошо — чего же писать?

ДЕРЕВНЕ

Пылают печи
Борьбы горячей,
Но, сдвинув плечи,
Деревня плачет:
— Была без ситца,
Была босою,
Но жаль проститься
Мне с косою.

Менять ли росы
На гуды города?
Ах, косы, косы,
Девичья гордость!..
Глаза не мучай,
Не плачь, деревня,
Еще ведь лучше
Цветут деревья.
Взгляни косыми,
Поправь косынку,
Взамен косы мы
Дадим косынку.
Взамен коняги
Дадим мы трактор,
Начнут овраги
Дымиться травкой.
Стань на пригорье,
Надень передник,
Мы перегоним
Самых передних.
Так бей же метко,
Иди же ходко
Пятилетка —
Четырехгодка!

Позавчера я получил письмо, где вы опять упрекаете меня в том, что я мало пишу.

ЧАСТЬ ВСТУПИТЕЛЬНАЯ

Дорогие товарищи! Я написал вам столько писем, что ими можно было бы оклеить всю дорогу Москва — Воронеж.

Я истратил столько чернил, что их свободно хватило бы вам умыться, а из карандашей, которые я исписал, можно было бы сделать хорошую палку, которой бы и следовало вас отколотить. Вас больше, и вы, однако, пишете мне меньше. А что буду писать я? Вот я опять уселся в Воронеже.

ЧАСТЬ ПОЭТИЧЕСКАЯ

Вот я уже и расстался с полями, с красно-рыжими зорями, с ветром, с запахом конюшни. Расстался с деспотической усталостью, которая не позволяет ни рассуждать, ни говорить и которая вечером руками прижимает голову к подушке и пальцами закрывает веки. Я уже не слышу теперь криков «цобе» и «цоб», не вижу печальных воловьих морд, их пенистых, как крем-сода, губ. Воронеж снова охватил меня всеми своими улицами. Что же теперь будет дальше?

ЧАСТЬ ИНФОРМАЦИОННАЯ

До пятнадцатого июня у нас будут продолжаться занятия. С пятнадцатого июня начнется лагерный сбор. Он продолжится полтора месяца, а затем, то есть с первого августа, нам будет предоставлен отпуск. В первых числах августа мы, следовательно, встретимся. Но пока я загружен по уши.

ЧАСТЬ НАУЧНАЯ

За эти сорок дней, с пятого мая по пятнадцатое июня, мы должны пройти зоологию и паразитологию, физиологию и анатомию, диалектический материализм, органическую и аналитическую химию. Сейчас я изучаю червей — феерию пышных латинских названий, обозначающих гадость одну хуже другой. Диботриоцефалюслятус — что за дикое слово, не правда ли? Или вот еще красивое сочетание: дипиллидиум канинум. Знаете ли вы, что это такое?

ЧАСТЬ ПРАКТИЧЕСКАЯ

Но довольно, не буду вас расстраивать. Коснусь лучше некоторых экономических вопросов. Вы пишете относительно посылки. Думаю, что маленькую посылку сколотить было бы не лишним. Жду от вас вестей. Толя! По приезде обнаружил твою открытку (Чекгей Сермарев), в которой ты обещаешь прислать тетрадь и трехверстное (3,21 километра) письмо. А где же они?

ЧАСТЬ ВОПРОСИТЕЛЬНАЯ

Лида! Получила ли ты мое письмо от 4-го? Как твоя практика? Нина! Пришли мне хотя бы выписку из ресконтро, что-то ты молчишь с давних пор.

●

Здравствуйте, дорогие родители.

Это письмо подписано уже не студентом сельскохозяйственного института, а красноармейцем-артиллеристом 10-го корпусного полка. Уже не кирпично-красная физиономия Воронежа находится теперь передо мной, а

белое личико нашего полотняного лагеря, разбитого в лесу, окруженного запахом берез и сосен.

Я нахожусь не столь далеко от вас — на той же Рязано-Уральской дороге. Каждый день мимо лагеря гудит саратовский поезд, старый знакомый, который не раз выносил меня на тугих своих колесах.

Что сказать о нашей жизни? Встаем мы ежедневно в 5 часов утра и «оружие с руки на руку да перекладываем и с ноги на ногу все мы да переступаем и справа налево все поворачиваемся». Кроме того — разбираем пушки, слушаем военные лекции, производим разведки и съемки и т. д.

Сбор не будет продолжительным — всего полтора месяца, и в первых числах августа я, наверно, приеду к вам. Напеките тогда побольше лепешек, давно я их не ел. Здесь в лагерях кормят, конечно, недурно, но, к удивлению всех нас, студентов, нам красноармейского пайка не хватает.

●

Шлю вам свой красноармейский привет. Признаться, давно хотел я это сделать, но карандаш упорно не давался мне в руки. То время занято походами, то дневальством, а то работой с красноармейцами или писанием стенгазеты.

Позавчера получил ваши письма. Первым движением моим было взяться за карандаш. Но командир спал в палатке, и представился такой удобный случай выкрасть у него стереотрубу, что никак нельзя было избежать соблазна. До сих пор мы смотрели на нее, обступая кучкой в девяносто человек, вытягивая шеи, как гуси. Как же было не выволочь ее теперь на божий свет? С блаженством мы крутили все, что крутится, и поворачивали все, что поворачивается, наблюдая, что из этого происходит.

Но вот я взялся сегодня за карандаш, а что же вам написать? Живу недурно. То, что прислали посылку, — хорошо, что не выслали денег — плохо, а что не пишете — и совсем скверно. Каждый день из штаба приносят толстую аппетитную пачку писем, и каждый день я оказываюсь с пустыми руками. Толя, где же твое толстое письмо? Да хотя бы худенькое, и то ничего. Нехорошо, товарищи!

Жду не дождусь конца лагерей. Обидно, главное,

что лето проходит мимо. Осень не за горами, но мы не загораем — мы закованы в свои мундиры, на которых не разрешается расстегнуть ни одной пуговицы.

●

Здрасть!!!

Вот мое красноармейское приветствие. Звонко, коротко, бодро. Да и время уже звонко и коротко, так как приближается конец лагерей. Но мне и здесь живется, право, неплохо. Работаю я теперь в отделении связи. Соединяю полевые телефоны, бегаю по кустам с катушкой за спиной, сматываю линию, передаю команды и отчаянно сигнализирую флажками по азбуке Морзе. После всего этого ложусь и слушаю, как возятся ребята с командиром у гаубиц:

— Батарея, огонь!

— Батарея, огонь!

— Огонь!

— Бомбой заряд второй!

— Готово!

— Второе готово?

— Готово!

— Третье готово?

— Готово!

И грохот воображаемых выстрелов. Не думайте, что если я связист, так я не знаю огневой службы. Нет, я могу работать и наводчиком, но ведь необходимо разделение труда. Очень часты у нас занятия по стрельбе: мы определяем буссоль, даем угол доворота, уровень, прицел, коэффициент трансформации. Высчитываем шаг угломера и готовим все данные к стрельбе. Ходим часто на разведку, выбираем огневые позиции, наблюдательные пункты. Это все до обеда. После обеда время катится еще веселей. Тут есть и волейбол, и баскетбол, и пинг-понг, и шахматы, и библиотека, и буфет. Слишком далеко только река — ведь это что же такое — восемь километров. Но все же, но все же иногда становится грустно, а сердце просит чего-то еще. Уже порядком надоели мне красноармейские песни. Особенно вот эта:

Ты-ы, моря-аак, красивый сам собою,
Тебе-ээ от ро-оду двадцать лет.

Неправда! Не двадцать лет этому моряку! Ему было 20 лет в 1919 году, когда по стране ползали танки, когда шли на восток чапаевские полки. Тогда они проносили эту песню на сверкании своих штыков. А теперь постарел моряк, разве 20 лет ему теперь? Разве наше горло не требует других песен? И обидно так, что нет их, нет хороших и новых, нужных нам песен.

Представь себе — молодое утро, наши стройные ряды, выходящие из леска, сотни веселых, задорных лиц, которые не знают, как выразить свою радость, и поют с увлечением:

Эх, чай пила,
Самоварничала!

Не обидно ли? Из-за одного этого хочется стать поэтом.

УЧИТЕСЬ, КАК ЧЕРТИ!

Бывало,
у студента
семь «хвостов».
Черт возьми!
Надо же так случиться!
Хнычет парень:
«Не буду учиться,
И никаких гвоздев!»
Теперь же
выросли мы
из кожи обезьяньей,
Газеты и учебники
зачитываем до дыр.
О самом пустяковом изъяне
Заботится товарищ,
доглядывает бригадир.
Теперь студент
по-новому чертит,
Готовится
к бурям
идущих веков...
Мы лозунг бросаем:
«Учитесь, как черти,
Чтобы дать
инженеров-
большевиков!»

●

Давненько не принимался я за письмо. И, конечно, Нина, виноват в этом я, хотя и сама судьба тут руку приложила. Может быть, утром третьего июля я и хотел написать тебе письмо. Может быть, я и взялся бы за карандаш, но дело-то в том, что мне не позволили это сделать. Нас построили, и выдали нам ружья, и велели скатать шинели и не разговаривать, ибо мы идем в поход. Винтовки были начищены керосином и блестели на солнце, как серебро! Глаза нам не нужно было чистить керосином — они и без этого сверкали ярче винтовок. Мы вышли из лагеря в полном порядке. Оркестр сопровождал нас, сотрясая воздух медью. Идти было так приятно в начале похода, и к темноте мы добрались до деревни. Тут мы расположились ночевать. Никакие силы не затащили бы нас ночевать в избы — нет, к нашим услугам были риги. В деревню же мы пошли умыться. Хозяйка вынесла нам ковшик водицы, но мы со смехом выплеснули его на землю, а сами попросили ведро. Не один раз пришлось нам это ведро опустить в колодец, прежде чем мы очистились. Вода клубилась, сверкала и шипела, обжигаясь о наши горячие тела. В саду, где все это происходило, выросли лужи, но зато грязь с корнем была вырвана из наших пор. Удовлетворенные, мы оделись и, не дожидаясь ужина, который варила нам походная кухня, разбрелись по деревне со своими котелками. Крестьяне охотно давали нам молоко и никак не хотели брать за него денег. Кто бы другой не поверил, что я выпил целый котелок молока, но ты поверишь — ты знаешь, как я люблю молоко. Затем четырехчасовой сон, полчаса на дневальство — и снова в поход. Так хорошо идти ранним утром!..

Пройдя километров десять, мы остановились и стали распределять свои силы в ожидании противника. Командир объяснил нам тактическую задачу. Затем мы начали наступать развернутым строем, наступать на зловещий овраг, черневший на горизонте с одиноким штыком дерева.

Мы бежали по пашне с винтовкой наперевес под звуки воображаемого пулемета, бежали, пока сердце не начало колотиться в груди чаще, чем пулемет (но, увы, не воображаемо). Затем ложились и палили холостыми патронами. «Враг» отвечал нам тем же. Пронаступав до поту, мы стали тем же порядком отступать. Затем —

невообразимо длинный путь, и вот к двум часам мы на месте сбора. Усталость лежала на наших плечах и каплями стекала с тела. К обеду мы едва притронулись, но жадно напились и скорей, скорей разбрелись спать. Сапоги присосались к ногам, как пиявки, но их удалось-таки стянуть. И какое это, право, удовольствие чувствовать ноги свободными! Однако долго спать нам не дали. Через час подняли, чтобы вести в лагерь. Ох этот обратный путь! Мы уже не строем шли, шли беспорядочно. На наше счастье, на пути попадались ручьи и колодцы. Дойдя до воды, я каждый раз черпал ее фуражкой и нахлобучивал на голову. Это удивительно освежало, удивительно! Но вот — и пятнадцать километров имеют свой конец — мы вошли в парк. Оркестр заиграл марш, самый торжественный из всех маршей, и мы вошли в лагерь совсем бодро. Так закончился наш поход.

●

Вы пишете, что с нетерпением ожидаете первого августа. Но не думайте, что я приеду к вам именно в этот день. Первого августа я буду только еще в Воронеже, а кто знает, может быть, придется здесь задержаться. Наш институт реорганизуется, животноводов хотят ликвидировать, — очевидно, придется придумывать какие-нибудь комбинации.



СНОВА В МОСКВЕ!

●

И вот наконец:
Мимо черных цистерн и зеленых лужаек,
Огибая красные товарные груженные чем-то составы,
Среди лязга железных цепей и воя паровозных свистков,
Кружась по лабиринту выныривающих вдруг зданий,
Взлетая внезапно в облитый асфальтом город, пахнущий
Анилиновыми красками и свежестью майских бурь, —
МОСКВА!

Москва — сердце мира, или нет — вернее, его левое предсердие, разгоняющее по всему миру алую артериальную кровь.

●

Дорогой Виктор! *

А не пора ли тебе и подешеветь? Не пора ли раскрыть свою записную книжку, выудить оттуда мой адрес да и написать мне письмецо? Я, со своей стороны, давно уже собирался написать тебе, но то не было времени, то настроения, а когда случалось и то и другое, не оказывалось под рукой карандаша.

Что сказать тебе теперь, когда карандаш наконец оказался под рукой? Вот я уже и в Москве. Живу я на Спасской. Комната у меня довольно приятная, даже с

* Товарищ С. Чекмарева.

видом на социалистическое строительство. Кирпич, щебень и мусор цветут под окнами. В общем, я чрезвычайно доволен своей жизнью. Я рад, что честно могу смотреть в синие коровьи глаза, что я не изменил зоотехническому делу ради какой-то свеклы или морковки, как ты. Нет, теперь ни одна корова не посмотрит на меня укоризненно. Институт мой называется мясо-молочный, год его рождения 1930, пол деревянный, национальностей он — всех сразу и член профсоюза. Я учусь на мясофаке, работаю много, догоняя свою группу. Сейчас кончаю сдавать анатомию. Вот как обстоят дела. Иногда на улицах я встречаю столько воронежских товарищей, что невольно забываюсь, сажусь вместо 12-го на 5-й номер, беру билет до Сельскохозяйственного института и еду к черту на кулички.

ШТУРМОВОЙ КВАРТАЛ

По черным лесам,
по огромным равнинам,
Во всех концах
необъятной карты
Гудят призывы:
«Кадры нужны нам!
Кадры дайте!
Дайте кадры!
Нужны инженеры!
Врачи!
Агрономы!
Нужны зоотехники!
Директора!»
Мы землю заставим
глядеть по-иному.
Проходят комбайны,
гудят трактора!
Мясо-молочный!
Мясо-молочный!
Это к тебе
обращен призыв.
В работе огромной,
горячей
и срочной
Бейся же лучше,
бери призы!

А как мы поем
Октябрьские песни?
Довольны мы
перечнем
наших побед?
Обезличка изжита?
Прогулы исчезли?
Хвосты уничтожены?
Все еще нет!

Комсомол
лозунг
дал боевой:

Четвертый квартал
даешь штурмовой!

Все силы вложим
в один порыв,

Мясо-молочный,
штурмуй прорыв!

Покажем примеры
ударной учебы,
Чтоб наша стройка
шла горячо бы.
За качество знаний!
За темпы!
За технику!
Боевая закалка
нужна зоотехнику.
Оппортунистов
бита карта!
В работе,
в учебе
будем метки!
Даешь четвертый ударный
квартал
Третьего года пятилетки!

●

Толя!

Сегодняшнее письмо посвящу рассуждениям о твоих рассуждениях. А порассуждать есть о чем.

О твоем «генеральном плане».

Прежде всего и главным образом меня удивляет од-

но: план твой рассчитан на 10 месяцев (30 декад), а хочешь охватить ты в нем почти весь круг знаний современного человека. Неужели ты сможешь в один год изучить и ленинизм, и марксизм, и материализм, между прочим, диалектический, а не «деалектический», и историю партии, и физику, и математику, и астрономию, и т. д., и т. д., вплоть до стенографии? Дорогой товарищ! Это программа не на 10 месяцев, а на 10 лет. Ну пусть я не так понял: пусть это нечто вроде пятилетки твоей учебы. Но и тогда такой план остается курьезом. Я вижу в твоем перечне: астрономию (!), философию (?) и даже логику — одним словом, «знай наших!». Бездны премудрости и учености горы. А между тем жизнь дергает тебя за рукав и хочет обратить твое внимание на иные, более реальные знания.

Ты собираешься работать в колхозе, а знаешь ли ты, что такое черный пар? Знаешь ли ты, для чего, чем и как протравливать семена? Знаешь ли ты, как установить сеялки на норму высева?

Как строится триада Гегеля, тебя не спросят, а об этом могут спросить каждый день. Что же ты ответишь? Будешь хлопать глазами или посмотришь на Большую Медведицу? Нет уж, лучше оставим астрономию, бог с ней. Плохая это вещь — составлять программу учебы по каталогу Тургеневской библиотеки.

В твоем «генеральном плане», несмотря на большое место, отведенное политике, видна определенная аполитичность. Науки представляются какими-то изолированными предметами, которые нужно изучить. Зачем? Чтобы стать ученым? Развить «вум»? «С ученым видом знатока коснуться до всего слегка»? Нет, товарищ, не так. Ты сначала должен поставить вопрос: «А что нужно знать мне, как строителю социализма, живущему в двадцатом веке и пока в Большом Сухаревском переулке, но неизвестно куда впоследствии попадущему?» И прежде всего надо открыть глаза себе. Не думай, что ты зряч. Ты видишь эту фабрику? Ты думаешь, она стоит? Нет, она идет! Куда идет? По каким путям? Все это надо знать и видеть, надо усвоить, чтобы определить свои пути.

Короче — изучай политику. Но мало одной политики. Мало сказать колхознику, что выдвинут принцип сдельной работы в колхозах, что этот вопрос имеет громаднейшее значение для хозяйства колхоза. Нет, ты покажи и расскажи, как на эту сдельщину перейти, как

выработать нормы выработки, как учитывать и оплачивать труд, и т. д., и т. д.

Короче — политика должна связываться с техникой.

Невозможно хорошо усвоить правильную систему земледелия, если ничего не знаешь о бактериях. На помощь политике с техникой должна прийти наука. Как живет растение, основы его физиологии, как живут животные и человек, что за мир находится вокруг них, что говорит нам рефлексология — эта современная психология, каковы законы наследственности, каков путь развития органического мира от белка до телка и т. д., и т. д., и т. д. — вот тот круг вопросов, который необходимо усвоить, чтобы правильно поставить даже свою практическую работу.

Но мало одной политики с техникой и наукой. Когда будет выстроено такое солидное здание из кирпичей всевозможных знаний, надо построить к нему крышу, чтобы здание было закончено, чтобы дождь не мог его попортить, чтобы было оно связано в одно единое целое. И это дает изучение диалектического материализма. Нужно проработать углубленно сочинения Энгельса, Маркса и Ленина. Вот в таком виде должна представляться программа учебы современного человека.

Она отличается немного от твоего «генерального плана», не правда ли?

Я ВЫЗЫВАЮ

Меня
    с нетерпением
        ждет страна,
Послать меня хочет
    туда,
Где плачет
    дисковая борона
И грузно
    идут стада.
Там в поле
    на солнце
        искрится сталь...
Комбайны
    ползут стоногие...
А у меня
    еще два «хвоста»:

По анатомии
и гистологии.
А я
большевистские
темпы сдал,
К учебе
немного остыл —
Сегодня
на двадцать минут
опоздал,
Вчера
полчаса пропустил.
Так нет же!
Пламенем
жжет меня стыд,
Гудки пятилетки
взывают.
Я
ликвидирую
эти «хвосты»,
Ликвидирую
и вызываю.
Я вызываю
своих друзей,
Таких же, как я,
«хвостатых»:
— Давайте
в старинный
сдадим музей
Обломовских темпов латы! —
Я слышу,
как бурей
шумит институт
И гул раздается
ответный:
— Товарищ!
Дни пятилетки идут,
Октябрьские
дуют ветры.
Заводы грохочут
в отблесках сизых,
Нервы натянуты,
как струна.
Товарищ студент!
Принимай же вызов,

Тебя
с нетерпением
ждет страна!

●

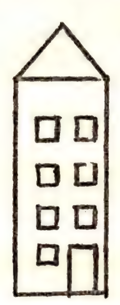
Дорогой братень!

Получил твое письмо от 29/IV только 9 мая. Уже поздно было слать тебе в Москву ответ, да и все равно я посоветовал бы тебе ехать в деревню. О чем я буду писать? Отвечу прежде всего на те «роковые» вопросы, которые ты задаешь в последнем письме. Дорогой товарищ! Ты спрашиваешь: как можно изучать политику по заданиям? Разве может прийти такой момент, когда, можно будет сказать: да, я знаю политику?

Товарищ дорогой! Ты путаешь. Во-первых, не будем говорить о политике «вообще», речь шла об определенной теме: «Задачи комсомола в деревне». О ней и будем говорить. Вопрос, стало быть, стоит так: можешь ли ты в один прекрасный день, проработав эту тему, заявить, что теперь ты совершенно ясно представляешь себе задачи комсомольской организации в деревне, что ты *абсолютно* хорошо разбираешься в этом вопросе? Да, конечно, можешь! Какие тут могут быть сомнения? Правда, завтрашний день может принести новый лозунг, новое конкретное предложение, но, читая газеты, ты их будешь приплюсовывать, и не приплюсовывать нельзя, иначе ты безнадежно отстанешь. Газеты читать необходимо — это положение не нуждается в доказательствах, но что-то такое, какую-то основу нужно иметь, для того чтобы по-настоящему высосать газету, чтобы извлечь из нее пользу. Для того, кто не обладает необходимой какой-то основой политзнаний, действительно газета скучна и не нужна, как не нужны пули для того, кто не обладает револьвером. Для одного эти пули волнующи и могущественны, он чувствует в них огонь и борьбу — для другого это просто кусочки металла, не годные никуда. Поэтому советую: приобрести револьвер! Выработай в себе эту основу основ, и тогда каждая строка будет тебе казаться пулей. Об том-то и шла речь. Надо усвоить ее, надо усвоить как можно лучше и крепче. Надо составить тот конспект, о котором я тебе говорил. Иные говорят: я знаю, но не могу объяснить. Чудаки! Это все равно как если бы они видели в комнате черта; ибо это не знание, а галлюцинация. Нет, только тогда

ты знаешь, когда можешь объяснить, и только тогда знаешь толково, когда можешь толково объяснить. Вот почему такое значение я придаю конспекту.

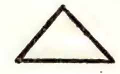
Дальше — я вижу, ты скорей хочешь взяться за изучение диамата; дескать, что такое стены, их можно строить вечно. Разумеется, вечно. И дом может иметь и такой вид:



И такой:



Но что ты скажешь, если он будет иметь такой вид?



Ведь он все равно не жилой, в нем жить нельзя, хотя и имеется крыша — диалектический материализм. Отсюда вывод: прежде чем начинать строить крышу, следует построить хотя бы один этаж. Таким единым этажом является знакомство с основными законами физики и химии, владение хотя бы средней математикой, знакомство с биологией, генетикой и теорией Дарвина, ясное представление о том, что такое класс и классовая борьба, в чем заключается материалистическое понимание истории. Совершенно очевидно, что пока этого у тебя нет. Напрасно ты представляешься ученым и загибаешь в своих письмах разные умные словечки, вроде того, что к «изучению психологии ты подойдешь с биологической точки зрения и познакомишься с рефлексологи-

ей и евгеникой». Рефлексология еще так, но евгеника, дорогой товарищ, не имеет никакого отношения к психологии. Это учение об улучшении человеческого рода.

Остался еще один «роковой вопрос». Почему я не указал в своем письме место «очеркам»? Я не упустил этот вопрос, а нарочно обошел его. Может быть, не один пуд соли надо мне съесть, прежде чем указывать, как лучше и продуктивнее заниматься литературным творчеством и как сочетать его с образованием и практической жизнью.

Вот и все, что хотел сказать по поводу твоих «неразрешимых» вопросов.

●

Нет,
не сравниться
с нарядом знамен
ноябрьскому
небу сизому.
На стиснутых улицах
столько колонн,
Столько людей
нанизано!
Сегодня
автобус,
трамвай,
грузовик,
Камень,
асфальт
и бетон
Имеют
октябрьский вид,
Окрашены
в праздничный тон.
Но даже
и здесь,
где площадь гудит,
Классовая зоркость —
не уходи!
Но даже и здесь,
среди гула и шума,
Невольно приходят
тревожные думы:

Товарищ!
Ты видишь
    октябрьский флаг,
На нем
    золотые
        слова горят,
За ним,
    быть может,
        укрылся враг,
Он, может быть, с нами
    шагает в ряд!
Товарищ!
    Зорче
        гляди вокруг,
Отдайся
    тревожной заботе.
Не здесь,
    не здесь
        узнается друг,
А в будничной
    нашей работе.
Товарищ,
    глядя в микроскоп,
Углубившись
    в рой инфузорий,
Надо чувствовать
    поросли
        новых ростков,
Надо видеть
    Октябрьские зори.

Отвечаю на твое письмо о любви.

О черемухе. Мой ответ: да, без черемухи! Мне скажут: неужели ты за упрощенство в любви? Нет, и не за упрощенство. Но эстетическую любовь я вижу не в том, в чем видишь ее ты.

Дело не в том, что любви отводится слишком много места — так и надо отводить ей много места, вообще любовь стеснять не следует.

А в чем же?

А в том, что любовь подчас расценивается как нечто высокое и прекрасное не сама по себе, а по тем аксессуарам, которые ей сопутствуют. Если мужчина весной, когда цветет сирень, катается с женщиной в лодке и целует ее, то это поэзия. А когда мужчина, шлепая по грязи

калошами, подходит к реке, где женщина стирает грязное белье, целует ее — то фи! — это проза!

Так и черемуха. Почему именно черемуха, а не лимон, не апельсин, не жареная капуста? Ведь они пахнут не менее хорошо. Меня злят всегда такие вот сторонницы любви «с черемухой», которые не видят всего величия и красоты любви самой по себе, любви у грязного корыта, у примуса, любви без всякой черемухи, без сирени, без акации, но хорошей большой человеческой любви.

Да существует ли она?

Любовь *существует* и бродит между нами, она прячется в складках платья и в уголках губ, она приковывает глаза к чьим-то окнам, она сжимает сердце тоской, как обручем, она радостно закручивает человека, как вьюгой. В общем:

Эх, любовь, ты любовь,
До чего доводишь.
Хлеба крошки не берешь,
Как шальная, ходишь.

Собирай частушки, в них очень много хорошего.

Но любовь не вспыхивает сразу, как огонь, нет, она растет, как вишня, как молодой зверек. У кого в душе этот зверек не рождался? Рождался у всех. Но кто сумел его вырастить? Ну-ка? Оглянись кругом, найдешь ли? И вот в чем дело: мы не умеем и не хотим любовь воспитывать. Милый, жалкий зверек рождается в нашем сердце, он беспомощен еще, он барахтается и погибает через две недели. А многие даже берут его за шиворот и с наслаждением топят, как котенка: «Что за сентиментальность!»

Человек прежде всего хочет есть, затем уже любить. Тяжелый закон, который влечет к тому, что люди привыкли душить в себе хорошие, едва распускающиеся чувства и ставить их на три ступеньки ниже своего материального благополучия. Этот закон отменен еще 7 ноября 1917 года.

И вот мне хочется сказать всем людям: давайте не душить в себе этих зверей! Давайте их воспитывать, какие бы маленькие они ни были, и посмотрим, что из них получится.

Девушка улыбнулась около вас и скрылась в воротах МГУ. Можно ее разыскать? Можно. Надо только сказать себе, что эта улыбка, это милое выражение при-

щуренных глаз, как пчелиное жало, ранившее сердце, — это не пустяк. Это же молодой зверек, зверушка, капленок, который может вырасти; а он погибает, конечно, через три дня, если не обратить на него внимания. Он подохнет, и они сотнями дохнут!

А у меня вот, когда подохнет такой зверек, я злюсь на себя, я знаю, что что-то хорошее погибло. Я не знаю, как это передать, чтобы ты понял, но, по-моему, если кому-нибудь понравилась женщина, это обязывает его к чему-то, он обязан продолжать. Преступления против любви никогда не прощаются (Чехов).

Ну вот, все это бессвязно, но, думается мне, понятно — надо уметь растить любовь.

ОДИН К ОДНОМУ

Бывало,
студент
пройдет стороной
И скажет
этак рассеянно:
— Вот тут бы, мол, диском,
а тут бороной...
А поле уже посеяно.
Бывало,
студент
поглядит за столбы,
Заглянет
за две перекладины:
— Да, мол,
у вас хороший бык...
...А бык-то, выходит,
кладеный.
Теперь
мы изъездили
весь Казахстан,
И сторону
знаем кавказскую,
И эти рассказы
у вас на устах
Нам кажутся
детскою сказкою.
Теперь
недаром: один к одному!

Сияют
    зари излучины.
Овечье «бя»
    и коровье «му»
До точки
    нами изучены.
Недаром
    мы гнали стада за версту,
Недаром
    в навозе марались.
Под теплою шерстью
    слушали стук
Артерии феморалис *.
Недаром
    над нами
        бродила луна,
Лучами беля, как известкой.
Она нам — корова, —
    как песня родна.
И как свои пальцы,
    известна.
По сизому небу
    плывут облака.
Корова
    жует
        и думает:
«Сердитые люди
    отняли телка,
В овсяной соломе мало
    белка,
И жизнь моя
    очень угрюмая».
Я запахом талого снега дышу,
Я знаю
    тоску коровью,
И я
    не чернилами
        это пишу,
А собственной сердца
    кровью.
И я
говорю:
    «Растай, тоска.

* Бедренная артерия.

Коровья печаль,
    затихни.
В вузе,
    где мелом
        стучит доска,
Учится зоотехник.
Он пишет конспекты,
    листает тома,
Льет кислоту в бюретки,
Он готовится
    силу ума
На службу
    отдать пятилетке.
И он придет
    среди пыльных степей,
Среди леска поределого
Строить
    силосные башни тебе
И заново
    мир переделывать».

О СЧАСТЬЕ

Из дневника

Вчера Владимир, воспользовавшись тем, что мы на два часа оказались в вынужденном безделье, завел длинный разговор о своих «сомнениях». При этом были вытащены на белый свет вообще довольно известные рассуждения о том, что живем мы только раз, и субъективно мир существует только в каждом из нас и в силу этого должен быть максимально использован для личного счастья. «Ты один, у тебя одна жизнь — ищи для себя большего счастья, везде делай так, чтобы тебе было как можно лучше».

Следовательно, всякая самоотверженность ради интересов класса и ради лучшего будущего неоправданна. «Все равно из тебя к тому времени лопух будет расти».

Опасность подобного философствования состоит в том, что в нем довольно искусно завуалирован переход от верных исходных положений к вполне ошибочным выводам, и это сопровождается видимостью защиты наиболее глубоких, интимных, коренных интересов отдельного человека.

Ну, например, никто и не отрицает, что живем мы только раз и нужно как можно полнее использовать эту жизнь. Все это так. Но из этого совсем не следует, что нужно стремиться скорее утащить краюху у другого или всякими правдами и неправдами приобрести побольше денег и каждый день устраивать пирушки и ходить по ресторанам. При подобном образе действий человек сам себя обкрадывает, обрекая себя на жалкое, по сути дела, существование. Разве развлекательная жизнь, наполненная гулянками, бездельем или сытым обывательским довольством, может доставить человеку сильные переживания? Разве такое употребление времени обеспечивает наиболее полное использование этой нашей единственной жизни? Разве мало примеров, когда такая жизнь в конечном счете опустошает человека и когда умные люди чувствуют глубокую неудовлетворенность таким образом жизни? Все средства развлечения привлекательны только вначале, а при повторениях становятся однообразными, как степная дорога. Я не за аскетизм, развлечениями нельзя пренебрегать, это все хорошо, но нельзя, чтобы это было основным содержанием жизни. Пусть это будет, когда возможно, дополнительным ее украшением.

Мы живем только раз, и нужно прожить жизнь наиболее счастливо. Но что такое счастье? Счастье не существует само по себе. Для счастья, для самого личного счастья человека необходима горячая привязанность его к какому-то делу, к какой-то проблеме, к какой-то идее.

В самом деле, когда человек счастлив? Когда он достигает того, чего хочет. Когда человек очень счастлив? Когда он достигает того, чего очень хочет. Сила переживания зависит от силы желания. И если человек страстно желает достигнуть какой-то цели, если это желание не дает ему покоя, если он ночи не спит с этой страстью, — тогда удовлетворение желания приносит ему такое счастье, что весь мир кажется ему сияющим, земля поет под ним.

И пусть даже цель еще не достигнута — важно, чтобы человек страстно желал ее достигнуть, мечтал, горел этой мечтой. Тогда человек развертывает свои способности, азартно борется со всеми препятствиями, каждый шаг вперед обдает его волной счастья, каждая неудача стегает, как бич, человек страдает и радуется, плачет и смеется — человек живет. А вот если нет та-

ких страстных желаний, то нет и жизни. Человек, лишенный желаний, — жалкий человек. Ему неоткуда черпать жизнь, он лишен источников жизни. И никакие развлечения не смогут заполнить пустоты его существования.

Совершенно прав Писарев, когда говорил, что величайшее счастье человека состоит в том, чтобы влюбиться в такую идею, которой можно без колебаний безраздельно посвятить себя.

Скажут: можно увлечься и реакционной идеей. Конечно, можно, и для капиталистов, например, такое увлечение вполне естественно. Для людей же, не связанных кровно с капитализмом, такое увлечение противоестественно, хотя и встречается. Противоестественно потому, что нормальному человеку трудно привязаться к делу, ходом истории обреченному на гибель.

Кроме того, приятно посвятить себя делу, которое несет в конечном счете обогащение жизни всего человечества. Только дегенераты могут радоваться и способствовать делам, от которых чахнут дети и тускнеют глаза взрослых людей.

Таким образом, малоуважаемый путник Володя, **я готов бороться за лучшее будущее человечества не в силу аскетического самоотвержения; эта борьба сделает мою жизнь наиболее полной и богатой, потому что я испытываю живой интерес к ее целям.** А то, что другие люди потом, когда из меня будет лопух расти, неплохо отзовутся обо мне, может только поддержать мои сегодняшние привязанности.

БАЛЛАДА О ПРОСТОТЕ

Однажды мне встретился старый поэт —
Звезды ярки, и ночь тепла, —
И пока глаза не раскрыл рассвет,
Беседа наша текла.
И он сказал: «Не такие, мой друг,
Я раньше писал стихи —
В них слышались лиры тончайший звук
И рокоты всех стихий.
Я был от вершины уже на вершок
И был знаменитым почти,
Когда однажды рабочий — дружок
Меня попросил: «Прочти!»

Строками бушуя, словами звеня,
Я в рифмах своих закипел.
Он, молча склонившийся, слушал меня,
Ударник и член ВКП.
И, когда, прочитавши сонетов пяток,
Хотел его одой донять,
Он тихо сказал мне: «Довольно, браток.
Я вижу: мне не понять».
И он смущенно пошел от меня,
И взор его глаз потух.
И только долго была видна
Рубашка его в поту.
И понял я в единый миг,
Пока глядел ему вслед,
Что все мои кипы написанных книг —
Тяжелый, ненужный бред.
Так что же я сделаю? Как снесу?!
Я сгорел от стыда...
И вот с тех пор зарубил на носу:
Да здравствует простота!
О нет, конечно, не та простота,
Что хуже воровства,
Нет, не такая, а просто та,
Которая с жизнью росла.
Она проста, она глубока
И вместе с тем строга.
Она человека берет за бока,
Как быка за рога».
Поэт окончил. Его рассказ
Я как завет берегу.
И пусть не срывается вычурных фраз
С моих еще юных губ.

●

Я изобразил бы для наглядности устройство мозга в голове у человека так: представьте здание темное, без окон. В этом здании внутри идут коридоры, много коридоров, целый лабиринт. У одних коридоров больше, у других — меньше. Коридоры освещаются электрическими лампочками — у одних светлее, у других темнее. И у коридоров стены не сплошные, а через каждый метр, скажем, имеется дверь в комнату, а в комнатах разные вещи навалены — у одних больше, у других меньше.

Так вот эти вещи в комнатах — это знания человека: у одних их бывает много, у других мало. Сама система коридоров, хорошо ли они между собой сообщаются или тупики образуют, — это сообразительность человека, самый ум. Умный человек быстро из одного коридора в другой вещи перенесет, а глупый пока еще их из тупика выволочет.

И, наконец, освещение — это ясность ума, это логика. Если коридор хорошо освещен, все вещи, которые мысль перетаскивает, хорошо видны, видно, что к чему, а если коридор темный, то происходит путаница, одно принимают за другое, делают самые дикие выводы и т. д.

Так вот, если это сравнение применить ко мне, то надо сказать, что вещей в комнатах у меня маловато, коридоры достаточно извилисты, но не слишком, зато в коридорах горят лампочки в тысячу свечей. В коридорах моего мозга светло, как днем, лампы пылают, как солнца, ничего контрабандой не пронесешь. Если я знаю тригонометрию, вы незаконное преобразование никогда не пронесете. Если я знаю ленинскую теорию империализма, чужую мысль за ленинскую не выдадите.

УРАЛЬСКАЯ ВЕСНА

●

Звонок зазвенел,
паровоз заорал,
Бригада студентов —
мы мчим на Урал.
Вагоны набиты,
и полки тесны.
Мы — солдаты
второй большевистской весны.
Грустить
или плакать
нам нету причин.
Мы спорим,
смеемся,
поем и кричим.
О чем-то,
о чем-то
поют буфера?

О том, что готовы
и ждут «буккера».
По чем-то,
по чем-то
грустит чернозем?
По умным
по книжкам, —
а мы их везем.

●

Итак, мы едем. Паровоз мчит нас в Уральскую область. Нас пятеро студентов-мясников, пятеро комсомольцев, пятеро молодых ребят. У нас в сердцах — ненасытная жажда действий, а в карманах — командировки Колхозцентра.

Мы разговариваем о будущей нашей работе. Стараемся представить ее конкретнее. Один из нас убеждает крестьян вступить в колхоз. Другой изображает несознательную бабу. Увы, «баба» никак не желает вступить в колхоз, она забивает красноречивого агитатора.

«Где керосин?» — спрашивает она агитатора, и агитатор вспыхивает, как керосин. «Где полотно?» — спрашивает она, и агитатор бледнеет, как полотно. Общими усилиями мы приходим ему на выручку. Керосина добывается сейчас не меньше, а больше, чем в прежние времена. «А где же он?» — «А вот он, видишь, клокочет в цилиндрах проезжающего пашней трактора! Он налит в баках пролетающего аэроплана. Для избы: для лампы, для примуса — керосин оставляется тоже, но оставляется в обрез, и потому удивительно ли, что выходит заминка? Но эта заминка нам не страшна, раз керосин все-таки есть». — «А мануфактура?» — «А если у тебя хозяйство погорит, — отвечаем мы вопросом на вопрос, — что ты будешь делать? Будешь ли ты сколачивать избу или купишь сарафан? Избу? Так делается и в стране. Сначала мы строим самое главное. Вот мы построим машинный завод, а на нем сделаем трактор, а трактор дадим в колхоз, колхоз даст тройной урожай льна, и полки магазинов будут ломиться от мануфактуры. Так-то!» «Баба» сбита, баба не знает, что и возразить. «Она» старается переменить разговор и жалеет, что в Москве не успела побриться. Мы коллективно утешаем ее и приступаем к следующему вопросу, стоящему

на повестке дня. Не помню, были ли это котлеты или колбаса. Кажется, колбаса.

А поезд между тем нас вез и вез.

За окнами
видно,
что ветер не с юга.
За окнами вьюга,
вьюга,
вьюга...
За окнами
тихо пейзажи мелькали,
Заводы и копи огнями цвели.
Здесь марганец,
магний,
железо
и калий,
Селитра
и кальций
идут из земли.

Мы обсудили работу МТС, работу бедняцких групп в колхозах, обращение о контрактациях и прочее. В общем, было очень интересно. Куда девалась «дорожная железная» скука, по остроумному выражению Блока! Так мы сидели в вагоне, смеясь и споря. Наконец вечером в окна хлынули строения станции.

Свердловск! Мы въехали в этот достопримечательный город четырнадцатого, в четыре часа дня. Таким образом, мы потратили на путешествие шестьдесят четыре часа и два часа потеряли благодаря вращению Земли. Черт бы побрал проклятую вертушку! Людям дорога каждая секунда, а она вертится.

Мы прожили в Свердловске два дня. Жили мы в Доме колхозника, бродили по улицам, побывали на III Всеуральском съезде Советов. Два часа ссорились в Уралколхозсоюзе, который никак не хотел, чтобы мы ехали вместе: «Нет, мы не так богаты людьми». Нас рассовали по различным районам. Я еду в район с экзотическим именем Еманжелин.

Итак, мы едем...

Этими словами, которыми я начал письмо, я его и заканчиваю. До нескорого свиданья.

●

Вечер. Я сижу в Еманжелинке на отведенной мне квартире, озабоченный мыслями о близости весны. Хо-

зяйка возится у печки и не переставая рассказывает про соседа:

— Ни земли никакой не арендовал, ни мельницы не держал... За что раскулачили человека? Да разве он кулак был? Честный был работник.

За окном хлопьями падает снег. Стучат молотки в кузнице. Все в порядке — зима продолжается.

— Или бы торговал чем, или бы ростовщиком был, а то как есть ничего.

Хозяйка нагибается и пропихивает ухватом в печь какой-то чугун.

— Или бы отец жил богато, или дед, а то ничего этого не было. Просто придрались к человеку.

Молчание. Меня наконец заинтересовала эта жертва раскулачивания.

— К чему же придрались? — спрашиваю я.

— Да батрака держал, — сказала простодушно старуха и, увидев по выражению моего лица, что этот факт кардинально меняет дело и что появившееся было сочувствие мое к «несчастной жертве» мгновенно улетучилось, жалуясь, продолжала: — Да ведь тогда же не запрещалось иметь батраков, ведь все ж имели... Вон и Степан Агафоныч имел батрака, да в колхозе сейчас за милую душу.

Я задумываюсь. Да, кулаков тут было много, и чувствовали они себя здесь крепко.

Коллективизацию в Еманжелинке долго не могли сдвинуть с двадцати восьми процентов. Многие середняки уже были в колхозе, а беднота шла туго. Крайняя улица, так называемый Вокзал, населенная сплошь беднотой, в колхоз не вступала. Никакая агитация не помогала, а надо сказать, что агитаторам тут простор. Они могут сколько угодно говорить про индустриализацию, тракторизацию, машинизацию — у крестьян не появится скептической усмешки. Эти слова здесь осязаемы, они видимы и особенно слышимы, так что хоть уши затыкай. Гигантские гусеницы «катерпиллеров» ползают между селами. Всего за сорок верст раскинулась, поражая размерами своих корпусов, громадина Челябтракторостроя. Да, агитаторам тут раздолье. И все же, несмотря на это, беднота не трогалась с места. В чем секрет? Секрет этот еще девяносто лет назад был открыт Карлом Марксом и называется классовый антагонизм. Классовый антагонизм мешал бедноте идти в колхоз, где благодаря близорукости местных работников

засели кулаки. «Где кулак? Какой кулак? — говорили они. — У нас кулаков в колхозе нет!» Вместо кулака они видели ладонь, протянутую для дружеского рукопожатия, и принимали ее недолго думая.

Яков Чернышев состоял членом колхоза. Яков Чернышев — кулак, об издевательствах которого над батраками ходят рассказы по всей Еманжелинке.

Однажды работница, жившая у него, уронила ведро в колодец.

«Достань ведро!» — велел он.

Болезненная девушка дрожа стояла у края колодца, не решаясь спуститься. Но хозяин был неумолим:

«Раз уронила — доставай!»

Работницу на веревках спустили в черный провал, и действительно ведро было спасено. Но с работницей, вылезшей из колодца, случился припадок, и ее принуждены были свезти в больницу. Там она умерла.

А Чернышев ходил по деревне в качестве колхозника, да еще с папками под мышкой — он был на канцелярской работе. Я написал «ходил», потому что позавчера Чернышев и еще четыре кулака были вычищены из колхоза. Они глядели как затравленные волки в чаще дружно поднявшихся против них рук. К чести комсомольской ячейки надо сказать, что инициатива чистки исходила от нее. Комсомольская ячейка первая заинтересовалась разговорами на селе о Чернышеве. Только тогда местные работники заметили наконец, что это не ладонь, а кулак, к тому же злобно сжатый.

Уже в день чистки было подано несколько заявлений в колхоз, а затем выпал снег маленьких белых листочков заявлений — хороший подарок второй большевистской весне.

«Вокзал» зашумел, заволновался. Одна за другой его хаты стали прицепляться к колхозному поезду. Счастливого пути! Кулак был побежден. Но я знаю, что эта победа еще не окончательная... Мне помнится случай, о котором я слышал в Еткуле от одного колхозника, прежде батрачившего в этом селе.

«Хитрый был, сволочь, — рассказывал он, — небось выписывал две центральные газеты и читал их целый день. Он первый смекнул, в чем дело, и удрал в город заблаговременно».

Этот случай у меня постоянно в памяти. Трудно ли раздобыть документы? Мне жаловался председатель Бе-

лоусовского сельсовета, что никому не может доверить печати и всегда носит ее с собой. Оставь кому-нибудь, так тебе сейчас таких справок понастряпают, что любо-дорого.

Мудрено ли кулаку устроиться? Мне представляется: огромный зал, заполненный людьми. И над людьми, потными, усталыми, но внимательными, — тихий, прерывающийся голос: «хозяйство было бедняцкое, потом, конешно, пала лошадь, пошел, конешно, на завод, работаю, конешно, год три месяца...» Шелест, шепот, внимательные глаза, — нет, не дано им проникнуть в сердце человека! И накладывается широкая резолюция поверх лиловых кривых букв: «Принять в кандидаты ВКП(б)».

Товарищи, оглянитесь, не с вами ли вместе он работает? Классовая зоркость, неослабляемая зоркость нужна нам каждую минуту!

ГДЕ Я? ЧТО СО МНОЙ?

Ты думаешь: «Письма
В реке утонули,
А наше суровое
Время не терпит.
Его погубили
Кулацкие пули,
Его засосали
Уральские степи.

И снова молчанье
Под белою крышей,
Лишь кони проносятся
Ночью безвестной.
И что закричал он —
Никто не услышал,
И где похоронен он —
Неизвестно».

Товарищ! Не верь же
Вороньему карку,
Отбрось ворожеи
Седые приметы.
Купи на Кузнецком
Уральскую карту,

Вглядись в разноцветные
Миллиметры.

Возьми прогляди
Оренбургскую ветку.
Ты видишь, к востоку
Написано: «Еткуль».

Написано: «Еткуль»,
Поставлена точка.
И сани несутся,
Скрипя полозьями,
И вьюга махнула мне
Белым платочком, —
Мы стали тут с нею
Большими друзьями,

•

И вот я работаю в Еткуле. Что такое Еткуль? Это прежде всего сеть прямоугольных улиц, так дворов восемьсот, опушенных колючим снегом и украшенных деревянными ставнями. Затем — это четыре тысячи сердец, это восемь тысяч разноцветных глаз. И, наконец, и это самое главное, — это пароход, плывущий к социализму. Да, тот самый пароход, который, по мистеру Троцкому, нельзя было создать из сотни рыбацких лодок. А вот он и создан, этот пароход, и винты его заработали!

Дышу я здесь в атмосфере всеобщего уважения. Называют меня не иначе как «товарищ агроном» и считают специалистом по всем отраслям сельского хозяйства. Первые дни я считал своим долгом объяснять каждому, что я-де не совсем еще агроном и что, будучи... и т. д. и т. п., но теперь отбросил ложную скромность.

Четыре дня тому назад мне были торжественно вручены курсы колхозников-животноводов. Курсанты съезжались из всех пятидесяти шести колхозов и деловито рассаживались, расстегивая полушубки, отряхивая седину снега с черных бород.

С завом Бобылевым мы пришли на открытие курсов, происходившее в помещении Еткульской школы.

Курсанты чинно уселись рядами, еле втискивая свои большие тела в детские парты. После очень длинного

и не менее путаного доклада местного обществоведа взял слово я.

— До коллективизации мы — студенты сельхозвузов, агрономы, зоотехники — были бессильны. Разве крестьянин, бедняк и середняк, не понимал, что светлый, чистый и сухой хлев лучше дырявых плетней? Но разве в силах он был оборудовать такой двор? Разве крестьянин, бедняк и середняк, не мог понять, что межа — рассадник сорняков и обиталище вредителей? Но как же иначе отличить свою пашню от пашни соседа? Мне рассказывал один старый агроном, как он в одной деревне читал лекции о выращивании огурцов. «Ну и что же, последовал кто-нибудь вашим советам?» — спросил я. «Как же, — говорит, — я сам видел, у попа хорошие огурцы выросли». (Смех.) Вот, товарищи, куда шли знания агрономов. Ведь только сейчас агрономия может идти рука об руку с крестьянами. Нам предстоит большое дело, товарищи. Давайте же вооружаться знаниями, чтобы использовать их в хозяйстве.

Я все же боялся. Я думал, что ехидные мужички собьют меня на какой-нибудь запашке, вытащат какую-нибудь блоху из седины своей практики. Однако нет, мой авторитет все время держался на должной высоте. Правда, помогло и то, что курсы вел я не один, а с другим агрономом, уже настоящим, которому я постарался выделить самые каверзные вопросы. Это был каштановый старичок, старавшийся ходить как можно прямее и говорить как можно внушительнее. Он так сморкался, будто трубил в трубу, а носовой платок развертывал, как знамя, и после этого подавал сигнал к началу занятий. Я держался проще, душевнее, говорил, пожалуй, живее, и мои занятия любили больше. Я не давал готовых рецептов, готовых правил, а, изложив какое-нибудь агрономическое правило, ставил его на обсуждение. Высказывались «за» и «против», часто находились уже испробовавшие его на практике. Затем я говорил, чье мнение сходится с мнением науки, и этого момента всегда ожидали с нетерпением. Сначала я ограничивался такими разговорами, а курсанты записывали, как умели. Но после того как, просмотрев одну тетрадь, я прочел в ней, что свиней хорошо кормить сырой картошкой, в то время как я говорил обратное, я немного изменил метод. В конце каждого занятия я стал диктовать вкратце то, что мы прошли за занятие.

Труднее мне было вести курсы первые дни. Дело в том, что, как только я приехал в Еткуль, меня схватила за горло ангина. В первый день моего приезда я ввалился в отведенную мне квартиру вечером, когда керосиновые лампы в избах уже распространяли свой свет и благоухание. На столе кипел самовар, за которым одиноко сидел человек, пивший чай с конфетами. Конфеты он клал прямо в стакан и размешивал их ложечкой. Я подсел к столу, и тут первый стрептококк ударил меня по голове. Я почувствовал боль в горле. Ради вежливости надо было сказать несколько слов незнакомцу. Он оказался из Челябинска. Я спросил, что у них там идет в гортеатре, и сейчас же раскаялся, ибо собеседник, оживившись, длинно и нудно начал пересказывать какую-то пьесу. Между тем голова у меня все больше и больше начинала шуметь и раскаляться. Как только занавес был опущен и зубы разговорчивого челябинца защелкнулись, я стал укладываться спать. Собеседник остался допивать чай. Я закрыл глаза, но керосиновый свет все равно проникал сквозь веки, и чем плотнее я их сжимал, тем сильнее раскалялся зрачок. Прошло неопределенное количество времени, в течение которого я пытался бороться с жаром зрачков. Наконец я раскрыл глаза, чтобы загородить чем-нибудь лампу от себя. Темнота царила кругом. Окна, закрытые ставнями, не пропускали даже капли лунного света. В углу тихо раздавался храп моего челябинского собеседника.

...Ангина все-таки честный боец, она лежачих не бьет. Наутро я встал почти здоровым, и, если бы пролежал день, все было бы хорошо. Но курсы ждали меня. Сто с лишним ушей было открыто для принятия премудрости. Говорить приходилось по десять часов в день, ангине не стоило большого труда сшибить меня прямо в постель. Так единоборствовал я с нею пять дней, пока не победил. Теперь я чувствую себя отлично и на аппетит не могу пожаловаться. Скорее будет жаловаться он на меня, что я удовлетворяю его не полностью. Насчет еды здесь скудно.

Многое можно было бы написать. но всего не упишешь в одном письме.

Поэтому скажу в общем — в общем хорошо! Зори цветут малиновыми кустами, и солнце дисковой бороной ходит по небу.

Ожидайте дальнейших писем так же, как и я ожидаю ваших.

●

Сегодняшнее письмо мое будет о молодости, стуке и шуме, о веселых глазах и упрямых головах, о кусочках картона, которые люди берегут, как сокровище, хотя они не дают им ничего и только накладывают на них обязательства быть первыми в труде и борьбе и не знать усталости. Короче: я буду писать о еткульских комсомольцах.

В Еткуле две ячейки ВЛКСМ: одна сельская, другая ШКМовская *. В ШКМовской ячейке сорок человек, хорошие и дружные ребята. Даже недурно работают, создали в Бектыше колхоз, взяли над ним шефство, устраивают субботники по сортировке семян и т. д.

Но у шекамят был один очень серьезный недостаток. На первом же собрании я задал вопрос:

— А что такое правый уклон? Что говорили правые?

Гробовое молчание. Комсомольцы-шекамята были просто-напросто политически безграмотны. Лишь одна комсомолка нарушила молчание и прерывающимся голосом сообщила, что по обществоведению они это прорабатывали и что правые говорили что-то об индустриализации: не то чтобы ее уменьшить, не то чтобы увеличить.

Как могло так получиться? У шекаэмовцев было обществоведение, у них был кружок текущей политики. Но все это было передано в одни руки — руки преподаватели обществоведения Никиты Петровича. Никита Петрович — бывший комсомолец, переданный в беспартийный актив, молодой человек приятной наружности. Он обладал замечательной способностью (увы, нередкой в наше время) говорить сколько угодно и на какую угодно тему. Эту его способность ценили, и он был постоянным докладчиком на всех революционных праздниках и в торжественные дни. Можно прослушать его два часа и после удивленно спросить себя: «О чем же он говорил?» Да ни о чем в общем, перескакивал ловко с коллективизации на Карла Каутского, а с него на акул мирового империализма. Не оскорбляйте воду. Это не вода. Вода освежает человека, а такие речи расслабляют. Вода делает человека бодрым, а от таких речей хочется спать. Мудрено ли, что шекамята

* ШКМ — школа крестьянской молодежи.

ничего не усвоили из его уроков обществоведения? Мудрено ли, что кружок текущей политики мало кто посещал, а кто и посещал, то скучал на занятиях? В сущности же, политика — это самая увлекательная вещь. Без знания ее человек слеп.

Первым долгом комсомольский политкружок я отделил от кружка текущей политики. Предоставив последний в бесконтрольное ведение Никиты Петровича, комсомольский политкружок взял на себя.

Первое занятие посвятили мы вопросам коллективизации, ликвидации кулачества и правому и левому уклонам. Мои выступления относились к выступлениям слушателей, как один к одному. Я ставил вопрос, излагая иногда даже неверную точку зрения, чтобы ее разбить. Ребята обсуждали, спорили и часто сами приходили к правильным выводам. К политзанятиям у них появился интерес.

— Ну так вот, — говорю я. — Значит, вы знаете теперь, что говорили правые, что говорили левые, и видите, что они говорили противоположное одно другому. Значит, они должны сильно ссориться между собою?

— Конечно, — кричат ребята, — что за вопрос!

— А вот, оказывается, и нет!

И мы вскрываем связь этих двух уклонов, их социальное родство, говорим о право-левацком блоке.

Занятие идет живо. Ребята понимали теперь, что к чему.

— Вот, а ты не хотел идти, — подтолкнул один парень другого, когда кончилось занятие.

— Не знал, вот и не хотел, а теперь сроду не пропущу!

Комсомольцы в общем были ребята хорошие, но они еще слабо понимали, в чем главные обязанности комсомольца. Комсомолец, чувствовавший себя комсомольцем только приходя на собрание, — вот главная беда, с которой можно встретиться нередко. В обычной работе он себя комсомольцем не чувствует. Все работают хорошо — и он подтягивается. Все работают плохо — и он работает плохо. Другие, видя беспорядок, бесхозяйственность, молчат — и он молчит. Комсомолец не чувствует еще силы комсомольской организации. «Как же, скажи ему, — говорили комсомольцы в ответ на мои слова, что о каждом случае бесхозяйственности они должны доложить правлению, если не

могут справиться сами, — он тебя облает, и больше ничего».

Ребята не привыкли еще выносить хозяйственные вопросы на комсомольское собрание, чтобы за спиной каждого стояла организация, которую уже никто «облаять» не посмеет. Мое замечание, что на комсомольских собраниях должны ставиться такие вопросы, как, например, о скотном дворе, чтобы комсомольцы обсудили, все ли там в порядке, правильно ли кормят коров, не воруют ли корма, было встречено с интересом.

На следующем собрании мы решили заслушать отчеты комсомольских групп о непорядках в колхозах. Это научит комсомольцев критически относиться к работе и втянет их в борьбу за укрепление колхозов. Я уверен: будет так, что комсомольцы станут в колхозе авангардом и докажут, как умеют работать люди в стране холодных снегов и пылких сердец.

●

И вот я уже снова в Еманжелинке, а не в Еткуле. Черт бы побрал головотяпов и головотяпские методы работы! Как мы ни умоляли Уралколхозсоюз, нас не послали бригадой в район, под тем предлогом, что людей не хватает. А теперь в этот же район прислали одну агрономшу из Ленинграда и одного студента из Перми, — так не лучше ли было нас послать бригадой? Да и здесь, в районе, работая на курсах, я уже сжился с комсомольской ячейкой. Мне бы остаться в Еткуле на всю весну, наладить бы работу ячейки. Но нет, курсы окончены, и меня будут гонять гастролировать по районам.

А жалко оставлять еткульских комсомольцев...

●

Итак, мы едем. То есть теперь-то мы приехали, а не едем, и не только приехали, но и вернулись обратно. Но вы понимаете, что я пишу так, чтобы представить все картиннее: как мы ехали, что говорили, как приехали — словом, все подробности, чтобы все, что живое, вставало бы как живое, а то, что деревянное, так и казалось бы деревянным. Итак, мы едем. Мороз меня не прохватит: шарф у меня намотан вокруг шеи, шуба застегнута на все крючки, на ногах надеты пимы.

Ох уж эти пимы! Когда мы ехали, снег лежал на полях, как листы чистейшей бумаги. Но на следующий же день весна принялась за творческую работу. Она перемарала своим «характерным почерком» все эти пространства: она в волнении сажала кляксы; не находя рифмы, она в отчаянии перечеркивала целые поля. Однако я верю в ее талант. Я знаю, что в конце концов из-под пера ее выйдет что-то необычайно яркое, но сейчас, именно сейчас, она поставила меня в затруднительное положение. Расхаживая в пимах по Красному, я был предметом всеобщего удивления. Меня называли не иначе как «тот, который в пимах», и когда я вышел на сцену и начал: «Здравствуйте все, старики и молодежь, на улице грязь, и в пимах не пройдешь», то дружный хохот грянул в зале. По какому случаю вышел? Терпение, товарищи, терпение! Все объяснится впоследствии. А теперь возвратимся к ходу событий.

Едем мы не как-нибудь — едем бригадой от райкома партии и райкома комсомола на штурм прорывов в подготовке к весеннему севу. С нами на кошеве лежит громадная белая труба. Это сверток бумаги. Для чего она? Для стенгазет. Мы не хотели проехать и бесследно исчезнуть, нет, мы хотели в каждом селе оставить по себе память в виде симпатичного листа бумаги.

Стенгазетное дело цветет у нас в СССР. Листья стенгазет шумят по всему Советскому Союзу. Но прямо надо сказать, что эти листья большей частью несъедобны. Они безвкусны, лишены всякой остроты, да надо сознаться, что и малопитательны. Огромные статьи «к кампании»: к Октябрю, к 8 Марта, к хлебозаготовке, — для кого они? Для того читателя, который не читает центральных газет? Но он не будет читать и такую стенгазету, да и, прочитав, немного понял бы из сухой, подчас малограмотной статьи.

Мы решили отказаться от разъяснительных, сугубо политических статей и дали лишь одно воззвание к бывшим уральским партизанам, написанное коротко, энергично, большими буквами. В газете был только местный материал. Но и его надо уметь подать. Обычно, когда в нашу тощую сухую стенгазету и попадет что-нибудь питательное, то его просто не умеют приготовить. Я говорил ребятам из редколлегии еткульской ШКМовской стенгазеты: «Вот вы написали, что Зюба-

нова плохо посещает комсомольские собрания. Ну и что же? Она и сама знает, что плохо, и каждый из вас знает — заметка никому не интересна. А вот если бы вы объявили в газете громогласный конкурс на изобретение, как затащить Зюбанову на собрание, печатали бы сводки изобретений или нарисовали бы, как ее трактором тащат на собрание, — тогда заметкой бы заинтересовались».

Но возвратимся к ходу событий. Я остановился на том, что мы едем. Нас едет пять человек. Это мало, но в Красном уже находятся две студентки Челябинского педтехникума, которых мы намерены включить в свою бригаду. Эти девчата, Таня и Маня, жили в Красном две недели. Уже, между прочим, успели выпустить и живую газету. Это нас заинтересовало. Нам предложили выпустить еще номер живой газеты по материалам нашей штурмовой бригады. Сказано — сделано. Мы мобилизовали актив, собрали материал, составили частушки, написали раек, разучили вступительный марш, приспособили к местным темам несколько известных песен и т. д., и наконец все было готово. Я совмещал обязанности автора, режиссера и суфлера; Таня — инструктора по голосу и движению плюс главная исполнительница.

В общем, получилось весело, смеху было много. Когда мы приехали в Коелгу, то, уже не откладывая, взялись за подготовку живой газеты.

Что же было в Коелге? И что за Коелга?

Терпение, товарищи, терпение! Все объяснится впоследствии. Я остановился на том, что мы едем! Через четыре часа езды мы были в Красном. Слезли, как полагается, с саней и пошли пить чай к Марине. А затем? Что было затем? Хотел я все это изобразить как следует и чтобы было красочно, но вижу, что сущность самую уже разболтал, пришлось бы повторяться. Экое ведь перо!

●

И вот снова кошева, и снова кони, и снова несутся, и снова вдаль. Все как было — изменилась только погода. Давно ли, кажется, я гулял по растаявшим улицам Коелги в пимах, вызывая смех у прохожих. И вот уже не смех, а снег летит мне вдогонку. Поля опять забелели, полозья заскрипели, метель поднялась. Это пус-

кай: снег нужен. Право, можно подумать, что зима записалась в ударницы и снова принялась за работу. Ведь уже начались разговоры о том, что снегу мало, что предстоит неурожай. Эта мысль, придя, сразу попросилась в стихи. Их сочинением я и занимался всю дорогу (сорок пять километров). Хотя ты и восстаешь против стихов, все-таки рискну их выпустить на этой странице. Не пропадать же добру!

ЗИМА-УДАРНИЦА

Срывайся же с цепи,
Емангул-река,
На редких прохожих
рычи!
Уже
засияли
вверху облака,
Уже зажурчали ручьи.
Отбалагурив
и отсвистев,
Уходит
зима на покой.
И так и ушла бы,
если бы
степь
Не начала речи такой:
«Послушай, зима!
Я сторицею дам.
Урожая —
хватит на всех.
Но,
чтобы в комьях была вода,
Для этого
нужен снег.
А где он?
Не веришь —
взгляни сама:
Чернеют
поляны вокруг.
Ты злостный прогульщик,
ты лодырь, зима,
Ты мне не товарищ,
не друг».

Зима рассердилась сначала,
потом
Ей краска легла
на лицо, —
В такое вот утро,
в просторе таком
Не хочется быть
подлецом.
«Так что же?
Мое
не ослабло
плечо,
Я все же
еще молода,
Возьмусь
за работу
я так горячо,
Что грянут
везде холода!»
Так падай,
падай,
ударный снег,
Усеивай
степи вокруг!
Ты нужен
второй
большевистской
весне,
Ты пахарю —
верный друг.
Высвистывай ноты
от «до»
и до «ля»,
Под музыку эту твою
Уже
замирают в блаженстве
поля,
Они обещанье дают:
«Мы нынче сторицей
дадим урожай,
Ометы до неба клади!
Засуха — жги,
спорынья — угрожай, —
Мы все равно
победим!»

Зима!
Ты работала нынче
не зря,
Мы покончим
с нуждой
и тоской.
Навстречу тебе
сияет заря
Почетною
красной
доской.

Эти стихи согревали меня долгой дорогой. В самом деле: если при умственном труде затрачивается энергия (а это так и есть), то, по законам физики, часть ее идет на теплоту. И, ей-богу, когда я находил нужную строчку, то сразу как ток проходил по телу, и даже окоченевшие ноги согревались.

ВТОРОЙ БОЛЬШЕВИСТСКИЙ...

Еще
на посевные площади
Навалено снега
аршины,
Но уж рвутся
в стойлах
лошади,
Тоскуют
в сараях
машины.
Ведь труд —
это дело
доблести.
Товарищи,
встанем
рядами,
Чтоб соха
из Уральской
области
Отошла бы
в область
преданий!

В то время
как тянет
на убыль зима
И гулы весны
нарастают,
Еще в канцеляриях
глыбы
бумаг
Спокойно лежат,
не растаяв.
А скоро
по трещинам
хлынет вода.
Землей
зачернеют
степи.
Товарищи!
Вот пятилетки года.
Товарищи!
Время не терпит.
Чтоб трактор
вовремя
землю поднял
И дружно бы
шли
комбайны,
Впишите
сейчас же
в повестку дня
Вопрос
о посевкампании!

УТОНУЛА СОБАКА

Речь будет идти не о собаке. Речь будет идти главным образом о весенней посевной кампании.

Вчера старуха возница, везшая меня в Еткуль, спросила:

— А ты кто такой будешь?

— Агроном, бабушка, — ответил я и замолк, полагая, что ответ в достаточной степени понятен.

Однако оказалось, что это не так. Старуха с минуту подумала, понукнула лошадь и, наконец обернувшись, спросила:

— Ну так, граммофон, что ты, граммофон, делаешь?

Итак, что же я, граммофон, делаю?

Но прежде всего разрешите мне сделать маленькое отступление. Нет, не о собаке: я хочу объяснить, каким образом я выбрал время для настоящего письма.

Сегодня утром прихожу я в контору колхоза, говорю, что вот так-то и так-то, дело вот такое-то и такое. В заключение требую:

— Позовите сюда свиновода!

— Свиновода нет, он уехал в Бектыш.

Что ты будешь делать! Кроме свиновода, никто не знает даже количества свиней. А он вернется только завтра. Таким вот образом у меня образовался целый день свободный, и я могу заняться письмом. Только вот не придумаю, о чем написать. Я знаю, вы напомните мне о собаке, которая утонула. Нет, о собаке я писать не буду, я напишу лучше о другом.

Вот представьте, например, как я подъезжаю к воротам потаповского колхоза (называется он «Имени 22 января»). День теплый. И вот... Но я не уверен, что вы достаточно ярко себе представите все это. Вглядитесь же, прошу вас: конь черный, но не такой иссиня-черный, блестящий, как его рисуют обычно. Нет, такой, как будто его намазали ваксой, а щеткой еще не чистили, и он черный, взъерошенный, но не блестящий. Над глазами — бархатные ямки маленькие, а глаза у него как синие жуки, — знаете, такие, которые над прудом летают? Ноги тонкие до жалости, а гороховидная кость выдается. К этому добавьте дугу, согнутую, как ей полагается, возок обыкновенный и, наконец, меня — меня-то уж, я надеюсь, вы представляете?

Итак, мы въезжаем на потаповские улицы — они полны людьми. Платочки у девушек красные, рубахи на парнях красные, лица тоже красные. Однако, несмотря на это, впечатления революционности не создается. Наоборот, все это как будто угнетает.

Почему? Потому, что день сегодня майский, очень приветливый. Потому, что лежат в поле пласты, навороченные плугом, лежат и сохнут, как от любви. Потому, что неудобно устраивать выходной день, когда надо бы сеять и сеять. Не от стыда ли так горячо пы-

лает солнце? И сами люди кажутся немного смущенными, а выпитые пол-литра придают им излишнюю совестливость и предупредительность.

— Я извиняюсь, — говорит человек, сидящий на ступеньках у конторы, — может быть, я вас побеспокоил? Я извиняюсь...

Я вхожу в контору. За столом уныло сидит человек с кислым выражением лица (не таким кислым, как лимон, а таким, как кислая капуста).

Я спрашиваю:

— Где же председатель?

— Уехал в район, — отвечает человек сладким голосом, так не идущим к его кислому лицу.

— А кто его замещает?

— Я.

— А кто распорядился сделать сегодня выходной день и по каким соображениям?

— Колхозники, общее желание колхозников, — отвечает сидящий и ищет сочувствия на лицах обступивших нас колхозников.

Но они суровы.

— Да мы ничего... Мы бы не против и работать — так правление распорядилось. Вот если только кони...

— Да, кони... — вздыхает другой.

Действительно, кони тут больной вопрос.

— По крайней мере, садилки надо было пустить, хотя бы в две смены лошадей!

Молчание.

— Да что садить-то без толку! — неприязненно вставляет другой колхозник. — Садилки садят неправильно.

— Как неправильно?

— А так, — оживляясь, говорит колхозник. — Ты скажи, хорошее ли это дело, если мы на тридцати десятинах посеяли сто тридцать пудов? А?

Через минуту мы уже на площади, окруженные десятком зевак. Берем, выкатываем садилки, подстилаем брезент, обмеряем, высчитываем, вертим.

Первая же садилка, как оказалось, высевала... шестьдесят килограммов (нужно девяносто). Вторая — сто и т. д. Бригадиры ахали вокруг; те из них, чьи садилки садили правильно, удовлетворенно улыбались. Таким путем мы проверили все шесть садилок по два раза: на сухое и влажное зерно (шла протравка формалином). Все установки записали, роздали бригадирам. Во время

таких наших занятий подъехал и председатель колхоза. Поэтому мы, не теряя времени, устроили заседание правления с активом колхоза. Сменили полевода, который ни разу не был на поле и допустил разрыв между пахотой и севом. Обсудили выполнение рабочего плана — моего чернильного детища — и внесли в него некоторые изменения.

Уже было темно, когда я отправился на отведенную мне квартиру. Улица уже шумела и звенела по-вечернему. Вдали завизжала гармонь. Залаяла собака (не та, которая утонула. О, та в другом смысле!), заскрипели ворота. Я вхожу в комнату. Самовар, неизменный друг самовар, встречает меня на столе. Видно, что он пылает ко мне самой горячей дружбой, но я отношусь к нему холодно. Он порядком надоел мне во время моих бесконечных скитаний. Он лицемер, он фальшивый, он пуст внутренне, хотя и блестящим кажется снаружи. Хоть он мне и земляк (из Тульской губернии), но я все же скажу, что он не строитель социализма, и недаром на смену ему идет молодое поколение примусов. Может быть, вы скажете, что я слишком жестоко отношусь к самовару, но посудите сами: утром самовар, вечером самовар... «Идите обедать!» — зовут меня, и я вижу на столе все тот же самовар. Тут вообще трапезу называют не по существу, а по времени, в которое она происходит. По-нашему чай остается чаем, когда бы его ни подали, а у них не так. Я помню, как в Назарове мы с хозяином вошли в избу, и он сказал: «Ну, сегодня у нас будет генеральский обед...» Я думаю: «Что же будет?» А оказывается, генеральский в том смысле, что поздний: генералы всегда в пять часов обедали.

Но уже поздно, кладу ручку и заканчиваю письмо. Да, я должен рассказать все-таки о собаке. Дело в том, что тут много татарских слов — Еткуль, Каратабан, Бектыш, Коелга, Еманжелга. Я расспрашивал об их значении, но не мог добиться удовлетворительных ответов. Узнал только, что Еткуль — значит «глубокое озеро» и Еманжелга — «утонула собака». Вот и все, что мне известно о собаке. Но при каких обстоятельствах она утонула и пришел ли кто-нибудь ей на помощь, это мне ничего не известно. Может быть, дальнейшие исследования прольют некоторый свет на эту загадочную историю.

ЗАРЯ В КОММУНЕ «ОБНОВЛЕННАЯ ЗЕМЛЯ»

Представьте:
теплый
и мягкий
хлеб,
Еще отдающий
золой и печью.
Представьте:
чистый
и светлый
хлев
И в прорези
милую
морду овечью.
Представьте:
низкий, угрюмый лог,
Ветер,
свистящий
по ряби луга.
Представьте:
простой
человеческий лоб,
Четверка коней,
рукоятка плуга.
И, свистя
на все голоса,
Поворачивая с тракта,
Сюда
приближается к пашне
сам
Товарищ трактор.
Зачем он идет?
Ведь вечер уже!
Ведь кони
идут на покой!
Но трактор
взаправду
гудит на меже
И пашет,
чудак такой!
Прямыми рядами
ложатся пласты,

И тает в воздухе
серый дым.
Под этим небом,
седым и простым,
Над этим лугом,
простым и седым.
Ты чем
так встревожена,
синяя даль?
Зачем твои звезды
горят?
Тебя проезжают
и плуг
и рондаль,
Они меж собой говорят:
«Нас в дыме
и гуле
рабочий ковал,
Бил молот,
и ныло плечо.
Задача наша
теперь какова?
В работе
жить горячо!
Рабочий
сердце
вкладывал в труд.
Он думал
коммунам помочь.
Так что же
должны мы
делать вот тут?
Работать
и день
и ночь!
Пройдем же еще
вон той стороной,
Нацелим
железо в упор».
Так
у трехкорпусного
с бороной
Дружеский
шел разговор.

●

Первое мая!

В этот день у вас в Москве слышен гул миллионов, полыхает пожар знамен. Рабочие и работницы идут в одном ряду с Чемберленом, а Чемберлен сделан из картона, и у него отвратительная рожа. Людские колонны идут вместе с оркестром, оркестр играет и помогает ногам идти. Весело брызгая грязью, проносятся автомобили, наполненные ребятишками. Густые людские колонны проходят через Красную площадь.

А у нас в Конвитове нет Красной площади. У нас ни знамен, ни оркестров, ни автомобилей. Но мы не хуже отпраздновали, право, не хуже.

Празднование началось с раннего утра. Только что родившееся солнце с улыбкой оглядывало землю, а заря тянулась еще кровавой плацентой, когда табор проснулся и люди зашевелились. Свежий ветер шумел листвой деревьев, как знаменами. Солнце медленно поднималось на трибуну неба. Люди, волнуясь и спеша, возились у лошадей. 15 минут, и готово — первомайские колонны выступили в поход. Бороны заблестели своими молодыми зубами, тяжелые тринадцатиногие садилки побежали, врезая в землю свои башмаки. А на другом участке сверкнули буккера, плуги, культиваторы. Лошади молодо шли, переступая по комьям пашни.

Вы скажете: да это же труд! Нет, это дело доблести и геройства. Вы скажете: это же будний день — нет, это веселый праздник, ибо идет большевистская весна. Ибо конвитовские колхозники постановили: «В дни весеннего сева дорог каждый день. 1 Мая, праздник труда, провести в поле и показать в этот день ударные нормы выработки». Это постановление не было обязательным. Кто хотел, мог вечером заявить об этом и Первого мая быть свободным. Но таких во всех трех бригадах оказалось лишь двое.

В обеденный перерыв все три бригады сходятся вместе. В котлах уваривается, пузырится жирными блестками первомайский обед. Мы стоим с Пятиной, студенткой совпартшколы, и разговариваем о проведении митинга. «Что это за знамя?» — спрашивают ребята с бороновалки. В руках у Пятиной действительно свернутое вокруг древка знамя. Она молчит.

Сначала коротенький доклад, затем мы устраиваем проверку договоров соцсоревнования. Притаскиваем

большую черную доску. Графили ее вертикально на три части — раз, два, три — это по бригадам, горизонтально на 10 — это по пунктам договора. Каждый выполненный пункт отмечаем +, невыполненный —. Посмотрим, у какой бригады окажется больше минусов. Колхозники, заинтересованные, толпятся вокруг.

Читаем первый пункт: «Бригадиру довести до сведения бригады нормы выработки по всем машинам».

«Это мы знаем!» — раздаются голоса.

«Как не знать!»

«Всем плюсы!»

«Постойте, — говорю я, — сейчас мы проверим. Сначала первая бригада. Кто из первой бригады, поднимите руки».

Восемнадцать рук.

«Ты, например, на чем работаешь?»

«На буккере».

«Какая норма выработки?»

«Два га».

«Верно! А ты на чем?»

Белоголовый парнишка смутился.

«На кутьливаторе».

«А норма какая?»

«Позабыл».

«Кто из этой бригады знает норму на культиваторе?»

Колхозники морщат лоб, вспоминают мучительно, не хотят получить минус.

Напрасно — даже бригадир позабыл.

«На всем знаем, только на культиваторе позабыли».

Под общий смех заносим бригаде минус.

«А из других бригад кто знает?»

«Три га!» — кричат голоса. Они хитро молчали.

Так идет проверка.

Когда все пункты проверены и занесены на доску как наглядная характеристика работы всех бригад, интерес колхозников достигает высшей точки. По всем данным выходит на первое место вторая бригада.

Тогда я развертываю наконец таинственное знамя и передаю его бригадиру второй бригады. Большими белыми буквами на нем выведено: «Передовикам весеннего сева». Бригада обступает знамя. Бригадир хочет скрыть радость, но она у него пробивается сквозь усы. На лицах колхозников других бригад разочарование и зависть. Но разочарование сменяется воинственным на-

строением, когда они узнают, что знамя переходное и будет вновь присуждаться каждую пятидневку.

«Ну, поглядим еще, у кого оно будет», — говорили колхозники, расходясь по своим бригадам.

Ребята же просто прыгали около знамени и кричали:

«Отберем, отберем!»

«Как же!» — отвечали им.

Потом мы устроили вечер вопросов и ответов. Накупили мыла, табаку, зеркал, карандашей — это премии. Составили 40 вопросов. Вечер прошел очень оживленно. Правда, были некоторые шероховатости. Вопрос «Почему ты не комсомолец?» достался древнему старику и вызвал всеобщий смех. Вопрос «Кто больше всех прогулял в колхозе?» вызвал страстные споры — пришлось прибегнуть даже к голосованию.

Поздно вечером веселые и оживленные колхозники разошлись по домам.



«В ЛАБИРИНТАХ ФАКТОШИФРА»

Из дневника

Так нельзя ходить, как я хожу, таким сумасшедшим, так нельзя тосковать, как я тоскую. Надо хоть немного ослабить подпруги тоски. Надо своею тоской с кем-то поделиться, она от этого меньше будет, — так даже математика говорит.

Я давно догадался об этом, что поделиться нужно, но с кем, с кем? Такого друга у меня нет, которому все можно было бы рассказать, то есть я думал, что его нет. А сегодня вдруг вспомнил, что он есть. Вспомнил — и даже сердце радостно забилось: друг настоящий, искренний друг у меня есть! Друг такой, перед которым душу можно раскрыть, как окно в душную ночь, которому мысли можно доверить, как тигрят тигрице, — друг такой есть!

И вот сегодня утром я порылся в корзине, достал друга, ибо друг этот — бумага, и начинаю разговор с ним, самый искренний и задушевный.

Вот почему я начинаю этот дневник, который и будет моим собеседником.

Постараюсь изложить все по порядку. Этому помогут те записи, которые привык я делать ежедневно. Это не дневник и даже не подобие дневника. Нет, это фактошифр, как я называю. Это краткая, неразборчивая запись о случившихся за день фактах, запись понятная лишь для меня одного. Никто более в моих крючках не разберется. Даже и сам я подчас в них путаюсь и, позабыв, что к чему, бывает, на миг теряюсь, ища смысла набросанных мной таинственных каракуль.

Но тихо пробирается по извилинам мозга память, и вдруг, как молния, озаряет сознание, и каракули приобретают глубокий смысл.

●

Давно уже, с юношеских дней, я не был влюблен по-настоящему и очень быстро разочаровывался во всех женщинах, с которыми встречался за последние два года. Часто меня влекла к себе чья-нибудь улыбка, блеск глаз, игра теней на лице. Я искал сближения, но проходило три дня, четыре, самый большой срок три недели, и я уже охладевал и успокаивался. Сквозь прежнюю, такую увлекательную улыбку видел я умственную вялость, в прекрасных глазах только желание понравиться, а игра теней на лице прекращалась, ее не было, если в это лицо вглядеться, поближе узнать его.

Мне жалко было моих кратковременных «влюблений», я старался воротить их, старался раздуть в сердце огонек.

Эти дни, когда я был влюблен, мне нравились, в них жилось по-особенному и работалось лучше: мечта — необходимый составной элемент в жизни.

«Скучно, когда в сердце нет жильцов, — говорил я. — Нет, не скучно, а страшно, когда там нет жильцов».

Страшно, что вся жизнь пройдет вот так, без горячего чувства, без той лихорадки ядовитой, которую я краешком захватывал, пройдет, как эта холодная ночь проходит, как поезд проходит, и жизнь не вернешь так же, как поезд.

●

Где и с чего начинается первая глава моей повести? Она начинается в тесной и веселой комнате редакции нашей многотиражки. Да, она начинается в этой комнате, с которой у меня связано немало воспоминаний, где резко и хрипло звенит телефон, где весело, как огонь, потрескивает пишущая машинка («Наш обожаемый монарх» — называем мы ее, потому что машинка системы «Монарх»), где свалены кипы газет, набросано, насорено, и всегда два или три человека строчат что-нибудь, блаженно или ядовито улыбаясь.

...Глупо и неверно пишут иногда в романах про лю-

бовь. «Лицо ее сразу врезалось ему в память», «стояло, как живое», «преследовало» и т. п. Как раз бывает наоборот. Чем сильнее поражает тебя лицо, чем больше оно затрагивает сердце, тем труднее его запомнить. Вместо лица в памяти остается какой-то неясный образ, какое-то отравляющее мозг впечатление — и только. Да это и с точки зрения физиологии понятнее. Сильное впечатление оглушает, парализует мозг, и он отказывается работать, как обычно, — запечатлевать в памяти лицо.

Так у меня было с Тоней. Лица всех девчат — Кати, Лиды, Тоси — я представлял и помнил хорошо. Тониного же лица не мог запомнить очень долго. Иногда оно, это лицо, промелькнет в памяти, как молния, и, как молния, потухнет.

В АНАТОМИЧЕСКОМ КАБИНЕТЕ

Вниманием дышат лица...
Раскрыты веером уши...
Здесь молодежь толпится
Около теплой туши.
У края стоит с ланцетом
Бровар *,
        слова бросая:
«Мускулюс массетер...
Внутренняя косая...»
Бродит, волокна сминая,
Рук его отпечаток.
«Вот здесь — спинная,
А вот — край зубчатой...»
Но из всех объяснений
Я только одно лишь понял,
Одно лишь мне стало яснее,
Что лучшая девушка — Тоня.
Что бродит по комнате мука,
Что сердце стучит у Тони
Таким серебристым звуком,
В таком мелодичном тоне.
И когда мы вышли на воздух
И ночь зацвела голубая,
Это небо, рябое в звездах,

---

* Преподаватель анатомии.

Так хорошо улыбалось.
Колючая вьюга снега
Так бушевала чудесно
И шорох такой шел с неба,
Что в сердце слагалась песня.
Даже луне стало грустно,
Плывущей в лиловом блеске,
Что в небе ужасно пусто
И ей целоваться не с кем.

ТОВ. ТОНЕ, ЧЛЕНУ РАЙСОВЕТА, ОТ ЧЕКМАРЕВА

Заявление

Под мягким светом
    электрошаров
Вы сидите в глубинах кресел,
Чтобы каждый в республике
    был здоров,
И сыт,
    и румян,
        и весел.
Но дерзаю от срочных дел
Вызвать тебя с заседания.
Тоня! парень один заболел,
Прошу обратить внимание!
Правда,
    парень
        не слишком умен
И с довольно посредственной
    рожей,
Какая-то куртка
    надета на нем,
И кличут его Сережей.
Он в стены впивает
    измученный взгляд.
Смотрите,
    какой он рассеянный!
Он и не слушает,
    что говорят
Про шахты
    и про бассейны,

Он не листает
        ученых томов.
Он не пишет конспекта.
Но в сердце его
        расцветает любовь
Всеми цветами спектра.
И кроме тех дум,
        что жгут,
                как мороз,
Что в душу
        стучатся, как в стекла,
Весь мир,
        ему кажется,
                скукой зарос,
Вся жизнь
        отцвела и поблекла.
Брести в столовую?
        Ради чего?
Питаться соленою рыбкою?
Ах, он погибнет,
        если его
Не ободрить улыбкою!
Твоею улыбкою, Тоня,
        да,
Прекрасною, милой такою.
И сразу бы муки
        не стало следа,
Тоску бы
        сняло как рукою.

●

Был у Тони. Пригласил ее в Политехнический на вечер поэтов. Стоит ли описывать вечер? Все равно не опишу. Я сидел с нею, кажется, в третьем ряду, любовался ее улыбкой, следил за движением лица, ревновал к Кирсанову и Луговскому, на которых она, как мне показалось, очень много смотрела. В общем был глуп и счастлив.

С вечера я провожал ее до 41-го. Шел редкий снег. Погода такая хорошая, небо такое хорошее.

— Ну, пока, — сказала она, прыгая в трамвай. — Будешь писать, конечно, мелким почерком.

Да, Тоня, вот пришел и сижу, пишу мелким почерком.

Я помню себя на следующее утро. Я был беспричинно и чудесно счастлив. Все радовало, все казалось прекрасным, ни на кого я не был в силах рассердиться. Мне даже самому было удивительно это мое радостное настроение. Ведь ничего же не случилось, думал я. Если бы я хоть раз поцеловал ее, а то ведь не было этого, и слова ни одного о любви не было сказано, и ничего, ну ровно ничего не было. Но все-таки счастье так и разливается по телу. Отчего? Ну, просто оттого, что весь вечер сидел рядом с нею, смотрел на нее, говорил с ней.

Не знаю, как это объяснить. Вообще приятно быть около любимой девушки, смотреть на нее и слушать ее, с кем бы она ни говорила. Но если она пойдет куда-либо со мной, только со мной, и будет разговаривать дорогой со мной, только со мной и смотреть на нее буду я, только я, то это уже что-то гораздо больше и лучше. Так, солнечные лучи вообще греют, но если их линзой свести в один фокус, то они жгут.

...Это был первый период любви, когда просто хочется быть вместе и когда вполне счастлив бываешь только оттого, что вместе.

ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ

Стих написан
В лирическом тоне,
Кому посвящаю?
Конечно, Тоне!

Восьмого, в восемь часов утра,
Проснулся я с мыслью одной:
Сегодня горячим и нужным делам
Отдам я свой выходной.
Первое: надо усвоить на «ВУ»
Что-то о видах металла.
Второе: прочесть шестую главу
(Третий том «Капитала»).
Затем поработать часика три
Над своей «Ильичевкой»:
Каждую фразу заострить,
Сделать легкой и четкой.
План замечательный — что и сказать!
Расчет был довольно тонкий,
Но только одно не учел я: глаза,
Глаза и улыбку Тоньки.

Напрасно я в книгу глядел, как баран,
Я в ней даже букв не заметил.
На сердце поднялся такой буран,
Такой сумасшедший ветер.
Мечты маршируют, как роты солдат,
И мысли несутся, как конница,
Из всех событий, имен и дат
Одно лишь на свете помнится:
Как она засмеялась, вошла, ушла,
Задумалась, руку пожала
И как улыбкою сердце жгла
Больнее и ярче пожара
И ярок чувств распущенный спектр,
Он мозгу командует:
«Стой!»
И вот закрывается скучный конспект,
Раскрывается Лев Толстой.
Плыви, как в тумане, волнующий шрифт,
Горячие мысли, теките!
Вот Долли рыдает, измену открыв,
И в вальсе кружится Китти.
Оркестр, мелодию заиграв,
Созвучия в уши бросает.
И тут появляется Вронский — граф.
Богач, адъютант и красавец.
Он к Китти стремился лучистой мечтой,
Любовался улыбкою, бровью
И думал наивно, что чувствует то,
Что люди зовут любовью.
Но любовь — это перец, огонь и желчь,
Это розой цветущая рана.
Она обязана мучить и жечь,
Она не выносит спокойную речь...
И в платье, открытом почти до плеч,
Входит Каренина Анна.
И сердце графа дает перебой,
И граф отдается смятенью,
Уже становится он не собой,
А ее отраженной тенью.
Сердце Анны ужалено тоже,
Но Анна замужем, Анна — мать,
Но, боже, она ведь любить не может,
Это ведь надо же понять!
Анна с тоскою не в силах справиться.
Анна едет в Санкт-Петербург,

Прижав холодные тонкие пальцы
К такому горячему, милому лбу.
Ах, скорее домой, и там бы!
Встретили Анну ребенок, муж!..
Анна встает и выходит в тамбур,
Чтобы ветер сердце избавил от мук.
Тянется леса рисунок броский...
И сразу в ушах волнующий звон:
Боже, чьи это губы?
Вронский!
Да, сомненья нету, он!..
Он стоит уже с нею рядом.
«Стоять? Повернуться? Уйти назад?»
Но Анна не может спрятать радость,
Жгущую губы ее и глаза.
Ведь это не нужно спрашивать даже,
Ведь это же ясного ясней,
Что он для того лишь стоит на страже,
Чтобы быть тут, в поезде, рядом с ней.
Что он стоит среди урагана,
Где вихри снега и стали гуд,
Лишь потому, что дорога ему Анна,
Что так волнующ изгиб ее губ...

Но не буду пересказывать дальше содержание «Анны Карениной», оно известно всем. Я читал до вечера, увлеченный шелестом страниц. Лишь вечером я отклеил глаза от книги, не как отклеивают мух от меда, а как отклеивают бинт с присохшей кровью от раны. Затем я принялся за чтение учебников. Затем...

Затем — железом звенит засов,
Входят приятели — нет спасенья!
Затем начинается гул голосов
И долгое рук трясенье.

— Ага, Сергей, оторвался от масс?
— Молчишь, брат, и крыть, значит, нечем?
Слушай, Сережка, идем сейчас
На литературный вечер.
— А кто читает? — Сельвинский сам.
— А где это? — В клубе ФОСПа. —
И в сердце вспыхнула страсть к стихам,
Как вспыхивает оспа.
Я чувствовал: надо всех выгнать вон
И засесть за том «Капитала»,

Но вечер, но строчек волнующий звон,
Отливающий гулом металла...
Я видел, пылая, горя от стыда,
Что я поступаю по-свински,
Но все-таки взял и поехал туда,
Где выступал Сельвинский.
Вжатый, втиснутый в номер «Б»,
С какой-то дамой напудренной,
Я стоял, покорный судьбе,
Пока не доехал до Кудрина *.
И вот, расставшись с последним рублем,
Я думал, вбегая в сияющий клуб:
«Глуп ли я оттого, что влюблен?
Или влюблен оттого, что глуп?»

ПРИГЛАШЕНИЕ В ФОТОГРАФИЮ

Я говорил тебе не раз
Простой и стихотворной речью:
Как у тебя, таких вот глаз
Я в жизни больше уж не встречу.
В пылу тоски, в бреду ночей
Такие лица только снятся.
И тем обидней и горчей,
Что ты никак не хочешь сняться.
Ты скажешь: «Вот они, взгляни!» —
И веер карточек разложишь.
«Скажи, не правда ли, в те дни
Была я лучше и моложе?»
«Нет, — говорю я, — Тоня, нет!
Там пестрота, там лесть, там ретушь,
Какой ни выбери портрет,
Такого выраженья нет уж...
Да ну же, Тоня, что с тобой?
Ну, милая, скажи «угу».
И мы ковровою тропой
Пойдем под вольтову дугу».

●

Хорошо: ну, приходит Тоня,
Но зачем же срываться с места?

* Кудринская площадь, ныне площадь Восстания.

Зачем глядеть беспокойно
И вступать в разговор неуместно?
Сережа! Еще немного,
И что от престижа останется?
Ты должен держаться строго,
Как член редколлегии «Сталинца» *.
Но на такие речи
Я лишь головой качаю.
Я лишь поднимаю плечи
И сам себе отвечаю:
«Товарищ! В чем дело? Ну пусть он студкор,
Пусть пишет острее перца,
Но скажите: с каких же пор
Он не имеет сердца?
Нет, он имеет его! И вот
Вам результат наглядный:
Он уже ходит, как идиот,
Он очарован взглядами».

●

...Я гляжу больше на Тоню, чем на сцену. По правде сказать, так даже все время гляжу на Тоню, а на сцену только взглядываю иногда для приличия... Я до сих пор помню и никогда, кажется, не забуду это ощущение потушенного света в зале, музыки и хора, бархата стульев и мучительно милого лица рядом, лица, окутанного полутьмой... Весь вечер прошел для меня, как легкий бред.

...Почему после того вечера десять дней назад я был так счастлив, а сейчас мне так тяжело? Объяснений нет, кроме того, что яд любви добрался до сердца, что мне мало того, чтобы Тонин висок был около моего, что что-то нужно было еще, чего не было, и от этого тоскливо...

Разговор не клеился, опять повисла тяжелая гиря молчания. Что было делать мне? Жаль было того вечера, хотелось как-то вернуть вчерашнее возбужденное Тонино лицо, хотелось как-то сразу, как паутину, разорвать, освободиться от этих тяжелых отношений. Не надо больше говорить, не надо приходить каждый вечер, надо взять ее за плечи и привлечь к себе. Так я думал сделать. Но не так просто было это сделать, хотя, казалось бы, чего тут трудного?

---

* Многотиражка мясо-молочного института.

Предположите, что перед вами плотная доска, дубовая, шириной сантиметров двадцать. Попробуйте пройти по ней, не наступая на землю, — очень просто, да? Но перенесите эту доску над пропастью, и вы уже не скажете, что это просто. Так вот, мое намерение — это та же доска, а пропасть — это моя любовь к Тоне.

●

Я скажу тебе «прощай»
Вместо «до свидания».
Только ты не обращай
На меня внимания.
Ты засмейся и тряхни
Головой беспечною:
«Ведь нельзя же в наши дни
Жить любовью вечною».
Зачем, зачем блестит слеза
И губы желчью полнятся?
Мои же серые глаза
Недолго будут помниться.
Ведь мой же профиль не прямой
И губы цвета камеди,
Они забудутся тобой,
Они уйдут из памяти...

●

Иногда мне кажется, Тоня любит меня. Но любит так, как луна светит отраженным светом солнца. Солнце горит, бушует раскаленными газами, задыхается в дыму протуберанцев. Луна, холодная, спокойная, ловит солнечные лучи и тоже светит. Потухнет солнце — и луна потемнеет. Если моя любовь — солнце, то Тонина любовь ко мне — отраженный свет луны.

ПОВЕСТЬ БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ

●

Когда я вспоминаю о первом периоде своей любви, то мне несколько странно делается, как это случилось, что я не знал того, что многие знали, как не заинтересовался ни разу, что за портрет висит у нее над кроватью

и почему она повторяет, что она «старушка», хотя вряд ли она старше меня? Я был занят тем, что происходило в моем сердце, следил за ростом своей любви, а о сердце позабывал. Но об этом пришлось вспомнить.

●

Я был, как пораженный громом,
Не мог дыханья перевесть.
Я покраснел, я стал багровым,
Когда услышал эту весть.
Так беспокойно, так тревожно
По коридорам я бродил.
И если б это было можно,
Я сам бы за тебя родил.
Как на душе темно и зыбко,
Как мысли гаснут на лету!..
Тяни, тяни мелодью, скрипка,
Но только выбери не ту.
Ты о любви довольно пела,
Теперь о том ты простони,
Как в муках бьется чье-то тело
На льду колючей простыни,
Как сведены в страданье брови,
Как тяжек груз горячих век,
И как рождается из крови
Комочком синим человек.

●

Тоня! Вчера я тебя не поздравил (просто не сообразил), разреши хотя бы с опозданием поздравить сегодня. Передай привет маленькому милому человечку, которому идет уже сорок второй час от роду. Мне бы хотелось на него поглядеть. Хотелось бы очень и тебя увидать, но что поделаешь, если нельзя. Напиши несколько слов, как твое здоровье, настроение. Напиши, чего тебе хочется, я привезу. Только не пиши, Тоня, чтобы я не приезжал.

ПРОЧТИ, ПРОСТИ...

За этим платьем, ярче меди,
За этой лентой голубой,
Прости меня, я не заметил,

Что у тебя на сердце боль.
Что ты измучена любовью,
Что эта жизнь тебе узка,
Что под твоею светлой бровью
Такая черная тоска...
Прости... Быть может, даже пошлым
И глупым иногда я был
И, незнакомый вовсе с прошлым,
Тебя невольно оскорбил.
Прости... Но этим страшным ядом
И я отравлен, как и ты.
И я ловлю печальным взглядом
Свои разбитые мечты.
Быть может, знай я все вначале,
Я прежним парнем мог бы быть!..
Но уж теперь моей печали
Не разогнать, не потушить...
Я буду здесь и буду злиться,
Я буду верен до конца.
Из сердца все на свете лица
Не выжгут твоего лица.

●

Я не допускал мысли, что ты можешь умереть. Это было бы слишком страшно, слишком ужасно. Я просто отбрасывал эту мысль, потому что знал, что, допусти я ее, — она меня сведет с ума. Это было очень важно — то, что там с тобой происходило, — и мучительно, и значительно в одно и то же время. Это ведь экзамен на женщину. Что будет, как это произойдет, что предстоит перенести, каков он будет, этот маленький люденыш, хороший ли он получится, — эти мысли разве не колотились в твоем сердце? (Ведь ты, Тоня, во многом еще девочка.) И ведь правда, страшно было? Вот и мне было за тебя страшно. Я хотел представить, как ты лежишь там, в больнице, — и не мог: фантазия не повиновалась. Представлялось такое усталое, такое милое лицо, которое было у тебя однажды на вечере в химичке, когда мы ушли с «Синей блузы», — помнишь? Память схватывала то твою руку, то прядь волос, а в ушах звучал твой голос.

Назавтра я был в больнице. Пришел я первым. Когда я узнал, что ты родила, и благополучно, мое лицо сразу просияло, и няня мне улыбнулась и пошла узнать — мальчик или девочка.

— Сын, — сообщила няня, вернувшись.

Должно быть, у меня при этом было радостное лицо, потому что какая-то старушка, подошедшая в это время с передачей, глядя на меня, тоже стала улыбаться.

— Ишь, как хорошо, когда сын! — сказала она. — Дочке не так радуются.

«Он такой же мне сын, бабушка, как и тебе», — хотел я сказать, но не сказал, конечно.

«Я очень счастлива», — написала ты. Я очень рад за тебя. (А помнишь, Тоня, помнишь, как ты недавно декламировала Шевченко, пела и сказала потом: «Это все прошлое, а где настоящее? Его нет».) Я понимаю твою радость и любовь к сыну. В самом деле: когда соберешь какой-нибудь паршивый карбюратор, и то чувствуешь невольно маленькую гордость: вот, дескать, были какие-то стерженечки, крышечки, а получилась красивая вещь.

А тут не карбюратор, а человек, и не собран тобой, а создан, выношен, пронесен через такую долгую тоску, через такие мучения — но пронесен все же! — и лежит теперь такой хорошенький, теплый, милый и курносый.

А с другой стороны, мне грустно, что ты очень счастлива. Значит, сердце твое наполнено, и мою любовь тебе поместить некуда. Ох, а ведь ей много надо места!..

Но ладно, подальше от грустных тем, буду стараться писать про смешное. А что смешное? Смешного мало. «Сам ты смешной», — может быть, скажешь ты, прочитав это письмо.

На этом ставлю точку. Хотелось бы писать еще и еще, да и письмо получилось пока не такое толстое, какое я обещал. Но иначе я не успею решить задачу по организации территории, а это ведь недопустимо, правда, Тоня? Ты меня за это стала бы ругать. Поэтому скажу до свиданья. Как хочется тебя поцеловать!..

Если найду время, завтра напишу еще.

Тоня, как ты назовешь сына? Тоня, правда ведь, не так, как звали отца, не так, Тоня, да?..

●

Он обучался в высшей школе.
Он образован, он доцент,
Но в сердце — хоть бы искра боли,
Тоски — хоть бы один процент!

«Ты не криви так горько ротик
И к моему склонись плечу,
Ведь я любить тебя не против,
Но я ребенка не хочу».

Что я думал? Это невозможно теперь описать. Скажу только, что чисто физического чувства ревности у меня не было — такого чувства, как, скажем, у князя Нехлюдова к своей невесте. Но мне было больно — не знаю, как это объяснить, — за какую-то человеческую свежесть, за растраченность сердца. Если бы я знал, что эта связь была под влиянием минуты, что они легко расстались, не было бы этой тоски. Больно было за то, что она любила, что она тратила сердце (ведь в процессе жизни происходит амортизация души), что и сейчас, может быть, с этим не покончено («я старушка» — вспомнилось мне).

●

У меня больно сжималось сердце, что кому-то другому досталась эта юность, а не мне. Но я ее и такую люблю. Скажу, кстати, про свое тогдашнее отношение к «нему». К «нему» у меня не было ненависти и даже неприязни. Было скорее какое-то любопытство: мне хотелось узнать его, что это за человек, которого Тоня любит, лучше ли он меня, умен ли, как он говорит, что делает.

●

Мне часто враги твердили,
Да и приятели тоже:
«В этом хитро устроенном мире
Ты глуп, дорогой Сережа.
Ты будешь всегда всех ниже,
Да и умрешь без славы».
Увы мне! Теперь я вижу,
Что все они были правы.
Ах, был бы умен я, не стал бы
С тоскою бродить по аллее!
Ах, был бы умен я, не стал бы
Так глупо вести себя с нею!
Не стал бы с бунтующей кровью
Часами сидеть в отчаянье!

Следить за светлою бровью,
Ловить головы качанье,
Я знаю: все это напрасно,
Но что же мне делать с собою?
И с платьем вот этим красным,
И с лентой вот той, голубою?..

●

Итак, она продолжает его любить! Вот и вся тайна. Просто и естественно: она продолжает его любить! Больше ничего. Я тут ни при чем, и моя любовь ни при чем. Они разошлись. Я думал: раз они разошлись, то и любовь кончилась. Это казалось мне само собой понятным, я и не спрашивал даже, иначе для чего же расходиться? А оказывается, нет. Трудно описать, как поразило меня это открытие...

●

Говорят, что утро вечера мудренее. Но эта пословица, во всяком случае, неприменима к утру шестого декабря. Вечером я был возбужден, взволнован, глуп, может быть, но все же был нормальным человеком. А утром, — я не знаю, как описать это, —во всяком случае, нормальным человеком я не был.

Во-первых, тяжесть на сердце, как будто к сердцу привесили гирю, и оно не может биться так хорошо и звонко, как раньше. В голове жар и шум, как будто я болен, хотя я ничем не болен, то кровь приливает к голове, дышится тяжело. И главное, мои мысли, мои густые, длинные блестящие мысли — они спутались, как волосы после купания. Где моя яркость мысли, свет в лабиринтах мозга? Увы, он потух, и по коридорам его теперь носятся исступленно какие-то странные вещества, вспоминается что-то о висках и глазах, о потушенном свете в зале. Никаким усилием воли я не могу стряхнуть капли дождя с листьев.

Уже все заметили сегодня мой хмурый взгляд и тяжелую походку. Мне самому становится страшно, и я хочу разорвать черную паутину этих дум, стряхнуть все, скинуть с себя, не думать о Тоне, побыть прежним парнем. «Вот она, любовь, как болезнь, — думал я. — А я, дурак, хотел так любить. Нет, лучше так не надо».

Я чувствовал, что тут надо что-то продумать, обсу-

дить, решить, как поступать теперь. Но начал думать и махнул рукой, поняв, что занимаюсь самообманом. Я понял, что, какое бы решение я ни вынес, к Тоне сегодня вечером приду. Утопающий не может рассуждать, за что он хватается — не уколется ли, не обрежется ли?

●

Сегодня волк не спокоен,
   его разбирает зуд.
И в чье-то горячее тело
   вонзается острый зуб.
Он тушу рвет, как душу,
   от горла идет к ногам.
Это жизнь, это буйство тела,
   это атомов ураган.
Но, кроме вкуса мяса,
   есть запах еще и цвет.
Поэтому ты мечтатель,
   поэтому ты поэт.
Всю жизнь, еще в ребятах,
   мечтал я о счастье таком:
До синего платья неба
   дотронуться языком.
Чтоб эта заря поднялась бы,
   взглянула бы мне в глаза
И, пальцами лба коснувшись,
   в далекую даль позвала...
Мне скажут: «Ведь это безумье,
   пройдет оно с ростом бород».
Мне скажут: «Не вздумай стреляться,
   а сделай наоборот».
Нет! Я не пойду стреляться!
   И жизнь сберегу и мечту,
Сквозь эту свирепую вьюгу
   я, стиснувши зубы, пройду.
Хочу я с той самой земною
   взрастить молодой росток.
Чтоб плакал, сосал и ползал,
   умнел и мужал телок.
Пусть он набирает разум,
   листает за томом том,
Окончит рабфак сначала,
   а институт потом.
Пусть выйдет из нашего сына
   ученый и дельный муж.

Пусть будет он шутке веселой
и песне хорошей не чужд.
Чтоб шел по планете не горбясь,
лишь песню призывно трубя,
Чтоб был бы за все он в ответе,
не рвал бы у жизни края.
И вот что, мой сын, запомни
и постарайся понять:
Вдыхать надо каждый запах,
но только цветы не мять.
Возиться над каждою краской,
но только не пачкать лица.
В ракете прокалывать звезды,
земные не ранить сердца.
А я уйду любоваться
на осени рыжую медь.
А я возьму колокольчик
и буду в него звенеть.
Всему — даже нам с тобою —
придет черед умереть.
И только красивой песне
дано без конца звенеть.
Прочтешь голубые строки,
и к сердцу прихлынет юг.
И пусть продолжают волки
свирепую жизнь свою.

●

Когда я беру твою руку,
Руки ты не отнимаешь,
Но в глазах твоих видится мука,
Такая печаль немая!..
И в жилках руки капризных
Я слышу тоски трепетанье.
Он здесь еще, этот призрак,
Над нами его дыханье!
И я своею рукою
Коснуться тебя не смею,
Я только смотрю с тоскою,
Я только сижу и краснею.

●

...Она не только не хотела забыть его, вырвать из сердца, но как будто бы даже берегла его в сердце. «Этот человек — загадка», — говорила она.

Вот тут, когда я разглядел такое отношение Тони к прошлому, начала рождаться ненависть к этому человеку. Хотелось доказать, что вовсе он не загадка. «Человек, расходящийся с женщиной только из-за того, что она хочет иметь ребенка, пошляк и мелкий человек, а вовсе не загадка», — хотелось мне сказать. И я мучился властью его над Тоней и тем, что она сама не хочет эту власть с себя сбросить, а хочет сделать из него легенду. Я не мог примирить этого поведения с простой человеческой гордостью, с простым человеческим душевным здоровьем. Зачем скрывать от всех его имя, выдумывать загадку из простого и, может быть, пошлого человека? Ведь этим прежде всего она себя же мучает и свою же любовь растравляет. И как это у нее выжечь, я не знаю.

Ведь он не живой человек, он тень, которая лежит на сердце, а тень, как известно, ножом не соскоблишь и химическим составом не выведешь.

Я живой человек, я часто глупости говорю, и руки у меня грязные бывают, а он мечта, он легенда, он всегда умен, всегда чист. А знай его все по имени и отчеству и завтракай он у нас в буфете, может быть, Тоня давно б в нем разочаровалась.

ДОМ, ПОСТРОЕННЫЙ НА ПЕСКЕ

Я от взгляда ее краснею,
Любуясь жилкою на виске,
Но наша сердечная дружба с нею —
Дом, построенный на песке.

Она целует меня, балуясь,
Я уеду, она — в Москве.
Что все мечты мои, все поцелуи?
Дом, построенный на песке.

Но как-то я удивился очень,
Прочитав в календарном листке:
«Как раз бывает особенно прочен
Дом, построенный на песке».

Снег колючий падает с веток...
Может, и правда, конец тоске?
И будет сиять таким чудным светом
Дом,
построенный
на песке?!

●

Ты говоришь: «Всему конец!
Забудь, уйди, не надо злиться».
И взгляд твой, серый, как свинец,
В мои глаза не хочет влиться.
И я гляжу в твои глаза
И наклоняюсь ниже, ниже...
Тех дней уж не вернуть назад,
Тех поцелуев с губ не выжечь.
Но этот лоб и прядь волос,
Все это — смех, и жест, и брови, —
Оно с душой моей сжилось,
Оно впиталось в плазму крови.
И каждый вечер, в поздний час,

Любовь приходит, как удушье.
Но у тебя в пещерах глаз
Ложится тигром равнодушье.
В улыбке, в линии плеча,
Как лунный свет, скользит усталость.
И мне теперь одна печаль,
Одна тоска теперь осталась...

●

Итак, «всему конец»...

Но я знаю, что всему не конец.

Я знаю, что повесть будет продолжаться.

Я знаю, что к Тоне по окончании отпуска приду.

Приду и сяду напротив нее.

Повесть будет продолжаться, я так хочу. Не знаю, как она будет продолжаться, не знаю, чем она окончится, но продолжаться она будет.

●

Сегодня в этой комнате
ты здесь, со мною рядом,
Меня своей улыбкою
и шуткою даря.
Но быстро время катится,
минуты дышат ядом,
И грустно осыпаются
листки календаря.
И скоро, скоро выпуск —
пятнадцатое марта, —

Зачеты, и бессонница,
и хлопоты, как чад.
Передо мной откроется
огромнейшая карта,
Собрания откроются,
и речи зазвучат.
И скоро я, как водится,
среди графленых линий
Впишу свою фамилию
взволнованным пером,
Надвину шапку на уши —
в такой вот вечер синий, —
Возьму, что полагается,
и выйду на перрон.
Куда бы ни умчался я —
к Сибири, к Казахстану
Или к седому облаку
на Северный Кавказ, —
Но я тебя, курносая,
любить не перестану,
Я в сердце увезу с собой
сиянье серых глаз.
Ты помнишь, Тоня, помнишь?
Когда тебя я встретил,
Такой полынной горечью
сверкал тогда твой взгляд.
В тебе два сердца бились,
мое же было третьим...
Оно стучало, правда ведь,
на задушевный лад?
Ты помнишь, помнишь время то,
когда сидел я около,
Молчанье, переписку
ты помнишь, Тоня, да?..
Мороз дышал на улице,
цвели сиренью окна,
И в сердце что-то искрилось
и прыгало тогда.
За этой темной лампочкой
ты сядь сюда и слушай.
Не надо недоверчиво
сжимать и хмурить бровь.
Бушует кровь в артериях,
и нас связал не случай,

А звонкая и свежая,
нелегкая любовь.
Не та любовь, с которою
и смейся, и посвистывай,
Ходи себе по лестницам
и в сутолке туши, —
А та любовь, которая,
как жар, как бред неистовый,
Как острое стремление
измученной души.
Весь этот пыл мучительный
не выражу стихами я.
Но ты не просишь этого,
ты чувствуешь сама
Мои ладони робкие,
мой взгляд, мое дыхание,
Биенье сердца мальчика,
сведенного с ума.
Я жду, что ты подымешься,
такая ж сумасшедшая,
И мне подашь порывисто
горячую ладонь!
Как злое и ненужное,
откинешь все прошедшее
И снова станешь радостной,
веселой, молодой.
Не понимаю, что со мной?
Я рад сегодня облаку,
Морозу, снегу, инею,
сверканию луча...
Какое счастье это вот —
идти с тобою об руку,
Идти с тобой и чувствовать
касание плеча!
...Я был бы всех счастливее,
но только вот что думаю:
Все это настоящее?
Иль это только бред?
И, может, на волнение,
на эту всю тоску мою,
Сурово отодвинувшись,
ты мне ответишь: «Нет!»
И после ночью где-нибудь,
рванув из-под Саратова,

Я вспомню все мечтания
    и всю тоску свою,
Что жизнь с мученьем прожита,
    что сердце расцарапано
И что цветут глаза твои
    совсем в ином краю...

●

Гляди: уже по Лиственной,
Где институт мясной,
Тревожною, таинственной
Повеяло весной.

Уже ручьи забулькали
По всей аллее сплошь.
Отправишься за булками —
Не вытащишь калош.

Ворвался ветер в форточку
С заоблачных высот,
И умывает мордочку
На крыше серый кот.

Но виснет сердце гирею,
Лежит на сердце тень:
В далекую Башкирию
Я еду через день.

Средь гула, среди дыма я
Забудусь ли в тоске?
Но ты, моя любимая,
Останешься в Москве.

В Москве, где все закружено,
Где звон, где шум, где гуд,
В Москве, где шелк, где кружево,
В Москве, где столько губ,

Где все огнями залито,
Где окна жгут, манят,
Ты позабудешь за лето
Мой исподлобья взгляд.

В Москве, где зори молоды,
Где столько лиц и встреч,

Забудешь очень скоро ты
Мою простую речь.

В Москве, где взгляды — омуты,
Где жизнь кипит, как кровь,
Другому ты, другому ты
Отдашь свою любовь.

Средь топота овечьего,
Среди сосновых смол,
Однажды, синим вечером,
Я получу письмо.

И строки жгут больней огня:
«Сереженька, прощай!
Не мучь меня, забудь меня,
Не плакать обещай».

Пускай тоской и пламенем
Пахнет от этих строк,
Но с выраженьем каменным
Я буду сух и строг.

Я высунусь на улицу
И погляжу вперед.
Грустится ль мне, тоскуется ль —
Никто не разберет.

Рукою неусталою
Придвину микроскоп.
К холодному металлу я
Прижму горячий лоб.

«Она была б жена твоя,
И вот ее уж нет.
Так, сердце, рвись же надвое,
Пылай, жестокий бред...»

●

Ты скажешь «нет»? Ты скажешь «да»?
Пока — одно из двух.
Но, Тоня, помни: я всегда,
Всегда твой верный друг.
Я буду там, где должен быть,
Куда поставит класс,
Но мне нигде не позабыть
Сиянья серых глаз.

В ДАЛЕКУЮ БАШКИРИЮ...

●

Не приехала!.. Не проводила!..

Напрасно стоял я на платформе и ждал, ждал, глядел, глядел и так, и через очки, напрасно вглядывался в туман сквозь моросящий дождик — тебя не было. Я не сержусь, я знаю: что-нибудь помешало. Но все-таки как тоскливо в вагоне показалось, как тоскливо!.. Не подумай только, что у меня рука от тоски дрожит, нет, это поезд трясет меня, как котенка за шиворот, поэтому вместо букв — каракули.

●

Пусть трясет меня поезд как хочет, он все равно тебя из моей памяти не вытрясет. Тоня, шлю привет тебе и Славе, пиши мне, как живешь. Адрес писал тебе уже несколько раз.

●

Пишу со станции Инза.

Красивая фамилия у этой станции, правда? Поэтому и захотелось мне отсюда послать тебе открытку. Инза — красивая, и ты — красивая, как же не послать? Кроме того, еще одно: на прошлой станции ходил брать кипяток и увидел синий курносый чайник, ну точь-в-точь как у тебя, и очень ему обрадовался.

Но, однако, надо кончать открытку, а то поезд трогается, и опустить не успею.

●

Пишу тебе, сидя в Уфимском доме крестьянина. Вообрази: полутемная низкая комната — мрачная, черная. Под потолком — одна маленькая электрическая лампочка. По стенам — сорок шесть железных коек, на каждой — грязный матрац и подушка. Желающий спать скидывает только сапоги и пальто; сапоги из предосторожности убирает под подушку, а пальто использует в качестве одеяла. А затем издает более или менее сильный храп, в зависимости от устройства мягкого нёба. Но не думай, что все это меня угнетает, плюю я на та-

кие пустяки. Тем более что стол есть, карандаш есть, бумага есть — а чего мне больше надо? Сижу и пишу, только чувствую — долго не пропишу, потому что очень устал и глаза слипаются, как медом намазанные.

О чем буду писать? Да все буду переносить на бумагу, что только вспомнится, что в голову взбредет.

Как все-таки досадно, что ты на вокзал не приехала! Я ждал тебя до последней минуты, и когда поезд тронулся, унося меня от этого перрона, может быть, навсегда, то так нехорошо стало на сердце...

Что было в дороге?

Номер поезда — сорок восемь,
Плацкарта — девять,
　　вагон — номер шесть...
Но это неважно,
　　а важно, что осень,
Что осень была у меня в душе.
Я жил хорошо,
　　я спать мог вволю,
Читал беллетристику,
　　пил и ел.
Чего же еще? Но с какой я болью
Твердил одно слово
　　на букву «эл»!..
Оно начинается, это слово,
На «эл»,
　　а оканчивается на «ю».
А поезд везет меня снова и снова
И поворачивает на юг.
И вот
　　Рязань,
　　Рузаевка,
　　Инза
Уже промелькнули
　　сквозь лязг и дым,
И тает солнца желтая линза
Над этим лесом,
　　иссиня-седым.
Несись же, поезд,
　　несись же, поезд,
Под вздохи поршня,
　　под стук колес.
Не надо, сердце,
　　к боям готовясь,

Не надо,
    не надо,
    не надо слез...
Вот так, под шум,
    под грохот железа
Стареет лицо
        и уходят года.
Но вот вдруг
            ни по́ля,
                    ни лу́га,
                            ни ле́са,
А только вода, и вода, и вода!..
Да это Волга!
    И тянет невольно —
Прилечь бы устало
    на тот бережок!
Ах, что-то мне грустно
    и что-то мне больно.
Наверно, я сердце
    тоской пережег!

●

В Сызрани нас ожидало приключение: вдруг на станции вместо воды потекла странная жидкость шоколадного цвета. «Какао», — подумали мы сначала и хотели уже воздать должное начальнику станции за этот питательный и вкусный напиток. Однако нас ждало разочарование. Это была просто-напросто грязная вода.

— Ничего не поделаешь — разлив!.. — вздыхали пассажиры и набирали чайники.

Мы с Марусей воздержались и героически переносили жажду. Но на следующей станции повторилось то же, еще на следующей — еще то же, и так далее и так далее. Мы уже думали, не пересмотреть ли нам свое отношение к этой жидкости (рука не поворачивается написать «вода»), и жалели, что плохо в свое время вникали в микробиологию. Но в Самаре появилась хорошая вода (Волга не выдала!).

За Самарой показался первый верблюд, а еще дальше на одной из станций сверкнула надпись: *Башгиз.*

Мы бросились к киоску, но оказалось, что он торговал... консервами и селедками. Очевидно, Башгиз, считая, что книгами сыт не будешь, решил заменить их

чем-нибудь более питательным. Я, как поэт, погрустил об этом. Маруся же выразила одобрение и пожелала, чтобы наш ГИЗ перенял хороший пример.

Сегодня к пяти часам начали подъезжать к Уфе. Ну и зрелище же нам представилось! Мы не знали, к Уфе ли мы подъезжаем или к Венеции. Разливом затопило окраины города, и теперь город был под водой. Улицы были в воде, как...

Тоня, прости, милая, но, право, нет сил подобрать сравнение, уж очень спать хочется. Поэтому снимаю башмаки (кладу под подушку), завертываюсь в пальто и ложусь спать. А завтра буду продолжать.

●

Сегодня был в «Скотоводе». Каким дураком я был! Сколько времени был с тобою и не посоветовался: как же все-таки лучше — остаться в тресте или поехать в совхоз? Оказывается, много зависело от моего желания. Меня прямо спросили, есть ли у меня достаточный опыт, чтобы остаться инструктором в тресте. Я попросил послать меня в совхоз. Так и сделали. В какой — меня об этом не спрашивали, но обещали, что не в «тяжелый» совхоз. Послали в Баймакский (бывший Таналыкский). Ну что ж, я доволен. Что бы я стал делать в тресте, когда ничего не знаю и вдобавок ненавижу канцелярскую работу?

Одно вот только — как быть с твоим приездом? В Уфу тебе приехать было бы, конечно, удобнее. Так я раздумывал и колебался, но потом сообразил, что, работая инструктором, буду постоянно в разъезде. Поэтому ты могла бы приехать и не застать меня. А в совхоз приехать можно наверняка. Сообщение прямое: садись на магнитогорский поезд №56, поезд очень хороший, не поезд, а чудо, и доезжай до станции Сара. Правда, от станции семьдесят восемь километров, но и это не страшно. Я за тобой выеду. Напиши, Тоня, свое мнение.

Что написать тебе об Уфе? Город неплохой, но глухой. Трамвая нет. Ходит автобус, но его редко встретишь, и всегда он набит, как дурак. Автобусы — большей частью грузовые машины, на которых сделаны скамеечки. В таком виде они носят название «открытых» машин.

«Вот идет открытый автобус!»

Извозчиков на улице много больше, чем в Москве.

Автомобиль я пока видел только один — перед зданием ЦИК и СНК.

Все вывески и надписи на двух языках: русском и башкирском. Буквы башкирские — обычные латинские (проведена латинизация алфавита) с добавлением наших оборотного «э», мягкого знака, фиты, яти и еще такого значка, которого у нас нет в алфавите, он похож на большое «i».

●

Напрасно я вчера иронически писал о грузовых автобусах. Они, оказывается, очень хорошие — ну, быстро едут, прямо чудо! — куда нашим косолапым с ними сравняться. И притом воздух охватывает все тело — так хорошо, приятно.

Ездил целый день по городу на автобусе, проехал по всем маршрутам (их целых два), да еще по нескольку раз. «Этим ты и занимаешься?» — спросишь ты. Да, Тоня.

Рот мой наполнен беспечным свистом.
Что мне? Брожу, ничего не делая.
Здесь надоест, так поеду на пристань,
Погляжу, как злится река Белая.

Получил командировку, деньги. Еду завтра, билет заказан.

Вчера получил в «Скотоводе» сто рублей, а то, признаться, с деньгами был кризис. Теперь ничего.

Улицы в Уфе пустынны. Только на одной улице, и то только по одной стороне, всегда густая толпа, как в Москве. Это на улице Егора Сазонова. На другом же тротуаре — пустынно. Почему так, неизвестно. Я думаю, уфимцы это делают из хитрости: хотят изобразить оживленную улицу, а понимают, что, если разбиться на две стороны, оживления не получится.

Вообще в этом городе многое по-семейному. Милиционеров нигде не видать; перед зданием Совнаркома бродят коровы; остановки автобуса ничем не обозначаются: свои люди, дескать, и так запомнят!

Оригинальные плакаты висят тут в некоторых магазинах. Над кассой электрический звонок и надпись по-русски и по-башкирски: «Сигнал! Предупреждает о появлении карманников!» Наивные же тут воры, если они боятся этих сигналов. Наши бы, сухаревские, уперли бы и самый сигнал.

Но не дурно бы кое-чему и Москве поучиться у Уфы. Так, почти все магазины тут, в том числе книжные, культурные, универсальные, торгуют до 10—11 часов ночи.

В магазине Башгиза устроена читальня, где можно читать все новые журналы и книжные новинки. В парикмахерских установлены маленькие столики — ожидающие играют в шашки и шахматы.

Тоня, я стараюсь веселей писать. Но, право, на сердце грустно. Тоня, милая, родная, пиши! Я с таким нетерпением буду ждать от тебя писем.

●

Тоня! Три дня сижу на станции Сара, все никак не могу уехать. Сегодня, кажется, еду. Был нездоров эти дни, сегодня, кажется, лучше. Поэтому и не писал, а то за три дня безделья накатал бы тебе три тома всякой чепухи. И еще, знаешь, такая досада: оказывается, до станции Сара из Москвы без пересадки никак проехать нельзя. Но это не испугает тебя, Тоня, верно? По приезде в совхоз напишу тебе письмо, но и от тебя жду.

Адрес уточненный: Хайбуллинское почтовое отделение, поселок Макан, Таналыкский мясосовхоз. Не пиши Баймакский, потому что, оказывается, он еще не существует.

●

Не надо сердиться, ветер!
Ты знаешь,
    что мир велик.
Не только Москва на свете,
Существует и Таналык.
Ну что же...
    И здесь неплохо
По жилам струится труд,
И если велит эпоха,
Я буду работать тут.
Но я об одном жалею,
По жизни
    этой идя,
Что в Лиственную аллею
Отсюда
    пройти нельзя.

Нельзя
скинуть кепку сырую,
Вбежать
на четвертый этаж.
И я тебя не поцелую,
И ты мне
руки не подашь...

НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ

●

Дорогая Тоня! Как много хотелось бы тебе написать, но пишу торопясь, поздно вечером, воруя у себя сон, а у хозяйки керосин. Сон-то неважно, а вот за керосин-то как бы не влетело, керосина здесь мало, поэтому тороплюсь. Чем же я так занят, спросишь ты, что мне даже письма написать некогда? Да пока невеселыми делами. Занят я бумажно-чернильно-карандашной работой, а коровы своей еще ни одной не видел. Веду работу по организации совхоза. Ты же знаешь (или, по крайней мере, должна знать), что сейчас идет разукрупнение совхозов — вот и наш Баймакский совхоз выделяется вновь из состава Таналыкского совхоза № 142. Пока же Баймакского совхоза нет. Кроме того, сейчас меняется и структура совхозов: отделений не будет, участков не будет, а будут фермы стандартных типов по пятьсот и триста голов коров. Так что сейчас сижу и вывожу оборот стада по каждой ферме, план перегона скота, план сдачи мяса и масла по каждой ферме, экспликацию ее земельных угодий и т. д. и т. д. С этой-то работой я справлюсь, но вот дальше-то, Тоня, будет мне очень трудно. В совхозе беспорядок со скотом страшный, падеж телят зимой был пятьдесят один процент, поголовье в точности неизвестно, повсеместно хищение молока, в то время как план сдачи масла не выполняется. (Черт побери! Какие скверные чернила и бумага!) Но, впрочем, плакать не буду. Как я живу тут? Я думал сначала, что зоотехников уважают тут очень мало. Это я заключил из того, что на станции Сара по телефону просил лошадь, и мне ответили, что лошадей нет и чтобы я добирался как знаю. Поэтому, когда я приехал в совхоз и пошел в дирекцию, то сде-

лал самое умное лицо и постарался сесть так, чтобы не было видно дыры на брюках (ведь разорвались все-таки в дороге, черт побери!). Оказалось, однако, что громкое звание мое, обозначенное в путевке и дипломе — «инженер-животновод»! — произвело известное впечатление. Когда же узнали, что из всего выпуска я только один попал в Башкирию, то уважение ко мне еще более поднялось и послышались реплики вроде: «Вот счастье нашему совхозу», — так что мне даже стало неудобно и стыдно в душе за свои малые знания. Но ничего, постараюсь работать хорошо.

Мне немедленно дали записку в совхозную лавку с просьбой отпустить «что причитается, как специалисту по первой категории на пять дней». Я гордо пошел в лавку. Но оказалось, что «специалисту по первой категории на пять дней» причитается лишь буханка хлеба и пачка махорки, каковые мне и были вручены. И теперь вот я живу вместе с директором своего совхоза, вместе спим на полу, вместе голодаем и едим тухлую рыбу, скандалим из-за молока, которое нам плохо отпускают, и мечтаем о том, когда удастся уехать на нашу центральную усадьбу, или, вернее, на то место, где она должна быть.

Красивая ли тут местность? Не очень. По пути из Сары в Акъяр (65 верст) я встретил одно лишь единственное дерево, а то все степь, степь и степь. Впрочем, степью, пожалуй, в полном смысле слова назвать и нельзя: местность тут изрезанная — овраги, горки, ручейки. Говорят, что в нашем совхозе (он к северу отсюда) местность лучше, есть кустарник, хорошие горы, речки. Поеду, увижу и напишу тогда. Ой, Тоня, что-то лампа гаснет: кажется, керосин весь, — надо кончать. Пока до свиданья. Тоня, целую и ложусь, а завтра утром встану пораньше и допишу письмо.

Встал утром и продолжаю письмо. Тоня, может быть, ты не представляешь хорошо, где я нахожусь, так я тебе объясню. Я нахожусь всего 70 верст от Инякского совхоза, в котором была ты. Станция Сара расположена между Орском и Оренбургом, от этой станции 80 верст. И наконец, от Баймакских рудников, которые на любой карте пятилетки должны быть, тоже около 60 верст. Мы находимся на самой вершине Ирындыкского хребта. Видишь, сколько координат. Разыщи это место приблизительно на карте и поставь там точку, и будешь знать, что в этой точке бьется одно сердце, оно

бьется любовью к тебе, Тоня. Тоня, как я по тебе скучаю, скорее бы хоть весточка от тебя пришла!

Я пока весел и здоров, на станции болел было и даже лежал, но сейчас здоров совершенно. А когда лежал, плохо было, жар у меня был сильный; так что мне казалось, я всю комнату нагреваю, и чуть ли не бредил, и в бреду все ты была. А потом прошло, не знаю, что за бацилла в меня забралась, но спасибо ей за то, что скоро оставила.

●

Дорогие родители!

Это не письмо, а информация, потому что письмо писать некогда.

Где я?

В поселке Макан, центральной усадьбе Таналыкского мясосовхоза, в 80 верстах от станции Сара. Станция Сара между Орском и Оренбургом.

Здоров ли я?

Да, здоров, как нельзя больше.

Что я делаю?

Веду работу по разукрупнению совхоза и организации нашего Баймакского совхоза, которого еще нет.

Как я живу? Да что ж, очень хорошо. Не голодаю ли? Нет, не голодаю, ем прилично. Что за местность? Довольно однообразная. Степь и степь, лесов нет. Но погода хорошая, и воздух в степи замечательный.

Все? Вопросов больше нет? Считаю собрание закрытым. Если же у кого имеется вопрос или даже кто хочет выступить в прениях, пусть пишет по адресу, имеющемуся на конверте.

Мама, собираешься ли ты ко мне приехать? Если да, напиши, а я напишу, когда устроюсь.

МОИМ СЕСТРАМ

Конечно,
      в Крыму
            впечатления пестры,
конечно,
      в Москве
            ощущения остры.

Но, уважаемые сестры,
мои дорогие
две сестры!
Сердце
не надо терять, однако,
сердце
все-таки надо иметь.
Не забывайте,
что возле Баймака,
где добывается мясо и медь,
где люди смуглы
и где лошади прытки,
где бродят стада, —
там живет и ваш брат,
и он
от сестер своих
даже открытке,
даже записке
был бы так рад.

●

На этом конверте вы увидите московский штемпель. Но не думайте, что я в Москве — о, нет! — далеко от Москвы и ехать туда не собираюсь. А письмо это должна опустить в Москве моя жена и опустит, если только не позабудет.

Письма я писал, но не отправлял, они и сейчас у меня валяются. Ведь я день и ночь ношусь по степям, а в степях почтовых ящиков не имеется, да и вешать их не на что, ведь деревьев-то нет. Но как бы то ни было, сегодня я намерен письмо написать. Только вот беда: писать письмо надо в самом жизнерадостном тоне, описывать самыми яркими красками, потому что я очень доволен и жизнью и работой — счастлив, что называется. Но тон такой сегодня не удается. Тоня уезжает, и на душе очень тоскливо. Поэтому длинно писать не буду.

Работаю сейчас старшим зоотехником совхоза, заместителем директора по животноводству. Работа мне нравится. Глупы были люди, которые жалели меня в Москве. Вот, дескать, человек окончил вуз, получил высшее образование и, пожалуйста, — едет в глушь, в деревню, в степь, в полудикие места, да еще на постоянную работу.

Что же, вот я в глуши, в степи, на постоянной рабо-

те — и очень доволен. Почему? Работать в Москве — это шесть часов ежедневно сидеть в каменной коробке, что-то писать, считать и чертить, это нудно. Работать здесь — это значит носиться верхом на лошади, организовывать работу в гуртах, управлять совхозом. Это трудно. Но лучше трудно, чем нудно, — так я считаю. Собственно говоря, почти половина моего рабочего времени занята поездками верхом — да, вот это работа! Вы в Москве большие деньги заплатите, чтобы так поработать. И вообще работа живая. Труд зоотехника ненормированный, я не имею официально выходного дня, если нужно, должен ехать на «точку» в любое время дня и ночи. Плохо? А фактически получается так, что я сам распоряжаюсь своим временем, куда хочу, туда еду, не хочу — никуда не еду, целый день свободен, не чувствуешь себя связанным. А отпуск зато (за ненормированный день) полагается целый месяц. Вот красота!

Имею свою лошадь, имею квартиру. Правда, насчет питания не особенно пока хорошо. Вся еда — молоко и яйца. Едим молоко и пресное, и кислое, и сырое, и кипяченое, и простоквашу, и творог, отчасти яйца. Но при желании можно наладить тут и стол, и я налажу обязательно.

«Что за местность?» — спрашиваете вы. Да ничего местность, хорошая. Степи, горы, кустарники, реки. Дни стоят хорошие. Знаете что, приезжайте ко мне погостить.

Мама, приезжай обязательно и бери с собой кого-нибудь, у кого отпуск будет — Диночку *, я знаю, у нее «отпуск», или Нину, или Лиду, или Толю, или всех вместе. Приезжайте. Доехать можно так: с пересадкой через Оренбург или через Свердловск. Из Оренбурга поедете до станции Сара, всего 6 часов езды. Правда, от станции Сара до нашего совхоза 135 верст, но ходят автомашины. Спросите контору «Союзтранса», купите билет до Богачева и езжайте. Доедете великолепно, хотя и на грузовой машине. Квартира у меня есть, меня здесь всякий знает. Советую долго не думать, а сейчас же и собираться. Если не приедете, то пришлите мне посылку, а именно мне нужно:

— кровать (спим на полу),

— копченой колбасы (давно не ел),

— бумаги чистой (всю исписал),

---

* Младшая сестра С. Чекмарева, в ту пору ей было четыре года.

— трусов,

— чаю (нет совсем),

— что вам еще заблагорассудится.

Ну, кажется, и пора кончать письмо. «Эге, — скажете вы, — нет, не пора! Ты объясни сначала, что за жена у тебя появилась. Уезжал из Москвы вроде холостым — и вдруг пишет о жене».

Женат я на студентке нашего же института. Она была замужем, разведена, и есть у нее маленький ребенок. Я не знаю, как вам это понравится, но меня это ничуть не смущает. Она очень хорошая женщина, ровесница мне по летам, и мы живем дружно. Приезжайте ко мне, она также скоро приедет, тут и познакомитесь. Я думаю, она вам понравится. Во всяком случае, я люблю ее и вполне серьезно намерен жить с ней.

●

Тоня, родная!

Давно бы пора получить от тебя письмо, а его все нет и нет. И каждый день на сердце прибавляется по фунтовой гире — все тяжелее и тяжелее. Вчера вечером приехал я из Киндерли — секретарь говорит: «Тебе письмо». Он сказал и сейчас же раскаялся в этом. Я не отставал от него и заставил несчастного человека прогуляться до конторы, отпереть контору, отпереть стол, разыскать письмо в ящиках стола. Но письмо оказалось не от тебя (от отца).

Что тебе написать о себе, может быть, рассказать, как доехал? Деньги, какие были, все благополучно истратил в Уфе, так что в вагоне очутился без денег. Правда, в кармане лежал «железный фонд» — 17 рублей на автобус, который я решил не тратить, несмотря ни на что. Напрасно в дороге соблазняли меня свежие огурцы и жареные куры, напрасно румянцем пылала вишня и бледнело от негодования молоко. Я стойко перенес все искушения, голодным сошел вечером с поезда и голодным улегся спать. Наутро голодный же помчался в «Союзтранс», и каково же было мое негодование — билеты подорожали, и до Богачева проехать стоило 20 рублей. Вот тебе и «железный фонд»! Я рассердился страшно, сейчас же пошел к вокзалу, накупил всякой снеди на «железный фонд», а потом просто договорился с шофером и доехал за 10 рублей без всякого билета. Так «Союзтрансу» и надо!

Приехал и получил открытку от Кости, в которой он сообщает, что отпуск вам продлен до четырнадцатого июля. Как досадно стало, как грустно! А ты так спешила, не могла побыть лишнего дня. Но ладно, если ты используешь это время, чтобы попасть в августовский выпуск, то все будет хорошо.

Работаю, но работа не ладится. Удои не повышаются, телята дохнут, а тут еще случная при недостатке быков и гуртоправов. По-прежнему ношусь верхом, по-прежнему выпаиваюсь молоком, сплю теперь не в комнате, а в сарае, в тарантасе. Днем на седле, а ночью в тарантасе! Ночи дырявые, все тоскую по тебе. Скоро ли ты приедешь? Ах, Тоня, не надо было бы тебе вовсе уезжать, лучше бы осталась.

●

Еще и день не начался,
Еще и туман над водой,
Но я уж в седле качался,
И шел подо мной Гнедой.
Я как будто удобно уселся,
Накормлен, напоен и сыт.
Отчего же стучит мое сердце
Громче его копыт?
Еще далеко до дому,
Я косматую вижу зарю,
И я говорю Гнедому,
Я ему говорю:
— Гнедой, погляди-ка на степь
За эти вон горы, туда...
Кобылу саврасой масти,
Наверно, ты помнишь, да?
Она ведь рядом с тобою
Шла и в галоп, и в рысь,
И отравой цвела голубою
Над нами бездонная высь.
Она ведь с тобою рядом
Шла и в рысь, и в галоп.
А Тоня светлела взглядом,
И падала прядь на лоб,
И падала прядь с фасонцем
На лоб у моей жены,
И руки ее от солнца
И плечи обожжены.

Гнедой, ты, наверно, понял,
Ты понял ли, мой Гнедой?
Какая хорошая Тоня,
Какой ее взгляд молодой!
Гнедой, ты, наверно, хочешь
Увидеть бы хоть разок
И светлый ее височек,
И серый ее глазок?
Отдаться бы сладкому плену,
Послушать веселую речь...
Я знаю мечте моей цену,
Я умею любовь беречь.
Ременной подпругой сжала
Мне сердце тугая боль.
О, Гнедой, она убежала,
Убежала от нас с тобой!
Она забрала ребенка
И ускакала в Москву,
Оставила Даше гребенку,
А нам с тобою — тоску.
К белой бумаге неба
Приложена солнца печать,
Подняться на облако мне бы
И до Москвы докричать:
«Ах, Тоня! Как сердцу горько,
Как хочется быть с тобой,
Когда за Сюсяевой горкой
Встает закат голубой!..»

Перехожу на прозу, но и прозою скажу то же. Тоня, милая, зачем ты уехала, очень грустно без тебя. Хоть бы письмо получить! Тоня, не жалей деньги, почаще на Сухаревку заглядывай, покупай масло, яйца, все, что есть, трать пока «те» деньги, потом вышлю. Сейчас сам сижу без денег.

Ну, пока до свидания. Крепко целую.

●

Пишу в Бурлях на листках блокнота. Прости, дорогая, что не писал так долго, но, право, эти дни набиты работой, я, как мячик, прыгал на лошади. Сдавал скот Мраковскому мясосовхозу. Это к лучшему, — ведь трудно же работать тут, меньше скота — лучше. А все-таки знаешь, Тоня, когда поглядел я, как уходят гурты, пе-

стрым стадом рассыпавшись по дороге, то жалко стало отдавать, и сердце невольно сжалось. И стыдно стало за свою работу, что ничего не ладится, и телята дохнут, и план сдачи молока не выполняется, и случная идет кувырком. Иногда оглянусь на свою работу — и даже удивительно: как я мог такие ошибки допустить, все время считал себя умным человеком, сообразительным, во всяком случае, и вот такие ошибки. Но ведь до приезда сюда я в глаза не видел мясосовхоза. Однако я верю в себя и до тех пор буду работать в совхозе, пока не овладею необходимым опытом. Но сейчас-то пока очень трудно. Как мне хотелось бы работать с тобой рядом, вместе, чтобы ты мне помогала. Тоня, как же быть, как сделать так, чтобы мы вместе были? Как досадно мне, что ты не влилась в ускоренный выпуск. Это бы лучше всего было, а теперь ничего не придумаешь.

Конечно, если начать рассуждать, то все за то, чтобы ты послушалась группы и «выпустилась» с нею. Но если кончить рассуждать, то все за то, чтобы ты не послушалась группы и приезжала сюда. Я получил от отца письмо, ответ на то, которое ты опустила. Я перешлю его тебе, сейчас его нет со мной. Он меня поздравляет, желает счастья, хочет, чтобы ты к ним зашла, так что ты к ним обязательно заходи.

Не найдешь слов, которые выразили бы то, как я люблю тебя, как скучаю и жду. Вот и сейчас письмо не перечитываю: знаю, написал не так, не выразил, что на душе, но отправлю, потому что долго не писал.

●

Дорогие родители!

Увы! Отвечаю отнюдь не «немедленно» и не на том листе, который для этого предназначен. Но это неважно. Важно, что я по-прежнему жив, по-прежнему здоров, по-прежнему работаю. Чего же написать еще? Разве рассеять немного ваши восторги перед моими чинами, что я уже старший зоотехник, замдиректора и т. д. и т. д. Дорогие родители! Одно дело быть старшим зоотехником в благоустроенном старом совхозе, другое дело — в таком, как наш. У нас в совхозе никого и ничего нет, во всем, чего ни коснись, — торричеллиева пустота. Поэтому работать очень трудно. Вы пишете: мама соберется, возможно, осенью! Увы! Соберется-то она, может быть, и соберется, но доберется ли она? Осенью на-

чинается распутица, а не забывайте, что совхоз от станции в 135 верстах. Сейчас от станции мимо совхоза ходят автомашины, поэтому добраться до совхоза нетрудно, но осенью они будут ходить с перебоями, будут вязнуть или остановятся совсем. Нет, уж если ехать, то ехать не позже начала сентября. Я жду кого-нибудь — жду маму и Толю, приезжайте пить кумыс и поправляться. Что касается жены, то она сейчас в Москве, уехала оканчивать институт. Карточки ее послать не могу, но можете ее увидеть, раз она в Москве. Я говорил ей, чтобы она к вам заходила, но она не хотела, стеснялась, а теперь пишет, что зашла бы, но потеряла адрес. Адрес я ей послал. Думаю, вы ее не обидите. Возможно, она скоро ко мне поедет, можете с ней сговориться.

Напоминаю, что нужно привезти или прислать: бумаги побольше, фотоаппарат — продайте большой, купите маленький, а уже как он мне тут нужен! — альбом, наш выпуск — обязательно. И там чего сами сообразите.

●

Соцсоревнование принимаю и буду писать вам. Но опять-таки буду — а сейчас не пишу. Можете вы поверить, что времени совсем нет? Не верите? А все же сейчас так и есть. Сейчас сдаю скот на мясо (вам же в Москву), и день и ночь на гуртах, а как только попаду в Богачевку, сейчас же тащат в дирекцию на совещание или заседание. Кончилось заседание, и айда на лошадь — опять на гурты. Кончу сдачу на мясо, инвентаризацию скота, поставлю скот на зимовку — буду писать, а пока подробных писем не ждите — записочки разве. Вы пишете, не прислать ли мне чего? Я был бы не против, если бы вы прислали мою шапку и полушубок.

Сейчас я устраиваюсь так, что напяливаю на себя пять-шесть рубашек — одна на другую. И так как тайны своего туалета открываю не всем, то многие изумляются, как я могу в такой холод ходить в одной рубашке. Но, увы, даже десять рубашек не заменят одной шубы, у нас же в совхозе нет ничего, совхоз нищий, мы даже муку с перебоями получаем, у нас узд для лошадей не хватает.

Толя! Ты напрасно за судьбу своих писем беспокоишься, напрасно советской почте не доверяешь, все пись-

ма до одного получил и от десятого сентября тоже. Ответы у меня написаны, вернее, набросаны, некогда переписать. Но перепишу и пришлю. Пиши, продолжай.

●

Тоня!

Получил твое письмо. Очень доволен, что продлили вам срок обучения, теперь ты скорей решишься приехать. Нельзя же до октября 1934 года учиться. Ты пишешь — Слава болен, ты его и вовсе так погубишь, приезжай, Тоня, здесь ему будет лучше. Ты пишешь — намерена взять отпуск пятнадцатого сентября, а может быть, раньше можно? Ты пишешь — может быть, мне удастся вырваться. Тоня, куда я вырвусь, зачем я вырвусь? Что я буду делать в Москве? Нет уж, чтобы быть нам вместе, есть только один способ — тебе приехать сюда, поэтому приезжай, не медли. Сто рублей послал тебе в июле, за август — увы! — мне сорок семь рублей начислили, но все равно я вышлю скоро. Если будешь ехать, нужно будет много денег, я постараюсь достать. К родным заходила? Я посылал тебе в прошлом письме письмо отца. Если в сентябре поеду на совещание зоотехников, может быть, удастся заехать за тобой или ты приедешь в Уфу, оттуда поедем вместе.

Пиши, Тоня, чаще — как Славочка, как учеба? Пока, Тоня, крепко обнимаю и целую.

Тоня, выпиши нашу многотиражку и собирай номера, когда приедешь, привези.

●

Долго не писал тебе и вот почему: начиная с первого сентября и по сегодняшний день все вожусь со своими призывными делами и никак не могу выяснить вопрос, иду я в армию или не иду? Поэтому и не писал: хотелось сначала узнать. Однако наверняка не знаю этого и теперь. Правда, прошел призывную комиссию, признан годным, зачислен в артиллерию. Пятого октября жду повестки и отправки в полк. Но дирекция хлопочет, чтобы меня оставить, и не знаю, удастся ли ей это или не удастся, пойду ли я в армию или не пойду.

Я тебя люблю, и поэтому на душе неспокойно. Как ни рассуждай, а все-таки горько становится: ведь это

значит — мы с тобой долго-долго не увидимся. А может быть, и совсем не увидимся: кто знает?.. Ты помнишь, Тоня, как ты уезжала, как мне грустно было, а тебе весело, и ты на мою грусть сердилась, а я на твою веселость? Уже три долгих месяца прошли с тех пор. Уже три месяца я вхожу в опустевшую комнату, и мне не верится: неужели когда-то в этой комнате Тоня была, и неужели она будет когда-нибудь в этой комнате? Я уже позабыл цвет твоих глаз, Тоня, позабыл, как ты входишь, смеешься и разговариваешь, — а как хотелось бы все это повторить!

Тоня! За последний месяц ты мне только одну маленькую записочку прислала. Это мало, Тоня. Пиши больше, дорогая, пиши, как учишься, как живешь, какие изменения теперь в институте. Ползает ли Слава?

До свиданья (когда оно будет?)!

СВЯТАЯ МЯТУТА

Я тоже когда-то в купели вопил,
И поп хлопотал надо мною,
Шептал и святою водицей кропил,
И силой пугал неземною.

Недаром же он принимал столько мер,
Я должен был быть православным...
Но я комсомолец, мясной инженер,
Безбожник — и, право, славный!

Я сказку развеял о боге Христе,
Из крови и лжи свитую,
Забросил молитвы, забыл о посте,
И только одну святую,

И только одну святую чту
И в сердце своем сберегаю.
Я к ней обращаю свою мечту
И ей молитвы слагаю.

И годы проходят, и сутки идут,
Летит за минутой минута.
Скажи мне, святая Мятута, ты тут?
Ты со мной ли, святая Мятута?

Когда я по парку ходил в тоске,
Паутиною страсти опутан,
С кем, скажи, я беседовал? С кем?
С тобою, святая Мятута!

Когда я в томленье бессонных ночей
Лежал и считал минуты,
Чей голос, скажи, утешал меня? Чей?
Твой, святая Мятута!

И даже теперь, когда теплой мечтой
Я, как теплою шубой, укутан,
Кто, скажи, помогает мне? Кто?
Ты, святая Мятута!

Я не знаю, ты вправду жила,
Или ты выдумка Тони,
Но к тебе моя песнь летит, как стрела,
В тоскою звенящем тоне.

Ну, так не покинь же меня, не покинь!
Святая Мятута, ты тута?
В верховьях ли Волги, в низовьях Оки,
В Башкирии ль, где снега глубоки, —
Везде, где приходится круто,
Ты меня из тоски извлеки
И успокаивай: тута!

●

Тоня, зачем ты прислала мне этот снимок? И главное, зачем ты на этом снимке такая красивая и такая похожая сама на себя? Чтобы я больше тосковал по тебе? Но я и так много тоскую, и с твоей стороны бессердечно такие подарки делать.

Ну, ладно, прощаю на первый раз, сядь поудобнее и поговорим о самом главном.

Тоня, не надо рассуждать. Еще слишком мало можем мы своей жизнью управлять, и один обман эти рассуждения. Зачем ты себя мучишь, и Славу мучишь, и меня мучишь, и все это из-за чего? Чтобы окончить вуз? А уверена ли ты, что так будет лучше? Нет, Тоня, никогда не надо так себя ломать и мучить, как бы «разумно» это ни казалось. Если правда, что тебе тяжело там, то приезжай; не дадут отпуска — приезжай все равно,

брось учиться, можно закончить заочно. Если не тяжело, то учись, я не хочу упреков с твоей стороны, что заставил тебя бросить учебу. Тонька, приезжай, право, я так по твоему звонкому голосу соскучился, по твоим теплым губам. Приезжай, пока не холодно и не грязно, пока не вязнут автобусы и не воют бураны.

Что тебе написать о моей жизни? По-прежнему захлебываюсь в работе. Представь, Тоня, к нам прислали бирки и щипцы для бонитировки, а я не знаю, что с ними делать! Как бирковать, не знаю, и вряд ли кто знает — вот оказия! Если знаешь, напиши.

Хотел шестого августа ехать в Уфу на совещание зоотехников — был рад — думал, может быть, оттуда и в Москву проеду, и Тоньку заберу, но совещание отменили, перенесли на сентябрь. Такая досада!

●

Пушистый снег,
Пушистый снег,
Пушистый снег валится,
Несутся сани, как во сне,
И все в глазах двоится.
Вот сосенки,
Вот сосенки,
Вот сосенки направо,
А ты грустишь о Тосеньке...
Какой чудак ты, право!
А ну пугни,
А ну пугни,
А ну пугни Гнедуху!
Пониже голову пригни,
Помчимся что есть духу.
Ведь хорошо,
Ведь хорошо,
Ведь хорошо в снегу быть, —
Осыпал белый порошок
Твои глаза и губы.
На сердце снег,
На сердце снег,
На сердце снег садится.
Храни в груди веселый смех,
Он в жизни пригодится!

СКВОЗЬ ЗАВЕСУ ВЬЮГИ

●

Пятнадцатого ноября приехала в Богачево Тоня.

И только было начала она кормить меня котлетами и наводить в комнате беспорядок, только было приехала кровать, только было зашипел на лавке примус и на окнах повисли занавески — одним словом, только было началась тихая семейная жизнь, как вдруг... получаю я призывную повестку. В ней написано, что двадцать девятого ноября, к 8 часам, я должен явиться для отправки в войсковую часть. А что написано в призывной повестке, то должно быть сделано.

Ну что ж? Распростился я с совхозом, получил расчет, покинул незабвенную Богачевку и поехал в Акъяр. Там в первые же пять минут мне сообщили, что я зачислен в артиллерию и подлежу отправке в город Благовещенск (поищите по карте), а во вторые пять минут... освободили совсем от службы в Красной Армии (по глазам) и выдали военный билет на руки. Внезапно я получил возможность выбирать, что мне больше понравится: мог в Москву уехать, мог в Богачевку вернуться, а мог и не возвращаться.

Что я сделал? Я не уехал в Москву, но и в Богачевку не возвратился. Поехал сначала в Сакмарский совхоз, попробовал там устроиться — не вышло. Тогда поехал в Уфу, в Башскотоводтрест, и там после долгих споров получил путевку в Инякский совхоз. В нем я сейчас и нахожусь и пишу настоящее послание.

Это факты. Теперь несколько слов о том, где я и в каком положении очутился. Инякский совхоз расположен в 150 километрах к востоку от Оренбурга в очень живописных местах. Здесь и горы, и пропасти, и леса, и реки; летом здесь цветет черемуха — целые заросли, и ягоды растут в неисчислимых количествах (по слухам). Правда, сейчас к нам в Ибряевку добраться довольно трудно — от станции 80 верст, а в бураны это ой-ой-ой — и вам, милые друзья, ко мне не добраться. Но приезжайте летом, если я просуществую тут до лета, и, честное слово, не пожалеете.

Это в смысле поэзии. А в смысле прозы — это один из самых хлебородных и богатых районов.

Что же касается моего положения, то оно далеко не такое живописное. Ехал я в Красную Армию на все

готовое, поэтому с собой ничего не взял. Сейчас у меня нет даже смены белья, нет одеяла, нет ложки с кружкой, не говоря уже о чем-нибудь другом. По пути сюда остановился в Саре, думал в Богачево заехать, кое-что взять. Но начались бураны, машины встали. Я посмотрел на 140 верст бушующего снежного пространства, покачал головой и поехал как есть. Не пропаду!

Что же Тоня? Она осталась в Богачевке, работает там старшим зоотехником (на моем месте). Недельки через две думаю взять пару лошадей и съездить за ней. Вы не думайте, что я забрался далеко от прежнего совхоза. Нет, всего 110—120 верст, то есть меньше, нежели от Богачевки до Сары. Потихоньку я дней за шесть переправлю ее сюда, а заодно и кровать и все манатки, и опять начнется тихая семейная жизнь и т. д., и т. д., если только опять кто-нибудь меня не погонит.

●

Итак, дорогая Тоня, я уже в Иняке. Описывать местность тебе не буду, ты лучше меня ее знаешь.

Теперь все мои мысли устремлены на одно: как бы тебя сюда перетащить? Сижу в башкирской избушке, гляжу на беспредельное снежное пространство, которое нас разделяет, и тоска невольно падает на душу; думаю: неужели до лета? Неужели всю зиму врозь? Нет, не может быть, Тоня, ты не испугаешься путешествия сюда. Я нахожусь от Зилаира всего в 35—40 верстах, а ты от Зилаира — в 60—70 верстах, итого 100—110 верст между мной и тобой — это можно преодолеть. Приеду за тобой на лошадях, Тоня, я думаю, двое саней — и все увезем и сами уедем. Славку укутаем потеплее, в каждом селе останавливаться будем, в буран не поедем — потихоньку переселимся. Я бы, не теряя ни дня, хоть завтра же отправился за тобой, но этому мешает целый ряд причин:

1) 1500 рублей. Как с их покрытием? Прислал ли кто-нибудь денег? Не разыскалась ли посылка? Или неужели же из-за этого ждать, пока я накоплю денег?

2) Мое положение пока неопределенное. Тут старший зоотехник уже есть — и парень сильный, дирекция им довольна. Сейчас он в отпуске. Кто говорит, что он не вернется, кто говорит — вернется; но, если вернется, не получилось бы недоразумения. Придется подождать.

3) Квартиры здесь, в Ибряеве, нет, и разыскать ее

очень трудно. Я уже думаю, не поместить ли тебя где-нибудь на ферме?

В общем, пиши, Тоня, жду от тебя вестей. Адрес: станция Саракташ, п/о Кугарчи, село Ибряево.

Живу пока плохо — ведь ни одной даже пары белья нет с собой, так что сплю не раздеваясь, бурки грозят разделиться на две совершенно автономные части. Но это все ничего, Тоня, это неважно, а главное — тоскую по тебе, Тоня, это важно. Не скажи ты: «не приезжай» перед моим отъездом, я был бы в Богачевке теперь. Лучше было бы или хуже?

Еще не объезжал совхоза, объеду — напишу о положении дел.

Пиши, Тоня, жду, целую. «Бурухе» передай привет.

РАЗМЫШЛЕНИЯ НА СТАНЦИИ КАРТАЛЫ

И вот я, поэт, почитатель Фета,
Вхожу на станцию Карталы,
Раскрываю двери буфета,
Молча оглядываю столы.

Ночь. Ползут потихоньку стрелки.
Часы говорят: «Ску-чай, ску-чай».
Тихо позванивают тарелки,
И лениво дымится чай.

Что же! Чай густой и горячий.
Лэкин карманда акса юк,
В переводе на русский это значит,
Что деньгам приходит каюк.

Куда ни взглянешь — одно и то же:
Сидят пассажиры с лицами сов.
Но что же делать? Делать что же?..
Как убить восемнадцать часов?

И вот я вытаскиваю бумагу,
Я карандаш в руках верчу,
Подобно египетскому магу,
Знаки таинственные черчу.

Чем сидеть, уподобясь полену,
Или по залу в тоске бродить,

Может быть, огненную поэму
Мне удастся сейчас родить.

Вон гражданка сидит с корзиной —
Из-под шапки русая прядь, —
Я назову ее, скажем, Зиной
И заставлю любить и страдать.

Да, страдать, на акацию глядя,
Довольно душистую к тому ж...
А вон тот свирепый усатый дядя
И будет ее злополучный муж.

Вы поглядите, как он уселся!
Разве в лице его виден ум?
Он не поймет ее пылкого сердца,
Ее благородной... Но что за шум?

Что случилось? Люди свирепо
Хватают корзины и бегут...
Потом зажигается много света,
Потом раздается какой-то гуд.

И вот, промчав сквозь овраги и горы,
Разгоняя ночей тоску,
Останавливается скорый —
Из Магнитогорска в Москву.

Чтоб описать, как народ садится,
Как напирает и мнет бока,
Конечно, перо мое не годится,
Да и талант маловат пока.

Мне ведь не холодно и не больно —
Они уезжают, ну и пусть!
Отчего же в душе невольно
Начинает сгущаться грусть?

Поезд стоит усталый, рыжий,
Напоминающий лису.
Я подхожу к нему поближе,
Прямо к самому колесу.

Я говорю ему: — Как здоровье?
Здравствуй, товарищ паровоз!

Я заплатил бы своею кровью
Сколько следует за провоз.

Я говорю ему: — Послушай
И пойми, товарищ состав!
У меня болят от мороза уши,
Ноет от холода каждый сустав.

Послушай, друг, мне уже надоело
Ездить по степи вперед-назад,
Чтобы мне вьюга щеки ела,
Ветер выхлестывал глаза,

Жить зимою и летом в стаде,
За каждую телку отвечать.
В конце концов, всего не наладить,
Всех буранов не перекричать.

Мне глаза залепила вьюга,
Мне надоело жить в грязи,
И, как товарища, как друга,
Я прошу тебя: отвези!

Ты отвези меня в ту столицу,
О которой весь мир говорит,
Где электричеством жизнь струится,
Сотнями тысяч огней горит.

Я не вставал бы утром рано,
Я прочитал бы книжек тьму,
А вечером шел бы в зал с экраном,
В его волшебную полутьму.

Я в волейбол играл бы летом
И только бы песни пел, как чиж...
Что ты скажешь, состав, на это?
Неужели ты промолчишь?

Что? Ты распахиваешь двери?
Но, товарищ, ведь я шучу!
Я уехать с тобой не намерен,
Я уехать с тобой не хочу.

Я знаю: я нужен степи до зарезу,
Здесь идут пятилетки года.

И если в поезд сейчас я влезу,
Что же со степью будет тогда?

Но нет, пожалуй, это неверно,
Я, пожалуй, немного лгу.
Она без меня проживет, наверно, —
Это я без нее не могу.

У меня никогда не хватит духу —
Ни сердце, ни совесть мне не велят —
Покинуть степь, гурты, Гнедуху.
И голубые глаза телят.

Ну, так что же! Ведь мы не на юге.
Холод, злися! Буран, крути!
Все равно сквозь завесу вьюги
Я разгляжу свои пути.

●

Здравствуй, Лида!

Поздравляю тебя с Новым годом и с началом второй пятилетки. Как жаль, что тебе этот год пришлось встретить без работы. Правда, в этом отношении ты стала лучше: с тех пор как не работаешь, чаще стала писать мне. Но боюсь, что это твое рвение скоро остынет, если я не буду отвечать, поэтому и принимаюсь за настоящее письмо.

Что рассказать тебе сегодня о моей житухе в этой стране — стране, где лучший друг человека баран, а злейший враг — буран? Может быть, о буранах? Я рад, что перебрался в эти края, густо заросшие лесами, в эти горы, давно не бритые, покрытые мохнатыми елками и колючим сосняком. Здесь зато можно не бояться буранов, а в степи они наведут ужас даже на храбреца. Да и как не испугаться, когда закрутит так, что едешь на лошади и не видишь лошади, и не понимаешь уже: лошадь ли тебя везет или ветер толкает сани сзади, а лошади-то и нет?

Недавно под Баймаком был страшный буран, во время которого немало померзло людей. И замерзали не где-нибудь в необозримом пространстве, а в двух верстах, в полуверсте от дома. В Баймаке замерзли даже две школьницы по пути из школы домой. В такой буран можно выйти из избы к соседу напротив — и заплутаться, попасть в огород — и замерзнуть там. Тоня,

между прочим, в этот буран была в Богачеве и тоже заблудилась в деревне, не нашла дороги из конторы домой. Вот как.

Ну, здесь буран не страшен, мы в шубе из мохнатых гор и в теплой лесной фуфайке. Правда, мороз тут бывает крепчайший — по количеству градусов равняется русской горькой. И мороз этот не любит, чтобы кто-нибудь совал нос в его дела. В этом, к несчастью, я сам имел случай убедиться: поморозил нос, и сейчас он лупится в ущерб красоте. (Но ничего: я человек уже женатый.)

Что делал я в этот месяц? Провел его на санях. Объезжал гурты (в общей сложности надо сделать верст триста), а потом ездил в Богачево за Тоней. Привез благополучно. Славка тоже невредим. Вот герой, которому еще года нет и который уже 10 тысяч верст по железной дороге проехал и 700 верст на автомашине и лошадях.

Можно бы еще многое написать, но не все сразу. Кое-что отложу до другого письма. Пиши, Лида, как живешь, а также что за жизнь сейчас в Москве. Работу не нашла еще? Хочешь, приезжай ко мне в совхоз; может быть, смогу тебя устроить на стройработе. Насколько это возможно и что за работа, узнаю и напишу в следующем письме, но могу поручиться, что тут интереснее будет, чем в Москве. Очень рад бы тебя увидеть. Очень хотел бы видеть маму и Дину. Думаю, что весной они меня навестят. Какая Дина теперь стала и помнит ли она еще меня? Что-то папа давно мне не писал, и я не знаю уж, где и как он работает, как вы живете в общем. Мы живем ничего. Правда, в городе Ибряеве квартирный кризис, но унывать и худеть не думаем.

●

Аруме! *

Что же, товарищи, не начинается ли уже весна? Тепло, снег тает. Но есть в нашей природе некоторое ехидство, почему ей не приходится слишком доверять. Здесь существует пословица: «Подходит марток, надевай трое порток», — и верно, что недавно совсем морозы были в 43 градуса. Что еще сказать вам о погоде? Здесь, говорят, весной отрезает наше село от всего мира, так

* Приветствие по-башкирски.

что не пройти и не проехать на лошади; реки у нас кругом, и под окном у меня река. Поживем — увидим.

К нам приехал новый директор, недавно окончилась приемка. Объехать весь совхоз — это значит проделать, считая взад-вперед, около 400 верст, и я имел удовольствие лишний раз совершить это путешествие. Вообще мне больше приходится ездить и мало приходится бывать дома.

Как живем? Пожалуй, поторопился я похвастаться, что живу в самом плодородном углу Башкирии. Плодородный-то он плодородный, но как раз в этом году поставлен в неблагоприятные условия. Соседний с нами Саракташский район почти весь свой хлеб вывез на хлебозаготовки. Как это получилось — даст ответ закончившийся недавно процесс райзо. Райзо нарочито показало повышенные нормы урожая, в результате чего район остался без хлеба. Заведующий райзо осужден (бывший кулак). Как-то быстро хлеб скакнул в цене вверх, и сейчас пуд ржаной муки дошел до 130 — 150 рублей, картошка — от 20—25—30 рублей. В совхозе хлеб мы получаем с перебоями. Вчера, например, только получили наряд на март, вдобавок норму уменьшили. Раньше получал я 17 килограммов муки, теперь — 12 килограммов, а на иждивенцев теперь 6 килограммов. Все это я пишу отнюдь не для того, чтобы вас напугать, а просто для информации. С голоду мы не пропадем, получаем в совхозе и картошку и молоко, да и купить тут можно кое-что: зайцы по 5 рублей, масло по 8 рублей фунт, мясо по 3—4 рубля фунт. Цены, наверно, не отстают от ваших, московских.

В общем, я живу пока хорошо, не скучаю. План по маслу на первый квартал выполнили уже на 290 процентов (ешьте на здоровье), телята пока все живы и здоровы, чего и вам желают.

С чем плохо — это с культурой: газеты доходят плохо, книг нет совсем. И никто из сестер и братьев не догадается прислать хоть несколько книжек. В общем, вы по почерку видите, что письмо у меня не ладится. Я долго не писал, посылаю как есть, через недельку напишу еще. Буду писать чаще.

●

Толя!

Прежде всего разреши тебя успокоить: все твои письма я получил, начиная с «PPS» и кончая 30-й страни-

цей дневника. Ты посылаешь их заказными, но это только бесполезная трата марок, так как у нас в Башкирии в таких тонкостях не разбираются. Все равно мне приходится плясать за каждое письмо, но это ничего, пиши больше, может быть, таким образом я и плясать выучусь. Я был рад несказанно твоим письмам. Столько времени я уже не писал ничего и не читал, только ходил с уздою да перегонял коров с места на место. Очень доволен, что тебе вдруг пришла мысль вести дневник и мне его пересылать. Буду следить за ним с большим интересом. Взамен буду посылать тебе нечто вроде своего дневника, пусть эти листки послужат его началом. Но прежде чем (и для того, чтобы) начать рассказ о своих башкирских приключениях, хочу написать тебе о твоем дневнике и возразить кое-что.

Итак, начинаю по порядку.

1. Ты пишешь: «Дневник организует человека и помогает ему развиваться».

И дальше: «В дневнике человек складывает все ценнейшее от своей жизни, все свои наблюдения, вырабатывает путь своего развития через посредство дневника (организации и изучения себя)».

Милый друг! Тот коридор твоего мозга, в котором эта мысль зародилась, по-моему, срочно нуждается в починке, потому что это самая дикая белиберда. Откуда взял ты, что человек вырабатывает путь своего развития «через посредство дневника, организации и изучения самого себя»? Что за поднимание самого себя за волосы? Разве не в самой жизни, не в процессе классовой борьбы вырабатывается человек? И неужели ты серьезно думаешь, что ценнейшее в жизни человека — это его дневник? Лучше разве было бы, если бы выдающиеся деятели науки, политические деятели не боролись, не изобретали, не работали, а только писали свои дневники? Что было бы, если бы Эдисон телефона не изобрел, а оставил лишь нам свой дневник? Если бы кочегар не подбрасывал угля в печь, а писал бы свой дневник? Нет, дорогой, ценнейшее в жизни человека — это работа его, а не дневник, это жизнь его, а не дневник, это борьба его, а не дневник. А что такое дневник? Есть ли это средство самовоспитания, как ты пишешь? Но *ведь главное сейчас в воспитании, чтобы человек знал и любил свою работу, чтобы он умел хорошо выполнять свою работу, чтобы он перспективы всей нашей гигантской стройки видел за этой работой и чтобы он*

вместе, в ногу шел со всем нашим многомиллионным коллективом. При чем же тут дневник и где тут место дневнику? И дневник не метод самовоспитания, а метод самокопания. Это для «интеллигентов» (в ругательном смысле), «изучающих» самих себя и копающихся в глубинах своей психологии, — вот какой, дескать, я гадкий еще человек, какой слабовольный, какой поступок я совершил. Это для барышень, влюбленных в Дугласа Фербэнкса. Ведение дневника — это следствие того самого лицемерия, которое присуще буржуазному строю. Это лицемерие толкает человека на то, что хотя бы с самим собой быть откровенным, «душу излить».

Итак, что же о дневнике? Если бы, скажем, Лида или Нина прислали мне письмо и написали мне, что они дневник ведут, чтобы «организовать» и «воспитать» себя, я бы им честно и прямо сказал: «Бросьте! Вы воспитываете себя не так, как нужно». Тебе (и себе) я так не говорю, а говорю: продолжай! Почему? Потому, что моя (и твоя) жизнь неразрывно связана со словом, с этими вот лиловыми чернилами, с этими вот крючочками, и оторвать ее от этого нельзя. Моя жизнь (и твоя, по всей вероятности) как-то неотделима от ее описания. Когда со мной что-нибудь интересное случается, мне невольно думается, как я это опишу. Я слежу иногда за собой, как за героем романа, думаю: «Вот это завязка», — гадаю, как пойдет дело, лишь для того, чтобы все это описать. Поэтому и тебе нужно вести дневник, и мне нужно. Это необходимо. Но не смотри на дневник как на средство воспитания в себе человека. Тебя жизнь воспитает, глубже в нее окунайся. А писать — пиши, пиши и пиши, и шли мне, я буду слать тебе. Из наших двух дневников получится интересное сплетение. Надеюсь, ты будешь так же аккуратно складывать мои листки, как я твои.

2. Об откровенности дневников. Почему, если напишешь совсем откровенный дневник, и стыдно, и неприятно его показывать? Тут дело не в лицемерии, которое «с душой срослось», как ты пишешь. А по-моему, тут дело объясняется так. В дневнике человек открывает свою душу. Так! Но как ее открыть? Скажи, как? Ведь это не печная заслонка: взял да и открыл. Это сложная, очень сложная вещь — мозг, и думы, и мечты человека. А слово — такая грубая вещь для того, кто не умеет с ним обращаться. Поэтому так и получается. По-моему,

все откровенные дневники фальшивы, и фальшивы тем, что человек на себя клевещет. И главное не в том, что трудно, например, описать то или иное чувство, а в том, что надо как-то соразмерять мысли, что они не одинаковы как-то по тяжести, что ли, по удельному весу, — не знаю, как это объяснить. Вот, например, я гляжу на девушку. Она улыбнулась — мне приятно; она, скажем, высморкалась, — ведь не одинаково это по удельному весу. Это рябчик пополам с кониной. Знаешь этот анекдот? Подают в ресторане жареных рябчиков пополам с кониной, а пополам делают так: один рябчик, одна лошадь. Вот и мысли у нас — рябчики и лошади, и если их одну за другой записать, получится фальшь. Рябчика-то и не почувствуешь, а может быть, он самый главный у тебя в душе. Поэтому я говорю: совсем, совсем откровенного дневника быть не может, потому что это под силу только гению. Если человек хочет вести откровенный дневник и хочет написать, как он ночью, скажем, струсил позорно, я скажу: остановись, не пиши, ты на себя клевещешь. Прежде чем описать этот случай, ты напиши сначала книгу о своем детстве, о том, что составляет тебя, чтобы твое описание трусливого поступка было на фоне твоей жизни.

Поэтому, если кто-нибудь, увидев мой дневник, спросит, насколько откровенен, мол, дневник, я скажу: настолько, насколько хватило у меня... литературного мастерства. Я изобразил свои чувства, и мысли, и думы как мог, но... некоторые пропустил, потому что не нашел им коэффициента соизмерения, если можно так сказать. Не знаю, понял ли ты меня или нет.

3. О полной будто бы откровенности в коммунистическом обществе. «Тогда не будет замкнутости», — как ты пишешь. А что, если это не так, дорогой товарищ? Есть такая песня, очень популярная, но в ней есть слова, которые мне кажутся неправильными:

Наш паровоз, вперед лети!
В коммуне остановка...

Я всегда невольно улыбаюсь, когда так поют. Мне хочется сказать, разве же в коммуне нашему паровозу остановка? А по-моему, он только тогда полным ходом пойдет. Товарищи, ведь это рай так представляли: полный мир и покой, лицезрение бога и пение херувимов. И коммунизм — паровозу остановка, полное счастье и равенство всех людей и полная их откровенность, без

всякого лицемерия. Нет, Толя, а если не так? Я убежден, что и при коммунизме люди будут лгать, и хитрить, и страдать; что парни будут обманывать девчонок, а девчонки — парней, что и горько, и тяжело, порой будет приходиться, да и поплакать кое-кому придется.

Чего же не будет при коммунизме? Не будет капитализма, не будет его страшного следствия, когда взрослый веселый человек с крепкими руками умирает с голоду, когда маленькие дети синеют и чахнут, когда человек тупеет от работы, когда все лучшее затаптывается в грязь, когда человеку — ты понимаешь? — родившемуся человеку, веселому малютке с голубыми глазами, который, может быть, много создал бы и изобрел бы, не дают развиваться, его голодом морят, его забивают. Потом он тупеет от работы, от водки, он затаптывается в грязь. Вот этого не будет, этого не должно быть.

4. О полном человеке. Ты говоришь: «Полный человек — по-старому гений». А по-моему, не гений, а полная ему противоположность.

Гений узок: у него или только ухо — он музыкант, или одни глаза — он художник, и больше он ни о чем на свете не думает, и так и надо ему больше ни о чем не думать. А полный человек — это нечто совсем другое. Это человек всесторонне развитый — физически, умственно, способный глубоко чувствовать, обладающий хорошими моральными качествами, смелостью, правдивостью, чуткостью и т. п.

Я тоже хочу быть таким человеком. Это трудно, но я хочу. В детстве я мечтал быть гением, — неверно мечтал, думал, как дважды два, что буду знаменит. Но вот мне двадцать два года, и я не знаменит. Более того, теперь я полным человеком хочу быть. Я прежде всего хочу любить, а потом уже писать про любовь, прежде хочу видеть, жить, потом уже писать о жизни. Первую половину жизни я буду писать для себя, вторую — для всех. Что до славы, то слава будет. Разве это не слава — уважение окружающих людей?..

О ЖУРНАЛЕ

Многие люди говорят —
И, кажется, это правда, —

Что в Москве
    световые рекламы горят,
Издается газета «Правда».
Но в Ибряеве, здесь у нас,
Таких вещей не бывает,
Лишь кривит луна
    свой единственный глаз,
Да буран завывает.
В чем же дело? Бумага есть,
Чернил — около литра.
Давай издавать журнал и здесь,
Это не очень хитро.
В такой пустыне,
    в такой глуши,
В тиши
    такого селенья,
Даже мои стихи
    хороши,
Даже твои творенья.

О ВРЕДЕ ПУТЕШЕСТВИЙ

В наше время люди любят путешествовать — вернее, перемещаться с места на место. И главное — что они не сознают вреда таких перемещений: наоборот, распространено ложное мнение, что они полезны и будто бы воспитывают и обогащают ум человека.

— Зачем вы переменили место работы? — спрашиваем мы и часто получаем ответ:

— Надоело сидеть на одном месте.

В действительности же такие перемены мест не обогащают ум. Представьте себе человека, который большую половину своей жизни провел на хуторе Аксаир. Пусть человек этот, сидя сейчас в Москве, скажем, за кружкой пива, услышит от другого, рядом сидящего, знакомое слово — название своей деревни. Как вы думаете, сверкнут при этом его глаза или не сверкнут? Сверкнут обязательно!

Вы можете, наблюдая подчас за беседой двух людей, за их жестами, глазами, подумать: «Вот люди говорят о самом задушевном», но вот вы подходите ближе и с удивлением слышите, что весь разговор состоит преимущественно из названий сел, речек и оврагов, что люди горячо спорят о расстояниях между деревнями, о

дорогах. И у них глаза блестят при этом. А вы отойдете, скучая. «В чем же дело?» — подумаете вы.

А дело в том, что, когда человек подолгу живет на одном месте, место срастается с душой и становится частью его самого. Вот когда душа человека обогащается, а не тогда, когда мимо пролетают пейзажи, люди и звери! Защелканная и замученная, хиреет тогда душа, и жалок человек, который провел всю жизнь в передвижениях. Он был в Туркмении — и не знает Туркмении, был в Армении — и не знает Армении, был в Башкирии — и не знает ее.

Я вовсе не рекомендую людям всю жизнь сидеть на одном месте. Но я бы разрешил человеку уехать из своего района тогда, когда он каждый куст и каждый родник будет знать. Вот такое путешествие, когда человек живет в стране, а не проезжает по стране, живет три-четыре года на одном месте, — такое путешествие развивает. А «любители» перемены мест напоминают мне читателей, которые, вместо того чтобы прочесть книгу, слегка просматривают ее и знакомятся лишь с именами главных действующих лиц.

●

Тебя мне даже за плечи
    не вытолкать из памяти,
Пусть ты совсем не прежняя,
    пусть стала ты другой,
Но переливы глаз твоих
    и губы, цвета камеди,
В сознанье озаряются,
    как вольтовой дугой.
Я буду помнить корпус наш,
    шаги твои по Лиственной,
Холодное молчание,
    горячие слова.
Там пруд пылал, как озеро,
    и бред казался истиной,
И от улыбки чуточной
    кружилась голова.
Она, любовь, с тобой у нас
    не распускалась розою,
Акацией не брызгала,
    сиренью не цвела.

Она шла рядом с самою
обыкновенной прозою,
Она в курносом чайнике
гнездо свое свила.
Она была окутана
лиловым чадом примуса,
Насмешками приятелей
и сутолокой групп...
Но на душе тоска была,
и я в огонь бы ринулся
За искорку в глазах твоих,
за очертанье губ.
Теперь с тоскою кончено.
Теперь твои артерии
С моими перепутаны
и переплетены.
И как рисунок бабочки
на шелковой материи,
Над нами тень раскинулась
ибряевской луны.
Скажи мне, неужели ты
со скукой смотришь на небо?
И жизнь тебя измучила
и кажется сера?
И как в реку бросаются,
не глядя, хоть куда-нибудь,
Бежать тебе хотелось бы
из этого села?
А мне минуты кажутся
чудесными и гордыми,
По книгам буквы ползают,
беснуется метель,
И лошади проносятся
с опущенными мордами,
И избы озаряются
улыбками детей.
По «точкам» путешествовать,
не брезговать помоями,
С директорами ссориться,
с кобылами дружить —
Не знаю, как по-твоему,
но, Тонечка, по-моему,
Все это, вместе взятое,
и означает — жить.

ЛОШАДЬ

Очерк

Когда я приехал в Богачевку, то имел о лошади самое смутное понятие. Горожанин, воспитанник Москвы, я привык видеть перед собой умную морду трамвая, с нею сжился и сроднился. Я не опасался его нисколько, этого только с виду страшного чудовища. Я научился на лету хвататься за поручни, висеть на ступеньках, приникая к холодному железу, протискиваться через непроницаемую толпу. Я знал, какой из бесчисленных номеров куда идет, знал все привычки трамваев и хитрости (а трамваи тоже пускаются на хитрости).

И вдруг вместо всего этого — лошадь. Я не знал лошади, а верхом на нее не садился ни разу. Трудное или легкое это дело? Иногда мне казалось, что это легко: что ж такого, сел и поехал. Но я вспомнил, что существуют для чего-то школы верховой езды, что есть какие-то правила и законы, что Молчалин в «Горе от ума» упал с лошади («Поводья затянул, ну жалкий же ездок!»), — и меня брала невольная боязнь. А тут еще коня для меня припасли — жеребца — очень свирепого по всем описаниям. Вот уж истинно удружили! Я говорю: по описаниям, потому что, к моему счастью, его в это время не было на участке — угнали на посевную. «И что за глупость сделали! — возмущался завучастком. — Знали, что едет дирекция, и угнали самую лучшую лошадь на посевную!»

Я изображал на лице негодование, но в душе был очень доволен таким оборотом дела и скромно довольствовался ленивым и упрямым серым конем.

С неделю, кажется, ездил я в тарантасе, но наконец решительный момент наступил. Предстояло ехать на пятую ферму, дороги категорически протестовали против экипажей всех видов, да и в конце концов надо же было когда-нибудь начать?

— Оседлайте мне лошадь! — сказал я небрежно, как будто всю жизнь только тем и занимался, что давал такие указания.

Пошли седлать, а я нарочно закашлялся, чтобы заглушить биение сердца. Боялся я главным образом того, что при выезде моем из деревни случится что-нибудь смешное, что послужит вовсе не к повышению авторитета товарища Чекмарева — старшего зоотехника и за-

местителя директора совхоза. С какой бы охотой я вывел лошадь за две версты от деревни и только там попробовал бы влезть на нее!

— Готово. Больно ленив только, — сказал конюх, хлопая Серого по крупу.

Но я, наоборот, молил благодетельную лень спуститься на лошадь еще в большем количестве. «Сумею ли я хоть влезть на седло?» — подумал я, но, против ожидания, это мне удалось легко. Жеребец спокойно вышел из ворот. Я чувствовал себя очень удобно, и уже невольная гордость подступала к сердцу, как вдруг кому-то из конюхов вздумалось огреть Серого жичиной. Не знаю, зачем взбрела ему в башку эта мысль и вообще зачем тут очутилась жичина, но это роковое обстоятельство сразу изменило картину. Подбодренный ударом, Серый побежал, а я вдруг каким-то смешным образом запрыгал в седле, ухватился за луку, чтобы не упасть, и выпустил повод. Без всякого повода (и в прямом и в переносном смысле) Серый, недолго думая, повернул к ближайшей избе, самым нахальным образом остановился перед окном и ткнул носом в стекло. Любопытные физиономии прильнули к окну. Покраснев, я взял повод, повернул жеребца и... поскакал, может быть? Черта с два! Поехал шагом, тихо-тихо. Говорят, что на затылке глаз нет, но, честное слово, я видел, как сзаду, у конного двора, стоят кучей и глядят на меня совхозные работники.

Проехав две версты, я попробовал перейти на рысь. Но, увы, всякий раз начинал при этом так подскакивать в седле, что принужден был обеими руками хвататься за луку и крепко держаться за нее, чтобы не вылететь из седла. Серый пользовался этим, чтобы нести меня туда, куда ему хочется. Только когда он переменял свой шаг, я брал в руки повод, направлял жеребца на дорогу, а затем опять и опять начиналось все сначала.

Вскоре пришлось совсем отказаться от рыси, так как прыжки в седле причиняли мучительную боль, а не прыгать я не мог. «Неужели все всадники так же прыгают в седле? А если нет, то что они делают, чтобы не прыгать?» — думал я, да так и не разгадал тогда этого секрета. К счастью, на полдороге мне встретились те люди, к которым я ехал, и я повернул с ними обратно. Когда тарантас их тронулся вовсю и Серый затрусил за ними, я попробовал его удержать — тщетно! Рыси я не мог перенести и потому, что она причиняла боль, и

потому, что она показала бы мою беспомощность. Я отчаялся, что не смогу удержать и остановить проклятого жеребца, и, когда он сильнее поскакал, почувствовал, что, стоя в стременах, держаться легче. Так я и ехал всю дорогу, разгоняя лошадь до галопа всякий раз, как она переходила на рысь. В этом было лишь то неудобство, что я не мог управлять жеребцом и по-прежнему ехал по его воле.

Я спрашивал позже моих спутников, заметили ли они, что я не умею обращаться с лошадью, и оказалось, что нет. Как бы то ни было, я вернулся в Богачевку разбитым до последней степени. Но и то надо принять во внимание, что, сев первый раз в жизни на лошадь, я проехал взад и вперед около двадцати верст, — расстояние все же солидное. Казалось мне, что в следующий раз я охотнее понесу лошадь на себе, чем сяду на нее верхом. Но наступило утро, и заглянувшему ко мне вопросительно солнцу я дал торжественное обещание в ближайшую неделю не слезать с седла и овладеть искусством езды.

Я выполнил свое обещание.

...С Серым я не сдружился, я боялся его взнуздывать (раз он укусил меня, и довольно здорово), боялся ловить его и с трудом уводил от табуна. Вдобавок у него оказалась хромота — как будто растяжение сухожилия. Поэтому я с радостью его оставил, когда Денисов, уезжая в Стерлитамак, отдал мне на время своего коня.

В этой лошади (я ее называл Маруськой) на первый взгляд не было ничего привлекательного. Маленькая рыжая кобылка, невидная; и я не за красоту ее полюбил, а за ее чудесный характер. А какой характер назывался у лошади чудесным? Она не ленива, она не требовала ни палки, ни кнута, она по движению повода и колен знала, требуется от нее рысь, галоп или только шаг. Она была вынослива; ее маленькое сердечко хорошо работало, и она могла делать перегоны по сорок верст ежедневно. Она была добросовестна, и уже сама первая, бывало, никогда не остановится и не перейдет с рыси на шаг, хоть и устанет. Она была быстрая: ее маленькие ноги могли семенить очень хорошо. Она была... Но если я начну перечислять все хорошие свойства милой моей Маруськи, то не кончу никогда. Она была первой моей любовью среди лошадей, и, как первая любовь, она не позабудется. Вдобавок она ко мне относилась хорошо. Не скажу, чтобы любила меня (это бы-

ло бы, пожалуй, слишком смело), но, по крайней мере, относилась с уважением: не лягалась, не кусалась, лизала мои руки, давала себя оседлать, когда я иногда оставлял ее не привязав.

Так жили мы с ней дружно, носились по степям, питались травой и хлебом — причем траву ела преимущественно она, а хлеб я, — как вдруг неожиданное несчастье свалилось нам на голову. Несчастье это, впрочем, нужно было ожидать. Вернулся Денисов и потребовал свою лошадь обратно. Вдобавок сказал, что она у меня похудела. Но это неправда, конечно, она у меня поправилась, а не похудела, — это все говорили, и потому мне показалось еще более обидным. Лошадь была уже год закреплена за Денисовым, знала его лучше меня; директор тоже встал на его сторону. Надо было ее вернуть, но сделать этого я не мог. Я не представлял себе, как это я буду жить без Маруськи — на ком буду ездить? Да больше мне ни одна лошадь и не нравилась. В эти дни я испытывал тоску. Сердце ныло и болело в предчувствии неотвратимой разлуки. Мне уже снова вернули нелюбимого Серого, но я потихоньку увел из конюшни Маруську, оседлал ее и уехал на самую дальнюю ферму. Дня четыре ездил, и я был счастлив. Но, увы, надо же было когда-нибудь вернуться. Вечером, приехав, я поставил Маруську на конюшню, а на следующее утро, еще до рассвета, на ней уехал Денисов.

Но она не принесла ему счастья. Вскоре после того я встретил его на первой ферме, где у нас шло совещание.

«Где Маруська?» — спросил я его запиской, и он ответил вопросом на вопрос: «Разве она не приходила?»

Оказывается (по его рассказам), Маруська сбросила его с седла и убежала неизвестно куда, поймать ее он не мог. Поиски Маруськи не привели ни к чему. Злость меня брала на Денисова, да и он сам уже говорил: «Лучше бы она осталась у тебя».

Ко мне прикрепили большую сивую кобылу — настоящее чудовище, иначе никак ее не назовешь. Она лягалась, норовила укусить за ногу и без палки никак не шла. Правда, палки боялась как огня и шла тогда старательно, но рысь у нее была тряская, галоп ничем не замечательный. Единственно, что ее выделяло среди других лошадей, — это громадная величина.

Когда случалось мне иногда потерять или сломать палку — а ведь кругом степь и нигде ни дерева, — она

шла как ей вздумается, и ни окрики, ни мольбы не могли заставить ее изменить темп. Я тихо ненавидел ее в эти минуты. Иногда мне казалось, что она просто надо мною издевается. Но стоило мне раздобыть палку, как она внезапно вскидывала голову и мчалась, даже не дождавшись моего понукания или удара. Хитрая была, бестия!

Я стал серьезно подумывать о замене и подыскивал на фермах подходящую лошадь. Много лошадей было лучше Сивухи, но я не брал их, хотел разыскать самую лучшую, с тем чтобы потом больше уже не менять.

Но вот все-таки счастье мне улыбнулось. На ферме Бурли, зайдя в отсутствие конюха на конюшню, я начал осматривать и проверять всех лошадей. Мое внимание привлекли две лошади: вороная, со звездой на лбу, и бурая, с каштановой гривой и блестящими-блестящими глазами. Сел я на вороную и сейчас же слез, плюнув: рыси у нее ни капли не было — какие-то заячьи прыжки. Сел на Буруху и тронул повод. Я не понукал ее, со мной не было даже палки. Несмотря на это, лошадь неслась с горящими глазами и, видя, что я ее не останавливаю, перешла на галоп. Неслась она быстро, как птица, куда быстрее Маруськи, и при этом рысь у нее была удивительно мягкая. Без седла, следовательно, не имея возможности пружинить, я сидел, однако, на спине лошади как на стуле и совсем не подскакивал, если упирался коленями. С трудом остановил я разгорячившуюся Буруху. Кровь прилила к лицу. Радость захлестнула меня: «Вот, вот она!» — отстукивало сердце. Я просто не понимал, как такая лошадь могла попасть на ферму, а не на центральную конюшню? Да и на ферме почему она была не за управляющим, и не за агрономом, и не за зоотехником, — лошадей их я знал, и знал, что Буруха не закреплена ни за одним из них. Что за слепота? Может быть, Буруха недостаточно вынослива?

Я осмотрел кобылу и не нашел в ней никаких дефектов (хотя слишком мало в этом понимал).

Привязав лошадь, я отправился на ферму с твердым решением во что бы то ни стало эту лошадь взять. Ни управляющего, ни заместителя в это время на ферме как раз не было. Я пошел к конюхам. Конюхи, оказывается, Буруху знали и ценили и поэтому к моей попытке взять ее отнеслись неприязненно (они стерегли на ней лошадей).

— Хотелось бы ее взять немедленно!
— Освобождена, — заявили они.
— Как освобождена? Она нездорова?
— Значит, нездорова, если освобождена.
— Кто освободил?
— Редин.
Я пошел к Редину... *.

В ПУТИ

Сегодня вьюга бесится,
ехать не велит,
Мерин мой игреневый
ушами шевелит.

— Ты что, овес-то даром ел
по целому мешку?
Давай, давай прокатимся
по белому снежку!

Чтобы глаза заискрились,
чтоб ветер щеки жег,
Чтобы снежинки вихрились
в переплетеньях ног...

Кого, скажи, пугаешь ты,
косматая метель?
Мы все здесь люди взрослые,
нет маленьких детей.

Нам все равно, голубушка,
хоть вой ты иль не вой, —
Твой голосок пронзительный
мы слышим не впервой.

Среди снежинок шелковых,
в нагроможденье скал,
Я только здесь нашел себе,
чего всю жизнь искал...

* На этом очерк обрывается.

Ты что прижался, слушаешь,
мерин, мою речь?
А ну, рвани как бешеный
метелице навстречь!

Я все-таки, товарищи,
жалею горожан:
Стоят машины сложные
у них по гаражам.

Там иглы, карбюраторы,
и черт их разберет!
А мы помашем палкою —
и движемся вперед.

Скорость, направление
и качество езды
Легко мы регулируем
при помощи узды.

Тяжелое чудовище,
пузатый автобу́с,
Он был бы здесь, в ущелиях,
обузой из обуз.

Скажи мне: он проехал бы
ну вот на этот стог?
Конечно, не проехал бы,
он сразу тут бы сдох!

А с поршнями и с кольцами
возился человек,
Он не смыкал над книгами
своих усталых век.

Он думал над машинами
десятки тысяч лет...
Таких, как мой игреневый,
еще покамест нет, —

С такой вот теплой кожею
и гривою коня,
С такой вот хитрой рожею,
глядящей на меня.

И вот он снова мчит меня,
нисколько не устав,
Опять мелькает в воздухе
скакательный сустав.

И всё уже не нужное
я стряхиваю с лет,
И вьюгою за санками
заравнивает след...

СОДЕРЖАНИЕ

Кубанев В. М., Чекмарев С. И.

К88 Стихи, дневники, письма (Вступ. ст. Б. Стукалина, С. Ильичевой. — М.: Мол. гвардия, 1981. — 366 с., ил. — (Б-ка юношества).

В пер.: 1 р. 20 к. 200 000 экз.

В. Кубанев (1921—1942) и С. Чекмарев (1910—1933) — поэты-комсомольцы. В книгу вошли стихи, дневники, письма, проникнутые душевной чистотой и благородством, мужеством и любовью к людям.

К $\frac{70302-298}{078(02)-81}$ 225—81. 4702010200

ББК 84Р7
Р2

ИБ № 2695

КУБАНЕВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ
ЧЕКМАРЕВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ

СТИХИ, ДНЕВНИКИ, ПИСЬМА

Редактор
Е. КАЛМЫКОВА

Художники
А. ГАННУШКИН, В. ПАВЛЮК

Художественный редактор
К. ФАДИН

Технический редактор
Е. БРАУДЕ

Корректор
Г. ВАСИЛЕВА

Сдано в набор 17.06.81. Подписано в печать 09.10.81. А00871. Формат 84×108 1/32. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Условн. печ. л. 19,32. Уч.-изд. л. 19,6. Тираж 200 000 экз. (100 001—200 000 экз.). Цена 1 р. 20 к. Заказ 943.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типографии: 103030, Москва, К-30, Сущевская, 21.

1р. 20к.

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

В. КУБАНЁВ,
С. ЧЕКМАРЁВ

СТИХИ, ДНЕВНИКИ, ПИСЬМА

1981